И.С.ТУРГЕНЕВ

ЗАПИСКИ ОХОТНИКА





И.С.ТУРГЕНЕВ

ЗАПИСКИ ОХОТНИКА



МОСКВА
«ХУДОЖЕСТВЕННАЯ ЛИТЕРАТУРА»
1984

Р1
Т87

Текст печатается по изданию:
И. С. Тургенев. Полн. собр. соч. в 30-ти томах.
Сочинения, т. 3. М., «Наука», 1979 г.

Художник
С. КОВАЛЕНКОВ

Т $\frac{4702010100-103}{028(01)-84}$ 18-84

ХОРЬ И КАЛИНЫЧ

Кому случалось из Болховского уезда перебираться в Жиздринский, того, вероятно, поражала резкая разница между породой людей в Орловской губернии и калужской породой. Орловский мужик невелик ростом, сутуловат, угрюм, глядит исподлобья, живет в дрянных осиновых избенках, ходит на барщину, торговлей не занимается, ест плохо, носит лапти; калужский оброчный мужик обитает в просторных сосновых избах, высок ростом, глядит смело и весело, лицом чист и бел, торгует маслом и дегтем и по праздникам ходит в сапогах. Орловская деревня (мы говорим о восточной части Орловской губернии) обыкновенно расположена среди распаханных полей, близ оврага, кое-как превращенного в грязный пруд. Кроме немногих ракит, всегда готовых к услугам, да двух-трех тощих берез, деревца на версту кругом не увидишь; изба лепится к избе, крыши закиданы гнилой соломой... Калужская деревня, напротив, большею частью окружена лесом; избы стоят вольней и прямей, крыты тесом; ворота плотно запираются, плетень на задворке не разметан и не вывалился наружу, не зовет в гости всякую прохожую свинью... И для охотника в Калужской губернии лучше. В Орловской губернии последние леса и площадя[1] исчезнут лет через пять, а болот и в помине нет; в Калужской, напротив, засеки тянутся на сотни, болота на десятки верст, и не перевелась еще благородная птица тетерев, водится добродушный дупель, и хлопотунья куропатка своим порывистым взлетом веселит и пугает стрелка и собаку.

В качестве охотника посещая Жиздринский уезд, сошелся я в поле и познакомился с одним калужским мелким помещиком, Полутыкиным, страстным охотником и, следовательно, отличным человеком. Водились за ним, правда, некоторые слабости: он, например, сватался за всех богатых невест в губернии и, получив отказ от руки и от дому, с сокрушенным сердцем доверял свое горе всем друзьям и знакомым, а родителям невест продолжал посылать в подарок кислые персики и другие сырые произведения сво-

---

[1] «Площадями» называются в Орловской губернии большие сплошные массы кустов; орловское наречие отличается вообще множеством своебытных, иногда весьма метких, иногда довольно безобразных, слов и оборотов.

его сада; любил повторять один и тот же анекдот, который, несмотря на уважение г-на Полутыкина к его достоинствам, решительно никогда никого не смешил; хвалил сочинения Акима Нахимова и повесть *Пинну;* заикался; называл свою собаку Астрономом; вместо *однако* говорил *одначе* и завел у себя в доме французскую кухню, тайна которой, по понятиям его повара, состояла в полном изменении естественного вкуса каждого кушанья: мясо у этого искусника отзывалось рыбой, рыба — грибами, макароны — порохом; зато ни одна морковка не попадала в суп, не приняв вида ромба или трапеции. Но, за исключением этих немногих и незначительных недостатков, г-н Полутыкин был, как уже сказано, отличный человек.

В первый же день моего знакомства с г. Полутыкиным он пригласил меня на ночь к себе.

— До меня верст пять будет, — прибавил он, — пешком идти далеко; зайдемте сперва к Хорю. (Читатель позволит мне не передавать его заиканья.)

— А кто такой Хорь?

— А мой мужик... Он отсюда близехонько.

Мы отправились к нему. Посреди леса, на расчищенной и разработанной поляне, возвышалась одинокая усадьба Хоря. Она состояла из нескольких сосновых срубов, соединенных заборами; перед главной избой тянулся навес, подпертый тоненькими столбиками. Мы вошли. Нас встретил молодой парень, лет двадцати, высокий и красивый.

— А, Федя! Дома Хорь? — спросил его г-н Полутыкин.

— Нет, Хорь в город уехал, — отвечал парень, улыбаясь и показывая ряд белых, как снег, зубов. — Тележку заложить прикажете?

— Да, брат, тележку. Да принеси нам квасу.

Мы вошли в избу. Ни одна суздальская картина не залепляла чистых бревенчатых стен; в углу, перед тяжелым образом в серебряном окладе, теплилась лампадка; липовый стол недавно был выскоблен и вымыт; между бревнами и по косякам окон не скиталось резвых прусаков, не скрывалось задумчивых тараканов. Молодой парень скоро появился с большой белой кружкой, наполненной хорошим квасом, с огромным ломтем пшеничного хлеба и с дюжиной соленых огурцов в деревянной миске. Он поставил все эти припасы на стол, прислонился к двери и начал с улыбкой на нас поглядывать. Не успели мы доесть нашей закуски, как уже телега застучала перед крыльцом. Мы вышли. Мальчик лет пятнадцати, кудрявый и краснощекий, сидел кучером и с трудом удерживал сытого пегого жеребца. Кругом телеги стояло человек шесть молодых великанов, очень похожих друг на друга и на Федю. «Всё дети Хоря!» — заметил Полутыкин. «Всё Хорьки, — подхватил Федя, который вышел вслед за нами на крыльцо, — да еще не все: Потап в лесу, а Сидор уехал со старым Хорем в город... Смотри же, Вася, — продолжал он, обращаясь к кучеру, — духом сомчи: барина везешь. Только на толчках-то, смотри, потише: и телегу-то попортишь, да и барское черево обеспокоишь!» Осталь-

ные Хорьки усмехнулись от выходки Феди. «Подсадить Астронома!» — торжественно воскликнул г-н Полутыкин. Федя, не без удовольствия, поднял на воздух принужденно улыбавшуюся собаку и положил ее на дно телеги. Вася дал вожжи лошади. Мы покатили. «А вот это моя контора, — сказал мне вдруг г-н Полутыкин, указывая на небольшой низенький домик, — хотите зайти?» — «Извольте». — «Она теперь упразднена, — заметил он, слезая, — а всё посмотреть стоит». Контора состояла из двух пустых комнат. Сторож, кривой старик, прибежал с задворья. «Здравствуй, Миняич, — проговорил г-н Полутыкин, — а где же вода?» Кривой старик исчез и тотчас вернулся с бутылкой воды и двумя стаканами. «Отведайте, — сказал мне Полутыкин, — это у меня хорошая, ключевая вода». Мы выпили по стакану, причем старик нам кланялся в пояс. «Ну, теперь, кажется, мы можем ехать, — заметил мой новый приятель. — В этой конторе я продал купцу Аллилуеву четыре десятины лесу за выгодную цену». Мы сели в телегу и через полчаса уже въезжали на двор господского дома.

— Скажите, пожалуйста, — спросил я Полутыкина за ужином, — отчего у вас Хорь живет отдельно от прочих ваших мужиков?

— А вот отчего: он у меня мужик умный. Лет двадцать пять тому назад изба у него сгорела; вот и пришел он к моему покойному батюшке и говорит: дескать, позвольте мне, Николай Кузьмич, поселиться у вас в лесу на болоте. Я вам стану оброк платить хороший.— «Да зачем тебе селиться на болоте?» — «Да уж так; только вы, батюшка, Николай Кузьмич, ни в какую работу употреблять меня уж не извольте, а оброк положите, какой сами знаете». — «Пятьдесят рублев в год!» — «Извольте». — «Да без недоимок у меня, смотри!» — «Известно, без недоимок...» Вот он и поселился на болоте. С тех пор Хорем его и прозвали.

— Ну, и разбогател? — спросил я.

— Разбогател. Теперь он мне сто целковых оброка платит, да еще я, пожалуй, накину. Я уж ему не раз говорил: «Откупись, Хорь, эй, откупись!..» А он, бестия, меня уверяет, что нечем; денег, дескать, нету... Да, как бы не так!..

На другой день мы тотчас после чаю опять отправились на охоту. Проезжая через деревню, г-н Полутыкин велел кучеру остановиться у низенькой избы и звучно воскликнул: «Калиныч!» — «Сейчас, батюшка, сейчас, — раздался голос со двора, — лапоть подвязываю». Мы поехали шагом; за деревней догнал нас человек лет сорока, высокого роста, худой, с небольшой загнутой назад головкой. Это был Калиныч. Его добродушное смуглое лицо, кое-где отмеченное рябинами, мне понравилось с первого взгляда. Калиныч (как узнал я после) каждый день ходил с барином на охоту, носил его сумку, иногда и ружье, замечал, где садится птица, доставал воды, набирал земляники, устроивал шалаши, бегал за дрожками; без него г-н Полутыкин шагу ступить не мог. Калиныч был человек самого веселого, самого кроткого нрава, беспрестанно попевал вполголоса, беззаботно поглядывал во все стороны, говорил немного в нос, улыбаясь, прищуривал свои светло-голу-

бые глаза и часто брался рукою за свою жидкую, клиновидную бороду. Ходил он нескоро, но большими шагами, слегка подпираясь длинной и тонкой палкой. В течение дня он не раз заговаривал со мною, услуживал мне без раболепства, но за барином наблюдал, как за ребенком. Когда невыносимый полуденный зной заставил нас искать убежища, он свел нас на свою пасеку, в самую глушь леса. Калиныч отворил нам избушку, увешанную пучками сухих душистых трав, уложил нас на свежем сене, а сам надел на голову род мешка с сеткой, взял нож, горшок и головешку и отправился на пасеку вырезать нам сот. Мы запили прозрачный теплый мед ключевой водой и заснули под однообразное жужжанье пчел и болтливый лепет листьев.

Легкий порыв ветерка разбудил меня... Я открыл глаза и увидел Калиныча: он сидел на пороге полураскрытой двери и ножом вырезывал ложку. Я долго любовался его лицом, кротким и ясным, как вечернее небо. Г-н Полутыкин тоже проснулся. Мы не тотчас встали. Приятно после долгой ходьбы и глубокого сна лежать неподвижно на сене: тело нежится и томится, легким жаром пышет лицо, сладкая лень смыкает глаза. Наконец мы встали и опять пошли бродить до вечера. За ужином я заговорил опять о Хоре да о Калиныче. «Калиныч — добрый мужик, — сказал мне г. Полутыкин, — усердный и услужливый мужик; хозяйство в исправности, одначе, содержать не может: я его всё оттягиваю. Каждый день со мной на охоту ходит... Какое уж тут хозяйство, — посудите сами». Я с ним согласился, и мы легли спать.

На другой день г-н Полутыкин принужден был отправиться в город по делу с соседом Пичуковым. Сосед Пичуков запахал у него землю и на запаханной земле высек его же бабу. На охоту поехал я один и перед вечером завернул к Хорю. На пороге избы встретил меня старик — лысый, низкого роста, плечистый и плотный — сам Хорь. Я с любопытством посмотрел на этого Хоря. Склад его лица напоминал Сократа: такой же высокий, шишковатый лоб, такие же маленькие глазки, такой же курносый нос. Мы вошли вместе в избу. Тот же Федя принес мне молока с черным хлебом. Хорь присел на скамью и, преспокойно поглаживая свою курчавую бороду, вступил со мною в разговор. Он, казалось, чувствовал свое достоинство, говорил и двигался медленно, изредка посмеивался из-под длинных своих усов.

Мы с ним толковали о посеве, об урожае, о крестьянском быте... Он со мной всё как будто соглашался; только потом мне становилось совестно, и я чувствовал, что говорю не то... Так оно как-то странно выходило. Хорь выражался иногда мудрено, должно быть, из осторожности... Вот вам образчик нашего разговора:

— Послушай-ка, Хорь, — говорил я ему, — отчего ты не откупишься от своего барина?

— А для чего мне откупаться? Теперь я своего барина знаю и оброк свой знаю... барин у нас хороший.

— Всё же лучше на свободе, — заметил я.

Хорь посмотрел на меня сбоку.

— Вестимо, — проговорил он.

— Ну, так отчего же ты не откупаешься?

Хорь покрутил головой.

— Чем, батюшка, откупиться прикажешь?

— Ну, полно, старина...

— Попал Хорь в вольные люди, — продолжал он вполголоса, как будто про себя, — кто без бороды живет, тот Хорю и на́больший.

— А ты сам бороду сбрей.

— Что борода? Борода — трава: скосить можно.

— Ну, так что ж?

— А, знать, Хорь прямо в купцы попадет; купцам-то жизнь хорошая, да и те в бородах.

— А что, ведь ты тоже торговлей занимаешься? — спросил я его.

— Торгуем помаленьку маслишком да дегтишком... Что же, тележку, батюшка, прикажешь заложить?

«Крепок ты на язык и человек себе на уме», — подумал я.

— Нет, — сказал я вслух, — тележки мне не надо; я завтра около твоей усадьбы похожу и, если позволишь, останусь ночевать у тебя в сенном сарае.

— Милости просим. Да покойно ли тебе будет в сарае? Я прикажу бабам постлать тебе простыню и положить подушку. Эй, бабы! — вскричал он, поднимаясь с места, — сюда, бабы!.. А ты, Федя, поди с ними. Бабы ведь народ глупый.

Четверть часа спустя Федя с фонарем проводил меня в сарай. Я бросился на душистое сено, собака свернулась у ног моих; Федя пожелал мне доброй ночи, дверь заскрипела и захлопнулась. Я довольно долго не мог заснуть. Корова подошла к двери, шумно дохнула раза два; собака с достоинством на нее зарычала; свинья прошла мимо, задумчиво хрюкая; лошадь где-то в близости стала жевать сено и фыркать... Я наконец задремал.

На заре Федя разбудил меня. Этот веселый, бойкий парень очень мне нравился; да и, сколько я мог заметить, у старого Хоря он тоже был любимцем. Они оба весьма любезно друг над другом подтрунивали. Старик вышел ко мне навстречу. Оттого ли, что я провел ночь под его кровом, по другой ли какой причине, только Хорь гораздо ласковее вчерашнего обошелся со мной.

— Самовар тебе готов, — сказал он мне с улыбкой, — пойдем чай пить.

Мы уселись около стола. Здоровая баба, одна из его невесток, принесла горшок с молоком. Все его сыновья поочередно входили в избу.

— Что у тебя за рослый народ! — заметил я старику.

— Да, — промолвил он, откусывая крошечный кусок сахару, — на меня да на мою старуху жаловаться, кажись, им нечего.

— И все с тобой живут?

— Все. Сами хотят, так и живут.

— И все женаты?

— Вон один, пострел, не женится, — отвечал он, указывая на

Федю, который по-прежнему прислонился к двери. — Васька, тот еще молод, тому погодить можно.

— А что мне жениться? — возразил Федя, — мне и так хорошо. На что мне жена? Лаяться с ней, что ли?

— Ну, уж ты... уж я тебя знаю! Кольца серебряные носишь... Тебе бы все с дворовыми девками нюхаться... «Полноте, бесстыдники!» — продолжал старик, передразнивая горничных. — Уж я тебя знаю, белоручка ты этакой!

— А в бабе-то что хорошего?

— Баба — работница, — важно заметил Хорь. — Баба мужику слуга.

— Да на что мне работница?

— То-то, чужими руками жар загребать любишь. Знаем вашего брата.

— Ну, жени меня, коли так. А? что! Что ж ты молчишь?

— Ну, полно, полно, балагур. Вишь, барина мы с тобой беспокоим. Женю небось... А ты, батюшка, не гневись: дитятко, видишь, малое, разуму не успело набраться.

Федя покачал головой...

— Дома Хорь? — раздался за дверью знакомый голос, — и Калиныч вошел в избу с пучком полевой земляники в руках, которую нарвал он для своего друга, Хоря. Старик радушно его приветствовал. Я с изумлением поглядел на Калиныча: признаюсь, я не ожидал таких «нежностей» от мужика.

Я в этот день пошел на охоту часами четырьмя позднее обыкновенного и следующие три дня провел у Хоря. Меня занимали новые мои знакомцы. Не знаю, чем я заслужил их доверие, но они непринужденно разговаривали со мной. Я с удовольствием слушал их и наблюдал за ними. Оба приятеля нисколько не походили друг на друга. Хорь был человек положительный, практический, административная голова, рационалист; Калиныч, напротив, принадлежал к числу идеалистов, романтиков, людей восторженных и мечтательных. Хорь понимал действительность, то есть: обстроился, накопил деньжонку, ладил с барином и с прочими властями; Калиныч ходил в лаптях и перебивался кое-как. Хорь расплодил большое семейство, покорное и единодушное; у Калиныча была когда-то жена, которой он боялся, а детей и не бывало вовсе. Хорь насквозь видел г-на Полутыкина; Калиныч благоговел перед своим господином. Хорь любил Калиныча и оказывал ему покровительство; Калиныч любил и уважал Хоря. Хорь говорил мало, посмеивался и разумел про себя; Калиныч объяснялся с жаром, хотя и не пел соловьем, как бойкий фабричный человек... Но Калиныч был одарен преимуществами, которые признавал сам Хорь, например: он заговаривал кровь, испуг, бешенство, выгонял червей; пчелы ему дались, рука у него была легкая. Хорь при мне попросил его ввести в конюшню новокупленную лошадь, и Калиныч с добросовестною важностью исполнил просьбу старого скептика. Калиныч стоял ближе к природе; Хорь же — к людям, к обществу; Калиныч не любил рассуждать и всему верил слепо; Хорь возвышался даже до иронической точки зрения на жизнь. Он много ви-

дел, много знал, и от него я многому научился. Например, из его рассказов узнал я, что каждое лето, перед покосом, появляется в деревнях небольшая тележка особенного вида. В этой тележке сидит человек в кафтане и продает косы. На наличные деньги он берет рубль двадцать пять копеек — полтора рубля ассигнациями; в долг — три рубля и целковый. Все мужики, разумеется, берут у него в долг. Через две-три недели он появляется снова и требует денег. У мужика овес только что скошен, стало быть, заплатить есть чем; он идет с купцом в кабак и там уже расплачивается. Иные помещики вздумали было покупать сами косы на наличные деньги и раздавать в долг мужикам по той же цене; но мужики оказались недовольными и даже впали в уныние; их лишали удовольствия щелкать по косе, прислушиваться, перевертывать ее в руках и раз двадцать спросить у плутоватого мещанина-продавца: «А что, малый, коса-то не больно того?» Те же самые проделки происходят и при покупке серпов, с тою только разницей, что тут бабы вмешиваются в дело и доводят иногда самого продавца до необходимости, для их же пользы, поколотить их. Но более всего страдают бабы вот при каком случае. Поставщики материала на бумажные фабрики поручают закупку тряпья особенного рода людям, которые в иных уездах называются «орлами». Такой «орел» получает от купца рублей двести ассигнациями и отправляется на добычу. Но, в противность благородной птице, от которой он получил свое имя, он не нападает открыто и смело: напротив, «орел» прибегает к хитрости и лукавству. Он оставляет свою тележку где-нибудь в кустах около деревни, а сам отправляется по задворьям да по задам, словно прохожий какой-нибудь или просто праздношатающийся. Бабы чутьем угадывают его приближенье и крадутся к нему навстречу. Второпях совершается торговая сделка. За несколько медных грошей баба отдает «орлу» не только всякую ненужную тряпицу, но часто даже мужнину рубаху и собственную поневу. В последнее время бабы нашли выгодным красть у самих себя и сбывать таким образом пеньку, в особенности «замашки», — важное распространение и усовершенствование промышленности «орлов»! Но зато мужики, в свою очередь, навострились и при малейшем подозрении, при одном отдаленном слухе о появлении «орла» быстро и живо приступают к исправительным и предохранительным мерам. И в самом деле, не обидно ли? Пеньку продавать их дело, и они ее точно продают, не в городе, — в город надо самим тащиться, — а приезжим торгашам, которые, за неимением безмена, считают пуд в сорок горстей — а вы знаете, что за горсть и что за ладонь у русского человека, особенно когда он «усердствует»!

Таких рассказов я, человек неопытный и в деревне не «живалый» (как у нас в Орле говорится), наслушался вдоволь. Но Хорь не всё рассказывал, он сам меня расспрашивал о многом. Узнал он, что я бывал за границей, и любопытство его разгорелось... Калиныч от него не отставал; но Калиныча более трогали описания природы, гор, водопадов, необыкновенных зданий, больших городов; Хоря занимали вопросы административные и государствен-

ные. Он перебирал всё по порядку: «Что, у них это там есть так же, как у нас, аль иначе?.. Ну, говори, батюшка, — как же?..» — «А! ах, господи, твоя воля!» — восклицал Калиныч во время моего рассказа; Хорь молчал, хмурил густые брови и лишь изредка замечал, что, «дескать, это у нас не шло бы, а вот это хорошо — это порядок». Всех его расспросов я передать вам не могу, да и незачем; но из наших разговоров я вынес одно убежденье, которого, вероятно, никак не ожидают читатели, — убежденье, что Петр Великий был по преимуществу русский человек, русский именно в своих преобразованиях. Русский человек так уверен в своей силе и крепости, что он не прочь и поломать себя: он мало занимается своим прошедшим и смело глядит вперед. Что хорошо — то ему и нравится, что разумно — того ему и подавай, а откуда оно идет, — ему все равно. Его здравый смысл охотно подтрунит над сухопарым немецким рассудком; но немцы, по словам Хоря, любопытный народец, и поучиться у них он готов. Благодаря исключительности своего положенья, своей фактической независимости, Хорь говорил со мной о многом, чего из другого рычагом не выворотишь, как выражаются мужики, жерновом не вымелешь. Он действительно понимал свое положенье. Толкуя с Хорем, я в первый раз услышал простую, умную речь русского мужика. Его познанья были довольно, по-своему, обширны, но читать он не умел; Калиныч — умел. «Этому шалопаю грамота далась,— заметил Хорь,— у него и пчелы отродясь не мерли». — «А детей ты своих выучил грамоте?» Хорь помолчал. «Федя знает». — «А другие?» — «Другие не знают». — «А чтó?» Старик не отвечал и переменил разговор. Впрочем, как он умен ни был, водились и за ним многие предрассудки и предубеждения. Баб он, например, презирал от глубины души, а в веселый час тешился и издевался над ними. Жена его, старая и сварливая, целый день не сходила с печи и беспрестанно ворчала и бранилась; сыновья не обращали на нее внимания, но невесток она содержала в страхе божием. Недаром в русской песенке свекровь поет: «Какой ты мне сын, какой семьянин! Не бьешь ты жены, не бьешь молодой...» Я раз было вздумал заступиться за невесток, попытался возбудить сострадание Хоря; но он спокойно возразил мне, что «охота-де вам такими... пустяками заниматься, — пускай бабы ссорятся... Их что разнимать — то хуже, да и рук марать не стоит». Иногда злая старуха слезала с печи, вызывала из сеней дворовую собаку, приговаривая: «Сюды, сюды, собачка!» — и била ее по худой спине кочергой или становилась под навес и «лаялась», как выражался Хорь, со всеми проходящими. Мужа своего она, однако же, боялась и, по его приказанию, убиралась к себе на печь. Но особенно любопытно было послушать спор Калиныча с Хорем, когда дело доходило до г-на Полутыкина. «Уж ты, Хорь, у меня его не трогай», — говорил Калиныч. «А что ж он тебе сапогов не сошьет?» — возражал тот. «Эка, сапоги!.. на что мне сапоги? Я мужик...» — «Да вот и я мужик, а вишь...» При этом слове Хорь поднимал свою ногу и показывал Калинычу сапог, скроенный, вероятно, из мамонтовой кожи. «Эх, да ты разве наш брат!» — отвечал Калиныч. «Ну, хоть бы на лап-

ти дал: ведь ты с ним на охоту ходишь; чай, что день, то лапти». — «Он мне дает на лапти». — «Да, в прошлом году гривенник пожаловал». Калиныч с досадой отворачивался, а Хорь заливался смехом, причем его маленькие глазки исчезали совершенно.

Калиныч пел довольно приятно и поигрывал на балалайке. Хорь слушал, слушал его, загибал вдруг голову набок и начинал подтягивать жалобным голосом. Особенно любил он песню «Доля ты моя, доля!». Федя не упускал случая подтрунить над отцом. «Чего, старик, разжалобился?» Но Хорь подпирал щеку рукой, закрывал глаза и продолжал жаловаться на свою долю... Зато, в другое время, не было человека деятельнее его: вечно над чем-нибудь копается — телегу чинит, забор подпирает, сбрую пересматривает. Особенной чистоты он, однако, не придерживался и на мои замечания отвечал мне однажды, что «надо-де избе жильем пахнуть».

— Посмотри-ка, — возразил я ему, — как у Калиныча на пасеке чисто.

— Пчелы бы жить не стали, батюшка, — сказал он со вздохом.

«А что, — спросил он меня в другой раз, — у тебя своя вотчина есть?» — «Есть». — «Далеко отсюда?» — «Верст сто». — «Что же ты, батюшка, живешь в своей вотчине?» — «Живу». — «А больше, чай, ружьем пробавляешься?» — «Признаться, да». — «И хорошо, батюшка, делаешь; стреляй себе на здоровье тетеревов да старосту меняй почаще».

На четвертый день, вечером, г. Полутыкин прислал за мной. Жаль мне было расставаться с стариком. Вместе с Калинычем сел я в телегу. «Ну, прощай, Хорь, будь здоров, — сказал я... — Прощай, Федя». — «Прощай, батюшка, прощай, не забывай нас». Мы поехали; заря только что разгоралась. «Славная погода завтра будет», — заметил я, глядя на светлое небо. «Нет, дождь пойдет, — возразил мне Калиныч, — утки вон плещутся, да и трава больно сильно пахнет». Мы въехали в кусты. Калиныч запел вполголоса, подпрыгивая на облучке, и все глядел да глядел на зарю...

На другой день я покинул гостеприимный кров г-на Полутыкина.

ЕРМОЛАЙ И МЕЛЬНИЧИХА

Вечером мы с охотником Ермолаем отправились на «тягу»... Но, может быть, не все мои читатели знают, что такое тяга. Слушайте же, господа.

За четверть часа до захождения солнца, весной, вы входите в рощу, с ружьем, без собаки. Вы отыскиваете себе место где-нибудь подле опушки, оглядываетесь, осматриваете пистон, перемигиваетесь с товарищем. Четверть часа прошло. Солнце село, но в лесу еще светло; воздух чист и прозрачен; птицы болтливо лепечут; молодая трава блестит веселым блеском изумруда... Вы ждете. Внутренность леса постепенно темнеет; алый свет вечерней зари медленно скользит по корням и стволам деревьев, поднимается все выше и выше, переходит от нижних, почти еще голых,

веток к неподвижным, засыпающим верхушкам... Вот и самые верхушки потускнели; румяное небо синеет. Лесной запах усиливается, слегка повеяло теплой сыростью; влетевший ветер около вас замирает. Птицы засыпают — не все вдруг — по породам: вот затихли зяблики, через несколько мгновений малиновки, за ними овсянки. В лесу все темней да темней. Деревья сливаются в большие чернеющие массы; на синем небе робко выступают первые звездочки. Все птицы спят. Горихвостки, маленькие дятли одни еще сонливо посвистывают... Вот и они умолкли. Еще раз прозвенел над вами звонкий голос пеночки; где-то печально прокричала иволга, соловей щелкнул в первый раз. Сердце ваше томится ожиданьем, и вдруг — но одни охотники поймут меня, — вдруг в глубокой тишине раздается особого рода карканье и шипенье, слышится мерный взмах проворных крыл,— и вальдшнеп, красиво наклонив свой длинный нос, плавно вылетает из-за темной березы навстречу вашему выстрелу.

Вот что значит «стоять на тяге».

Итак, мы с Ермолаем отправились на тягу; но извините, господа: я должен вас сперва познакомить с Ермолаем.

Вообразите себе человека лет сорока пяти, высокого, худого, с длинным и тонким носом, узким лбом, серыми глазками, взъерошенными волосами и широкими насмешливыми губами. Этот человек ходил и зиму и лето в желтоватом нанковом кафтане немецкого покроя, но подпоясывался кушаком; носил синие шаровары и шапку со смушками, подаренную ему, в веселый час, разорившимся помещиком. К кушаку привязывались два мешка, один спереди, искусно перекрученный на две половины, для пороху и для дроби, другой сзади — для дичи; хлóпки же Ермолай доставал из собственной, по-видимому неистощимой, шапки. Он бы легко мог на деньги, вырученные им за проданную дичь, купить себе патронташ и суму, но ни разу даже не подумал о подобной покупке и продолжал заряжать свое ружье по-прежнему, возбуждая изумление зрителей искусством, с каким он избегал опасности просыпать или смешать дробь и порох. Ружье у него было одноствольное, с кремнем, одаренное притом скверной привычкой жестоко «отдавать», отчего у Ермолая правая щека всегда была пухлее левой. Как он попадал из этого ружья — и хитрому человеку не придумать, но попадал. Была у него и легавая собака, по прозванью Валетка, преудивительное созданье. Ермолай никогда ее не кормил. «Стану я пса кормить, — рассуждал он, — притом пес — животное умное, сам найдет себе пропитанье». И действительно: хотя Валетка поражал даже равнодушного прохожего своей чрезмерной худобой, но жил, и долго жил; даже, несмотря на свое бедственное положенье, ни разу не пропадал и не изъявлял желанья покинуть своего хозяина. Раз как-то, в юные годы, он отлучился на два дня, увлеченный любовью; но эта дурь скоро с него соскочила. Замечательнейшим свойством Валетки было его непостижимое равнодушие ко всему на свете... Если б речь шла не о собаке, я бы употребил слово: разочарованность. Он обыкновенно сидел, подвернувши под себя свой куцый хвост, хмурился, вздрагивал

по временам и никогда не улыбался. (Известно, что собаки имеют способность улыбаться, и даже очень мило улыбаться.) Он был крайне безобразен, и ни один праздный дворовый человек не упускал случая ядовито насмеяться над его наружностью; но все эти насмешки и даже удары Валетка переносил с удивительным хладнокровием. Особенное удовольствие доставлял он поварам, которые тотчас отрывались от дела и с криком и бранью пускались за ним в погоню, когда он, по слабости, свойственной не одним собакам, просовывал свое голодное рыло в полурастворенную дверь соблазнительно теплой и благовонной кухни. На охоте он отличался неутомимостью и чутье имел порядочное; но если случайно догонял подраненного зайца, то уж и съедал его с наслажденьем всего, до последней косточки, где-нибудь в прохладной тени, под зеленым кустом, в почтительном отдалении от Ермолая, ругавшегося на всех известных и неизвестных диалектах.

Ермолай принадлежал одному из моих соседей, помещику старинного покроя. Помещики старинного покроя не любят «куликов» и придерживаются домашней живности. Разве только в необыкновенных случаях, как-то: во дни рождений, именин и выборов, повара старинных помещиков приступают к изготовлению долгоносых птиц и, войдя в азарт, свойственный русскому человеку, когда он сам хорошенько не знает, что делает, придумывают к ним такие мудреные приправы, что гости большей частью с любопытством и вниманием рассматривают поданные яства, но отведать их никак не решаются. Ермолаю было приказано доставлять на господскую кухню раз в месяц пары две тетеревей и куропаток, а в прочем позволялось ему жить где хочет и чем хочет. От него отказались, как от человека, ни на какую работу не годного, — «лядащего», как говорится у нас в Орле. Пороху и дроби, разумеется, ему не выдавали, следуя точно тем же правилам, в силу которых и он не кормил своей собаки. Ермолай был человек престранного рода: беззаботен, как птица, довольно говорлив, рассеян и неловок с виду; сильно любил выпить, не уживался на месте, на ходу шмыгал ногами и переваливался с боку на бок — и, шмыгая и переваливаясь, улепетывал верст шестьдесят в сутки. Он подвергался самым разнообразным приключениям: ночевал в болотах, на деревьях, на крышах, под мостами, сиживал не раз взаперти на чердаках, в погребах и сараях, лишался ружья, собаки, самых необходимых одеяний, бывал бит сильно и долго — и все-таки, через несколько времени, возвращался домой одетый, с ружьем и с собакой. Нельзя было назвать его человеком веселым, хотя он почти всегда находился в довольно изрядном расположении духа; он вообще смотрел чудаком. Ермолай любил покалякать с хорошим человеком, особенно за чаркой, но и то недолго: встанет, бывало, и пойдет. «Да куда ты, черт, идешь? Ночь на дворе».— «А в Чаплино».— «Да на что тебе тащиться в Чаплино, за десять верст?» — «А там у Софрона-мужичка переночевать».— «Да ночуй здесь».— «Нет уж, нельзя». И пойдет Ермолай с своим Валеткой в темную ночь, через кусты да водомоины, а мужичок Софрон его, пожалуй, к себе на двор не пустит, да еще. чего доброго, шею

ему намнет: не беспокой-де честных людей. Зато никто не мог сравниться с Ермолаем в искусстве ловить весной, в полую воду, рыбу, доставать руками раков, отыскивать по чутью дичь, подманивать перепелов, вынашивать ястребов, добывать соловьев с «лешевой дудкой», с «кукушкиным перелетом»...[1] Одного он не умел: дрессировать собак; терпенья недоставало. Была у него и жена. Он ходил к ней раз в неделю. Жила она в дрянной, полуразвалившейся избенке, перебивалась кое-как и кое-чем, никогда не знала накануне, будет ли сыта завтра, и вообще терпела участь горькую. Ермолай, этот беззаботный и добродушный человек, обходился с ней жестко и грубо, принимал у себя дома грозный и суровый вид, — и бедная его жена не знала, чем угодить ему, трепетала от его взгляда, на последнюю копейку покупала ему вина и подобострастно покрывала его своим тулупом, когда он, величественно развалясь на печи, засыпал богатырским сном. Мне самому не раз случалось подмечать в нем невольные проявления какой-то угрюмой свирепости: мне не нравилось выражение его лица, когда он прикусывал подстреленную птицу. Но Ермолай никогда больше дня не оставался дома; а на чужой стороне превращался опять в «Ермолку», как его прозвали на сто верст кругом и как он сам себя называл подчас. Последний дворовый человек чувствовал свое превосходство над этим бродягой — и, может быть, потому именно и обращался с ним дружелюбно; а мужики сначала с удовольствием загоняли и ловили его, как зайца в поле, но потом отпускали с богом и, раз узнавши чудака, уже не трогали его, даже давали ему хлеба и вступали с ним в разговоры... Этого-то человека я взял к себе в охотники, и с ним-то я отправился на тягу в большую березовую рощу, на берегу Исты.

У многих русских рек, наподобие Волги, один берег горный, другой луговой; у Исты тоже. Эта небольшая речка вьется чрезвычайно прихотливо, ползет змеей, ни на полверсты не течет прямо, и в ином месте, с высоты крутого холма, видна верст на десять с своими плотинами, прудами, мельницами, огородами, окруженными ракитником и гусиными стадами. Рыбы в Исте бездна, особливо голавлей (мужики достают их в жар из-под кустов руками). Маленькие кулички-песочники со свистом перелетывают вдоль каменистых берегов, испещренных холодными и светлыми ключами; дикие утки выплывают на середину прудов и осторожно озираются; цапли торчат в тени, в заливах, под обрывами... Мы стояли на тяге около часу, убили две пары вальдшнепов и, желая до восхода солнца опять попытать нашего счастия (на тягу можно также ходить поутру), решились переночевать в ближайшей мельнице. Мы вышли из рощи, спустились с холма. Река катила темно-синие волны; воздух густел, отягченный ночной влагой. Мы постучались в ворота. Собаки залились на дворе. «Кто тут?» — раздался сиплый и заспанный голос. «Охотники: пусти переночевать». Ответа не было. «Мы заплатим». — «Пойду

---

[1] Охотникам до соловьев эти названья знакомы: ими обозначаются лучшие «колена» в соловьином пенье.

скажу хозяину... Цыц, проклятые!.. Эк на вас погибели нет!» Мы слышали, как работник вошел в избу; он скоро вернулся к воротам. «Нет, говорит, хозяин не велит пускать». — «Отчего не велит?» — «Да боится; вы охотники: чего доброго, мельницу зажжете; вишь, у вас снаряды какие». — «Да что за вздор!» — «У нас и так в запрошлом году мельница сгорела: прасолы переночевали, да, знать, как-нибудь и подожгли». — «Да как же, брат, не ночевать же нам на дворе!» — «Как знаете...» Он ушел, стуча сапогами.

Ермолай посулил ему разных неприятностей. «Пойдемте в деревню»,— произнес он наконец со вздохом. Но до деревни было версты две... «Ночуем здесь, — сказал я, — на дворе ночь теплая; мельник за деньги нам вышлет соломы». Ермолай беспрекословно согласился. Мы опять стали стучаться. «Да что вам надобно? — раздался снова голос работника, — сказано, нельзя». Мы растолковали ему, чего мы хотели. Он пошел посоветоваться с хозяином и вместе с ним вернулся. Калитка заскрипела. Появился мельник, человек высокого роста, с жирным лицом, бычачьим затылком, круглым и большим животом. Он согласился на мое предложение. Во ста шагах от мельницы находился маленький, со всех сторон открытый, навес. Нам принесли туда соломы, сена; работник на траве подле реки наставил самовар и, присев на корточки, начал усердно дуть в трубу... Уголья, вспыхивая, ярко освещали его молодое лицо. Мельник побежал будить жену, предложил мне сам наконец переночевать в избе; но я предпочел остаться на открытом воздухе. Мельничиха принесла нам молока, яиц, картофелю, хлеба. Скоро закипел самовар, и мы принялись пить чай. С реки поднимались пары, ветру не было; кругом кричали коростели; около мельничных колес раздавались слабые звуки: то капли падали с лопат, сочилась вода сквозь засовы плотины. Мы разложили небольшой огонек. Пока Ермолай жарил в золе картофель, я успел задремать... Легкий сдержанный шепот разбудил меня. Я поднял голову: перед огнем, на опрокинутой кадке, сидела мельничиха и разговаривала с моим охотником. Я уже прежде, по ее платью, телодвижениям и выговору, узнал в ней дворовую женщину — не бабу и не мещанку; но только теперь я рассмотрел хорошенько ее черты. Ей было на вид лет тридцать; худое и бледное лицо еще хранило следы красоты замечательной; особенно понравились мне глаза, большие и грустные. Она оперла локти на колени, положила лицо на руки. Ермолай сидел ко мне спиною и подкладывал щепки в огонь.

— В Желтухиной опять падеж, — говорила мельничиха, — у отца Ивана обе коровы свалились... Господи помилуй!

— А что ваши свиньи? — спросил, помолчав, Ермолай.

— Живут.

— Хоть бы поросеночка мне подарили.

Мельничиха помолчала, потом вздохнула.

— С кем вы это? — спросила она.

— С барином — с костомаровским.

Ермолай бросил несколько еловых веток на огонь; ветки

тотчас дружно затрещали, густой белый дым повалил ему прямо в лицо.

— Чего твой муж нас в избу не пустил?

— Боится.

— Вишь, толстый брюхач... Голубушка, Арина Тимофеевна, вынеси мне стаканчик винца!

Мельничиха встала и исчезла во мраке. Ермолай запел вполголоса:

Как к любезной я ходил,
Все сапожки обносил...

Арина вернулась с небольшим графинчиком и стаканом. Ермолай привстал, перекрестился и выпил духом. «Люблю!» — прибавил он.

Мельничиха опять присела на кадку.

— А что, Арина Тимофеевна, чай, все хвораешь?

— Хвораю.

— Что так?

— Кашель по ночам мучит.

— Барин-то, кажется, заснул, — промолвил Ермолай после небольшого молчания. — Ты к лекарю не ходи, Арина: хуже будет.

— Я и то не хожу.

— А ко мне зайди погостить.

Арина потупила голову.

— Я свою-то, жену-то, прогоню на той случай,— продолжал Ермолай... — Право-ся.

— Вы бы лучше барина разбудили, Ермолай Петрович: видите, картофель испекся.

— А пусть дрыхнет, — равнодушно заметил мой верный слуга, — набегался, так и спит.

Я заворочался на сене. Ермолай встал и подошел ко мне.

— Картофель готов-с, извольте кушать.

Я вышел из-под навеса; мельничиха поднялась с кадки и хотела уйти. Я заговорил с нею.

— Давно вы эту мельницу сняли?

— Второй год пошел с Троицына дня.

— А твой муж откуда?

Арина не расслушала моего вопроса.

— Откелева твой муж? — повторил Ермолай, возвыся голос.

— Из Белева. Он белевский мещанин.

— А ты тоже из Белева?

— Нет, я господская... была господская.

— Чья?

— Зверкова господина. Теперь я вольная.

— Какого Зверкова?

— Александра Силыча.

— Не была ли ты у его жены горничной?

— А вы почему знаете? Была.

Я с удвоенным любопытством и участием посмотрел на Арину.

— Я твоего барина знаю, — продолжал я.

— Знаете? — отвечала она вполголоса — и потупилась.

Надобно сказать читателю, почему я с таким участьем посмотрел на Арину. Во время моего пребывания в Петербурге я случайным образом познакомился с г-м Зверковым. Он занимал довольно важное место, слыл человеком знающим и дельным. У него была жена, пухлая, чувствительная, слезливая и злая — дюжинное и тяжелое созданье; был и сынок, настоящий барчонок, избалованный и глупый. Наружность самого г. Зверкова мало располагала в его пользу: из широкого, почти четвероугольного лица лукаво выглядывали мышиные глазки, торчал нос, большой и острый, с открытыми ноздрями; стриженые седые волосы поднимались щетиной над морщинистым лбом, тонкие губы беспрестанно шевелились и приторно улыбались. Г-н Зверков стоял обыкновенно, растопырив ножки и заложив толстые ручки в карманы. Раз как-то пришлось мне ехать с ним вдвоем в карете за город. Мы разговорились. Как человек опытный, дельный, г. Зверков начал наставлять меня на «путь истины».

— Позвольте мне вам заметить, — пропищал он наконец, — вы все, молодые люди, судите и толкуете обо всех вещах наобум; вы мало знаете собственное свое отечество; Россия вам, господа, незнакома, вот что!.. Вы всё только немецкие книги читаете. Вот, например, вы мне говорите теперь и то, и то насчет того, ну, то есть, насчет дворовых людей... Хорошо, я не спорю, все это хорошо; но вы их не знаете, не знаете, что это за народ. (Г-н Зверков громко высморкался и понюхал табаку.) Позвольте мне вам рассказать, например, один маленький анекдотец: вас это может заинтересовать. (Г-н Зверков откашлянулся.) Вы ведь знаете, что́ у меня за жена; кажется, женщину добрее ее найти трудно, согласитесь сами. Горничным ее девушкам не житье, — просто рай воочию совершается... Но моя жена положила себе за правило: замужних горничных не держать. Оно и точно не годится: пойдут дети, то, се, — ну, где ж тут горничной присмотреть за барыней как следует, наблюдать за ее привычками: ей уж не до того, у ней уж не то на уме. Надо по человечеству судить. Вот-с проезжаем мы раз через нашу деревню, лет тому будет — как бы вам сказать, не солгать, — лет пятнадцать. Смотрим, у старосты девочка, дочь, прехорошенькая; такое даже, знаете, подобострастное что-то в манерах. Жена моя и говорит мне: «Коко́, — то есть, вы понимаете, она меня так называет, — возьмем эту девочку в Петербург; она мне нравится, Коко́...» Я говорю: «Возьмем, с удовольствием». Староста, разумеется, нам в ноги; он такого счастья, вы понимаете, и ожидать не мог... Ну, девочка, конечно, поплакала сдуру. Оно действительно жутко сначала: родительский дом... вообще... удивительного тут ничего нет. Однако она скоро к нам привыкла; сперва ее отдали в девичью; учили ее, конечно. Что ж вы думаете?.. Девочка оказывает удивительные успехи; жена моя просто к ней пристращивается, жалует ее, наконец, помимо других, в горничные к своей особе... замечайте!.. И надобно было отдать ей справедливость: не было еще такой горничной у моей жены,

решительно не было; услужлива, скромна, послушна — просто все, что требуется. Зато уж и жена ее даже, признаться, слишком баловала; одевала отлично, кормила с господского стола, чаем поила... ну, что только можно себе представить! Вот этак она лет десять у моей жены служила. Вдруг, в одно прекрасное утро, вообразите себе, входит Арина — ее Ариной звали — без доклада ко мне в кабинет — и бух мне в ноги... Я этого, скажу вам откровенно, терпеть не могу. Человек никогда не должен забывать свое достоинство, не правда ли? «Чего тебе?» — «Батюшка, Александр Силыч, милости прошу». — «Какой?» — «Позвольте выйти замуж». Я, признаюсь вам, изумился. «Да ты знаешь, дура, что у барыни другой горничной нету?» — «Я буду служить барыне по-прежнему». — «Вздор! вздор! барыня замужних горничных не держит».— «Маланья на мое место поступить может». — «Прошу не рассуждать!» — «Воля ваша...» Я, признаюсь, так и обомлел. Доложу вам, я такой человек: ничто меня так не оскорбляет, смею сказать, так сильно не оскорбляет, как неблагодарность... Ведь вам говорить нечего — вы знаете, что у меня за жена: ангел во плоти, доброта неизъяснимая... Кажется, злодей — и тот бы ее пожалел. Я прогнал Арину. Думаю, авось опомнится; не хочется, знаете ли, верить злу, черной неблагодарности в человеке. Что ж вы думаете? Через полгода опять она изволит жаловать ко мне с тою же самою просьбой. Тут я, признаюсь, ее с сердцем прогнал и пригрозил ей, и сказать жене обещался. Я был возмущен... Но представьте себе мое изумление: несколько времени спустя приходит ко мне жена, в слезах, взволнована так, что я даже испугался. «Что такое случилось?» — «Арина...» Вы понимаете... я стыжусь выговорить. «Быть не может!.. кто же?» — «Петрушка-лакей». Меня взорвало. Я такой человек... полумер не люблю!.. Петрушка... не виноват. Наказать его можно, но он, по-моему, не виноват. Арина... ну, что ж, ну, ну, что ж тут еще говорить? Я, разумеется, тотчас же приказал ее остричь, одеть в затрапез и сослать в деревню. Жена моя лишилась отличной горничной, но делать было нечего: беспорядок в доме терпеть, однако же, нельзя. Больной член лучше отсечь разом... Ну, ну, теперь посудите сами, — ну, ведь вы знаете мою жену, ведь это, это, это... наконец, ангел!.. Ведь она привязалась к Арине, — и Арина это знала и не постыдилась... А? нет, скажите... а? Да что тут толковать! Во всяком случае, делать было нечего. Меня же, собственно меня, надолго огорчила, обидела неблагодарность этой девушки. Что ни говорите... сéрдца, чувства — в этих людях не ищите! Как волка ни корми, он все в лес смотрит... Вперед наука! Но я желал только доказать вам...

И г. Зверков, не докончив речи, отворотил голову и завернулся плотнее в свой плащ, мужественно подавляя невольное волнение.

Читатель теперь, вероятно, понимает, почему я с участием посмотрел на Арину.

— Давно ты замужем за мельником? — спросил я ее наконец.

— Два года.

— Что ж, разве тебе барин позволил?

— Меня откупили.

— Кто?

— Савелий Алексеевич.

— Кто такой?

— Муж мой. (Ермолай улыбнулся про себя.) А разве вам барин говорил обо мне? — прибавила Арина после небольшого молчанья.

Я не знал, что отвечать на ее вопрос. «Арина!» — закричал издали мельник. Она встала и ушла.

— Хороший человек ее муж? — спросил я Ермолая.

— Ништо.

— А дети у них есть?

— Был один, да помер.

— Что ж, она понравилась мельнику, что ли?.. Много ли он за нее дал выкупу?

— А не знаю. Она грамоте разумеет; в их деле оно... того... хорошо бывает. Стало быть, понравилась.

— А ты с ней давно знаком?

— Давно. Я к ее господам прежде хаживал. Их усадьба отселева недалече.

— И Петрушку-лакея знаешь?

— Петра Васильевича? Как же, знал.

— Где он теперь?

— А в солдаты поступил.

Мы помолчали.

— Что она, кажется, нездорова? — спросил я наконец Ермолая.

— Какое здоровье!.. А завтра, чай, тяга хороша будет. Вам теперь соснуть не худо.

Стадо диких уток со свистом промчалось над нами, и мы слышали, как оно спустилось на реку недалеко от нас. Уже совсем стемнело и начинало холодать; в роще звучно щелкал соловей. Мы зарылись в сено и заснули.

МАЛИНОВАЯ ВОДА

В начале августа жары часто стоят нестерпимые. В это время, от двенадцати до трех часов, самый решительный и сосредоточенный человек не в состоянии охотиться и самая преданная собака начинает «чистить охотнику шпоры», то есть идет за ним шагом, болезненно прищурив глаза и преувеличенно высунув язык, а в ответ на укоризны своего господина униженно виляет хвостом и выражает смущение на лице, но вперед не подвигается. Именно в такой день случилось мне быть на охоте. Долго противился я искушению прилечь где-нибудь в тени, хоть на мгновение; долго моя неутомимая собака продолжала рыскать по кустам, хотя сама, видимо, ничего не ожидала путного от своей лихорадочной деятельности. Удушливый зной принудил меня наконец поду-

мать о сбережении последних наших сил и способностей. Кое-как дотащился я до речки Исты, уже знакомой моим снисходительным читателям, спустился с кручи и пошел по желтому и сырому песку в направлении ключа, известного во всем околотке под названием «Малиновой воды». Ключ этот бьет из расселины берега, превратившейся мало-помалу в небольшой, но глубокий овраг, и в двадцати шагах оттуда с веселым и болтливым шумом впадает в реку. Дубовые кусты разрослись по скатам оврага; около родника зеленеет короткая, бархатная травка; солнечные лучи почти никогда не касаются его холодной, серебристой влаги. Я добрался до ключа, на траве лежала черпалка из бересты, оставленная прохожим мужиком на пользу общую. Я напился, прилег в тень и взглянул кругом. У залива, образованного впадением источника в реку и оттого вечно покрытого мелкой рябью, сидели ко мне спиной два старика. Один, довольно плотный и высокого роста, в темно-зеленом опрятном кафтане и пуховом картузе, удил рыбу; другой, худенький и маленький, в мухояровом заплатанном сюртучке и без шапки, держал на коленях горшок с червями и изредка проводил рукой по седой своей головке, как бы желая предохранить ее от солнца. Я вгляделся в него попристальнее и узнал в нем шумихинского Степушку. Прошу позволения читателя представить ему этого человека.

В нескольких верстах от моей деревни находится большое село Шумихино, с каменною церковью, воздвигнутой во имя преподобных Козьмы и Дамиана. Напротив этой церкви некогда красовались обширные господские хоромы, окруженные разными пристройками, службами, мастерскими, конюшнями, грунтовыми и каретными сараями, банями и временными кухнями, флигелями для гостей и для управляющих, цветочными оранжереями, качелями для народа и другими, более или менее полезными, зданиями. В этих хоромах жили богатые помещики, и все у них шло своим порядком, как вдруг, в одно прекрасное утро, вся эта благодать сгорела дотла. Господа перебрались в другое гнездо; усадьба запустела. Обширное пепелище превратилось в огород, кое-где загроможденный грудами кирпичей, остатками прежних фундаментов. Из уцелевших бревен на скорую руку сколотили избенку, покрыли ее барочным тесом, купленным лет за десять для построения павильона на готический манер, и поселили в ней садовника Митрофана с женой Аксиньей и семью детьми. Митрофану приказали поставлять на господский стол, за полтораста верст, зелень и овощи; Аксинье поручили надзор за тирольской коровой, купленной в Москве за большие деньги, но, к сожалению, лишенной всякой способности воспроизведения и потому со времени приобретения не дававшей молока; ей же на руки отдали хохлатого дымчатого селезня, единственную «господскую» птицу; детям, по причине малолетства, не определили никаких должностей, что, впрочем, нисколько не помешало им совершенно облениться. У этого садовника мне случилось раза два переночевать; мимоходом забирал я у него огурцы, которые, бог ведает почему, даже летом отличались величиной, дрянным водянистым вкусом и тол-

стой желтой кожей. У него-то увидал я впервые Степушку. Кроме Митрофана с его семьей да старого глухого ктитора Герасима, проживавшего Христа ради в каморочке у кривой солдатки, ни одного дворового человека не осталось в Шумихине, потому что Степушку, с которым я намерен познакомить читателя, нельзя было считать ни за человека вообще, ни за дворового в особенности.

Всякий человек имеет хоть какое бы то ни было положение в обществе, хоть какие-нибудь да связи; всякому дворовому выдается если не жалованье, то, по крайней мере, так называемое «отвесное»: Степушка не получал решительно никаких пособий, не состоял в родстве ни с кем, никто не знал о его существовании. У этого человека даже прошедшего не было; о нем не говорили; он и по ревизии едва ли числился. Ходили темные слухи, что состоял он когда-то у кого-то в камердинерах; но кто он, откуда он, чей сын, как попал в число шумихинских подданных, каким образом добыл мухояровый, с незапамятных времен носимый им кафтан, где живет, чем живет, — об этом решительно никто не имел ни малейшего понятия, да и, правду сказать, никого не занимали эти вопросы. Дедушка Трофимыч, который знал родословную всех дворовых в восходящей линии до четвертого колена, и тот раз только сказал, что, дескать, помнится, Степану приходится родственницей турчанка, которую покойный барин, бригадир Алексей Романыч, из похода в обозе изволил привезти. Даже, бывало, в праздничные дни, дни всеобщего жалованья и угощения хлебом-солью, гречишными пирогами и зеленым вином, по старинному русскому обычаю, — даже и в эти дни Степушка не являлся к выставленным столам и бочкам, не кланялся, не подходил к барской руке, не выпивал духом стакана под господским взглядом и за господское здоровье, — стакана, наполненного жирною рукою приказчика; разве какая добрая душа, проходя мимо, уделит бедняге недоеденный кусок пирога. В светлое воскресенье с ним христосовались, но он не подворачивал замасленного рукава, не доставал из заднего кармана своего красного яичка, не подносил его, задыхаясь и моргая, молодым господам или даже самой барыне. Проживал он летом в клети, позади курятника, а зимой в предбаннике; в сильные морозы ночевал на сеновале. Его привыкли видеть, иногда даже давали ему пинка, но никто с ним не заговаривал, и он сам, кажется, отроду рта не разинул. После пожара этот заброшенный человек приютился, или, как говорят орловцы, «притулился» у садовника Митрофана. Садовник не тронул его, не сказал ему: живи у меня — да и не прогнал его. Степушка и не жил у садовника: он обитал, витал на огороде. Ходил он и двигался без всякого шуму; чихал и кашлял в руку, не без страха; вечно хлопотал и возился втихомолку, словно муравей — и все для еды, для одной еды. И точно, не заботься он с утра до вечера о своем пропитании, — умер бы мой Степушка с голоду. Плохое дело не знать поутру, чем к вечеру сыт будешь! То под забором Степушка сидит и редьку гложет, или морковь сосет, или грязный кочан капусты под себя крошит; то ведро с водой куда-то тащит и

кряхтит; то под горшочком огонек раскладывает и какие-то черные кусочки из-за пазухи в горшок бросает; то у себя в чуланчике деревяшкой постукивает, гвоздик приколачивает, полочку для хлебца устроивает. И все это он делает молча, словно из-за угла: глядь, уж и спрятался. А то вдруг отлучится дня на два; его отсутствия, разумеется, никто не замечает... Смотришь, уж он опять тут, опять где-нибудь около забора под таганчик щепочки украдкой подкладывает. Лицо у него маленькое, глазки желтенькие, волосы вплоть до бровей, носик остренький, уши пребольшие, прозрачные, как у летучей мыши, борода словно две недели тому назад выбрита, и никогда ни меньше не бывает, ни больше. Вот этого-то Степушку я встретил на берегу Исты в обществе другого старика.

Я подошел к ним, поздоровался и присел с ними рядом. В товарище Степушки я узнал тоже знакомого: это был вольноотпущенный человек графа Петра Ильича***, Михайло Савельев, по прозвищу Туман. Он проживал у болховского чахоточного мещанина, содержателя постоялого двора, где я довольно часто останавливался. Проезжающие по большой орловской дороге молодые чиновники и другие незанятые люди (купцам, погруженным в свои полосатые перины, не до того) до сих пор еще могут заметить в недальнем расстоянии от большого села Троицкого огромный деревянный дом в два этажа, совершенно заброшенный, с провалившейся крышей и наглухо забитыми окнами, выдвинутый на самую дорогу. В полдень, в ясную, солнечную погоду, ничего нельзя вообразить печальнее этой развалины. Здесь некогда жил граф Петр Ильич, известный хлебосол, богатый вельможа старого века. Бывало, вся губерния съезжалась у него, плясала и веселилась на славу, при оглушительном громе доморощенной музыки, трескотне бураков и римских свечей; и, вероятно, не одна старушка, проезжая теперь мимо запустелых боярских палат, вздохнет и вспомянет минувшие времена и минувшую молодость. Долго пировал граф, долго расхаживал, приветливо улыбаясь, в толпе подобострастных гостей; но именья его, к несчастию, не хватило на целую жизнь. Разорившись кругом, отправился он в Петербург искать себе места и умер в нумере гостиницы, не дождавшись никакого решения. Туман служил у него дворецким и еще при жизни графа получил отпускную. Это был человек лет семидесяти, с лицом правильным и приятным. Улыбался он почти постоянно, как улыбаются теперь одни люди екатерининского времени: добродушно и величаво; разговаривая, медленно выдвигал и сжимал губы, ласково щурил глаза и произносил слова несколько в нос. Сморкался и нюхал табак он тоже не торопясь, словно дело делал.

— Ну, что, Михайло Савельич, — начал я, — наловил рыбы?

— А вот извольте в плетушку заглянуть: двух окуньков залучил да головликов штук пять... Покажь, Степа.

Степушка протянул ко мне плетушку.

— Как ты поживаешь, Степан? — спросил я его.

— И... и... и... ни... ничего-о, батюшка, помаленьку, — отвечал Степан, запинаясь, словно пуды языком ворочал.

— А Митрофан здоров?

— Здоров, ка... как же, батюшка.

Бедняк отвернулся.

— Да плохо что-то клюет, — заговорил Туман, — жарко больно; рыба-то вся под кусты забилась, спит... Надень-ко червяка, Степа. (Степушка достал червяка, положил на ладонь, хлопнул по нем раза два, надел на крючок, поплевал и подал Туману.) Спасибо, Степа... А вы, батюшка, — продолжал он, обращаясь ко мне, — охотиться изволите?

— Как видишь.

— Так-с... А что это у вас песик аглицкий али фурлянский какой?

Старик любил при случае показать себя: дескать, и мы живали в свете!

— Не знаю, какой он породы, а хорош.

— Так-с... А с собаками изволите ездить?

— Своры две у меня есть.

Туман улыбнулся и покачал головой.

— Оно точно: иной до собак охотник, а иному их даром не нужно. Я так думаю, по простому моему разуму: собак больше для важности, так сказать, держать следует... И чтобы все уж и было в порядке: и лошади чтоб были в порядке, и псари как следует, в порядке, и всё. Покойный граф — царство ему небесное! — охотником отродясь, признаться, не бывал, а собак держал и раза два в год выезжать изволил. Соберутся псари на дворе в красных кафтанах с галунами и в трубу протрубят; их сиятельство выйти изволят, и коня их сиятельству подведут; их сиятельство сядут, а главный ловчий им ножки в стремена вденет, шапку с головы снимет и поводья в шапке подаст. Их сиятельство арапельником этак изволят щелкнуть, а псари загогочут, да и двинутся со двора долой. Стремянный-то за графом поедет, а сам на шелковой сворке двух любимых барских собачек держит и этак наблюдает, знаете... И сидит-то он, стремянный-то, высоко, высоко, на казацком седле, краснощекий такой, глазищами так и водит... Ну, и гости, разумеется, при этом случае бывают. И забава, и почет соблюден... Ах, сорвался, азиятец! — прибавил он вдруг, дернув удочкой.

— А что, говорят, граф таки пожил на своем веку? — спросил я.

Старик поплевал на червяка и закинул удочку.

— Вельможественный был человек, известно-с. К нему, бывало, первые, можно сказать, особы из Петербурга заезжали. В голубых лентах, бывало, за столом сидят и кушают. Ну, да уж и угощать был мастер. Призовет, бывало, меня: «Туман, говорит, мне к завтрашнему числу живых стерлядей требуется: прикажи достать, слышишь?» — «Слушаю, ваше сиятельство». Кафтаны шитые, парики, трости, духи, ладеколон первого сорта, табакерки, картины этакие большущие, из самого Парижа выписывал. Задаст банкет, — господи, владыко живота моего! фейвирки пойдут, катанья! Даже из пушек палят. Музыкантов одних сорок человек налицо состояло. Кампельмейстера из немцев держал, да зазнался

больно немец; с господами за одним столом кушать захотел; так и велели их сиятельство прогнать его с богом: у меня и так, говорит, музыканты свое дело понимают. Известно: господская власть. Плясать пустятся — до зари пляшут, и все больше лакосез-матрадура... Э... э... э... попался, брат! (Старик вытащил из воды небольшого окуня.) На-ко, Степа.— Барин был, как следует, барин, — продолжал старик, закинув опять удочку, — и душа была тоже добрая. Побьет, бывало, тебя — смотришь, уж и позабыл. Одно: матресок держал. Ох, уж эти матрески, прости господи! Оне-то его и разорили. И ведь все больше из низкого сословия выбирал. Кажись, чего бы им еще? Так нет, подавай им что ни на есть самого дорогого в целой Европии! И то сказать: почему не пожить в свое удовольствие, — дело господское... да разоряться-то не след. Особенно одна: Акулиной ее называли; теперь она покойница, — царство ей небесное! Девка была простая, ситовского десятского дочь, да такая злющая! По щекам, бывало, графа бьет. Околдовала его совсем. Племяннику моему лоб забрила: на новое платье щеколат ей обронил... и не одному ему забрила лоб. Да... А все-таки хорошее было времечко! — прибавил старик с глубоким вздохом, потупился и умолк.

— А барин-то, я вижу, у вас был строг? — начал я после небольшого молчания.

— Тогда это было во вкусе, батюшка, — возразил старик, качнув головой.

— Теперь уж этого не делается, — заметил я, не спуская с него глаз.

Он посмотрел на меня сбоку.

— Теперь, вестимо, лучше, — пробормотал он — и далеко закинул удочку.

Мы сидели в тени; но и в тени было душно. Тяжелый, знойный воздух словно замер; горячее лицо с тоской искало ветра, да ветра-то не было. Солнце так и било с синего, потемневшего неба; прямо перед нами, на другом берегу, желтело овсяное поле, кое-где проросшее полынью, и хоть бы один колос пошевельнулся. Немного пониже крестьянская лошадь стояла в реке по колени и лениво обмахивалась мокрым хвостом; изредка под нависшим кустом всплывала большая рыба, пускала пузыри и тихо погружалась на дно, оставив за собою легкую зыбь. Кузнечики трещали в порыжелой траве; перепела кричали как бы нехотя; ястреба плавно носились над полями и часто останавливались на месте, быстро махая крыльями и распустив хвост веером. Мы сидели неподвижно, подавленные жаром. Вдруг, позади нас, в овраге раздался шум: кто-то спускался к источнику. Я оглянулся и увидал мужика лет пятидесяти, запыленного, в рубашке, в лаптях, с плетеной котомкой и армяком за плечами. Он подошел к ключу, с жадностию напился и приподнялся.

— Э, Влас? — вскрикнул Туман, вглядевшись в него. — Здорово, брат. Откуда бог принес?

— Здорово, Михайла Савельич, — проговорил мужик, подходя к нам, — издалеча.

— Где пропадал? — спросил его Туман.

— А в Москву сходил, к барину.

— Зачем?

— Просить его ходил.

— О чем просить?

— Да чтоб оброку сбавил аль на барщину посадил, переселил, что ли... Сын у меня умер, — так мне одному теперь не справиться.

— Умер твой сын?

— Умер. Покойник, — прибавил мужик, помолчав, — у меня в Москве в извозчиках жил; за меня, признаться, и оброк взносил.

— Да разве вы теперь на оброке?

— На оброке.

— Что ж твой барин?

— Что барин? Прогнал меня. Говорит, как смеешь прямо ко мне идти: на то есть приказчик; ты, говорит, сперва приказчику обязан донести... да и куда я тебя переселю? Ты, говорит, сперва недоимку за себя взнеси. Осерчал вовсе.

— Ну, что ж, ты и пошел назад?

— И пошел. Хотел было справиться, не оставил ли покойник какого по себе добра, да толку не добился. Я хозяину-то его говорю: «Я, мол, Филиппов отец»; а он мне говорит: «А я почем знаю? Да и сын твой ничего, говорит, не оставил; еще у меня в долгу». Ну, я и пошел.

Мужик рассказывал нам все это с усмешкой, словно о другом речь шла; но на маленькие и съеженные его глазки навертывалась слезинка, губы его подергивало.

— Что ж ты, теперь домой идешь?

— А то куда? Известно, домой. Жена, чай, теперь с голоду в кулак свистит.

— Да ты бы... того... — заговорил внезапно Степушка, смешался, замолчал и принялся копаться в горшке.

— А к приказчику пойдешь? — продолжал Туман, не без удивления взглянув на Степу.

— Зачем я к нему пойду?.. За мной и так недоимка. Сын-то у меня перед смертию с год хворал, так и за себя оброку не взнес... Да мне с полугоря: взять-то с меня нечего... Уж, брат, как ты там ни хитри, — шалишь: безответная моя голова! (Мужик рассмеялся.) Уж он там как ни мудри, Кантильян-то Семенович, а уж...

Влас опять засмеялся.

— Что ж? Это плохо, брат Влас, — с расстановкой произнес Туман.

— А чем плохо? Не... (У Власа голос прервался.) Эка жара стоит, — продолжал он, утирая лицо рукавом.

— Кто ваш барин? — спросил я.

— Граф***, Валериан Петрович.

— Сын Петра Ильича?

— Петра Ильича сын, — отвечал Туман. — Петр Ильич, покойник, Власову-то деревню ему при жизни уделил.

— Что, он здоров?

— Здоров, слава богу,— возразил Влас.— Красный такой стал, лицо словно обложилось.

— Вот, батюшка, — продолжал Туман, обращаясь ко мне, — добро бы под Москвой, а то здесь на оброк посадил.

— А почем с тягла?

— Девяносто пять рублев с тягла, — пробормотал Влас.

— Ну вот, видите; а земли самая малость, только и есть что господский лес.

— Да и тот, говорят, продали, — заметил мужик.

— Ну, вот видите... Степа, дай-ка червяка... А, Степа? Что ты, заснул, что ли?

Степушка встрепенулся. Мужик подсел к нам. Мы опять приумолкли. На другом берегу кто-то затянул песню, да такую унылую... Пригорюнился мой бедный Влас...

Через полчаса мы разошлись.

УЕЗДНЫЙ ЛЕКАРЬ

Однажды осенью, на возвратном пути с отъезжего поля, я простудился и занемог. К счастью, лихорадка застигла меня в уездном городе, в гостинице; я послал за доктором. Через полчаса явился уездный лекарь, человек небольшого роста, худенький и черноволосый. Он прописал мне обычное потогонное, велел приставить горчичник, весьма ловко запустил к себе под обшлаг пятирублевую бумажку, причем, однако, сухо кашлянул и глянул в сторону, и уже совсем было собрался отправиться восвояси, да как-то разговорился и остался. Жар меня томил; я предвидел бессонную ночь и рад был поболтать с добрым человеком. Подали чай. Пустился мой доктор в разговоры. Малый он был неглупый, выражался бойко и довольно забавно. Странные дела случаются на свете: с иным человеком и долго живешь вместе и в дружественных отношениях находишься, а ни разу не заговоришь с ним откровенно, от души; с другим же едва познакомиться успеешь — глядь, либо ты ему, либо он тебе, словно на исповеди, всю подноготную и проболтал. Не знаю, чем я заслужил доверенность моего нового приятеля, — только он, ни с того, ни с сего, как говорится, «взял» да и рассказал мне довольно замечательный случай; а я вот и довожу теперь его рассказ до сведения благосклонного читателя. Я постараюсь выражаться словами лекаря.

— Вы не изволите знать, — начал он расслабленным и дрожащим голосом (таково действие беспримесного березовского табаку), — вы не изволите знать здешнего судью, Мылова, Павла Лукича?.. Не знаете... Ну, все равно. (Он откашлялся и протер глаза.) Вот, изволите видеть, дело было этак, как бы вам сказать — не солгать, в великий пост, в самую ростепель. Сижу я у него, у нашего судьи, и играю в преферанс. Судья у нас хороший человек и в преферанс играть охотник. Вдруг (мой лекарь часто употреблял слово: вдруг) говорят мне: человек ваш вас спрашивает. Я го-

ворю: что ему надобно? Говорят, записку принес, — должно быть, от больного. Подай, говорю, записку. Так и есть: от больного... Ну, хорошо, — это, понимаете, наш хлеб... Да вот в чем дело: пишет ко мне помещица, вдова; говорит, дескать, дочь умирает, приезжайте, ради самого господа бога нашего, и лошади, дескать, за вами присланы. Ну, это еще все ничего... Да живет-то она в двадцати верстах от города, а ночь на дворе, и дороги такие, что фа! Да и сама беднеющая, больше двух целковых ожидать тоже нельзя, и то еще сумнительно, а разве холстом придется попользоваться да крупицами какими-нибудь. Однако долг, вы понимаете, прежде всего: человек умирает. Передаю вдруг карты непременному члену Каллиопину и отправляюсь домой. Гляжу: стоит тележчонка перед крыльцом; лошади крестьянские — пузатые-препузатые, шерсть на них — войлоко настоящее, и кучер, ради уваженья, без шапки сидит. Ну, думаю, видно, брат, господа-то твои не на золоте едят... Вы изволите смеяться, а я вам скажу: наш брат, бедный человек, все в соображенье принимай... Коли кучер сидит князем, да шапки не ломает, да еще посмеивается из-под бороды, да кнутиком шевелит — смело бей на две депозитки! А тут, вижу, дело-то не тем пахнет. Однако, думаю, делать нечего: долг прежде всего. Захватываю самонужнейшие лекарства и отправляюсь. Поверите ли, едва дотащился. Дорога адская: ручьи, снег, грязь, водомоины, а там вдруг плотину прорвало — беда! Однако приезжаю. Домик маленький, соломой крыт. В окнах свет: знать, ждут. Вхожу. Навстречу мне старушка почтенная такая, в чепце. «Спасите, говорит, умирает». Я говорю: «Не извольте беспокоиться... Где больная?» — «Вот сюда пожалуйте». Смотрю: комнатка чистенькая, в углу лампада, на постеле девица лет двадцати, в беспамятстве. Жаром от нее так и пышет, дышит тяжело — горячка. Тут же другие две девицы, сестры, — перепуганы, в слезах. «Вот, говорят, вчера была совершенно здорова и кушала с аппетитом; поутру сегодня жаловалась на голову, а к вечеру вдруг вот в каком положении...» Я опять-таки говорю: «Не извольте беспокоиться», — докторская, знаете, обязанность, — и приступил. Кровь ей пустил, горчичники поставить велел, микстурку прописал. Между тем я гляжу на нее, гляжу, знаете, — ну, ей-богу, не видал еще такого лица... красавица, одним словом! Жалость меня так и разбирает. Черты такие приятные, глаза... Вот, слава богу, успокоилась; пот выступил, словно опомнилась; кругом поглядела, улыбнулась, рукой по лицу провела... Сестры к ней нагнулись, спрашивают: «Что с тобою?» — «Ничего»,— говорит, да и отворотилась... Гляжу — заснула. Ну, говорю, теперь следует больную в покое оставить. Вот мы все на цыпочках и вышли вон; горничная одна осталась на всякий случай. А в гостиной уж самовар на столе, и ямайский тут же стоит: в нашем деле без этого нельзя. Подали мне чай, просят остаться ночевать... Я согласился: куда теперь ехать! Старушка все охает. «Чего вы? — говорю. — Будет жива, не извольте беспокоиться, а лучше отдохните-ка сами: второй час». — «Да вы меня прикажете разбудить, коли что случится?» — «Прикажу, прикажу». Старушка отправилась, и девицы также пошли к себе в ком-

нату; мне постель в гостиной постлали. Вот я лег, — только не могу заснуть, — что за чудеса! Уж на что, кажется, намучился. Все моя больная у меня с ума нейдет. Наконец не вытерпел, вдруг встал; думаю, пойду посмотрю, что делает пациент? А спальня-то ее с гостиной рядом. Ну, встал, растворил тихонько дверь, а сердце так и бьется. Гляжу: горничная спит, рот раскрыла и храпит даже, бестия! а больная лицом ко мне лежит и руки разметала, бедняжка! Я подошел... Как она вдруг раскроет глаза и уставится на меня!.. «Кто это? кто это?» Я сконфузился. «Не пугайтесь, говорю, сударыня: я доктор, пришел посмотреть, как вы себя чувствуете». — «Вы доктор?» — «Доктор, доктор... Матушка ваша за мною в город посылали; мы вам кровь пустили, сударыня; теперь извольте почивать, а дня этак через два мы вас, даст бог, на ноги поставим». — «Ах, да, да, доктор, не дайте мне умереть... пожалуйста, пожалуйста». — «Что вы это, бог с вами!» А у ней опять жар, думаю я про себя; пощупал пульс: точно, жар. Она посмотрела на меня — да как возьмет меня вдруг за руку. «Я вам скажу, почему мне не хочется умереть, я вам скажу, я вам скажу... теперь мы одни; только вы пожалуйста, никому... послушайте...» Я нагнулся; придвинула она губы к самому моему уху, волосами щеку мою трогает, — признаюсь, у меня самого кругом пошла голова, — и начала шептать... Ничего не понимаю... Ах, да это она бредит... Шептала, шептала, да так проворно и словно не по-русски, кончила, вздрогнула, уронила голову на подушку и пальцем мне погрозилась. «Смотрите же, доктор, никому...» Кое-как я ее успокоил, дал ей напиться, разбудил горничную и вышел.

Тут лекарь опять с ожесточеньем понюхал табаку и на мгновение оцепенел.

— Однако, — продолжал он, — на другой день больной, в противность моим ожиданиям, не полегчило. Я подумал, подумал и вдруг решился остаться, хотя меня другие пациенты ожидали... А вы знаете, этим неглижировать нельзя: практика от этого страдает. Но, во-первых, больная действительно находилась в отчаянии; а во-вторых, надо правду сказать, я сам чувствовал сильное к ней расположение. Притом же и все семейство мне нравилось. Люди они были хоть и неимущие, но образованные, можно сказать, на редкость... Отец-то у них был человек ученый, сочинитель; умер, конечно, в бедности, но воспитание детям успел сообщить отличное; книг тоже много оставил. Потому ли, что хлопотал-то я усердно около больной, по другим ли каким-либо причинам, только меня, смею сказать, полюбили в доме, как родного... Между тем распутица сделалась страшная: все сообщения, так сказать, прекратились совершенно; даже лекарство с трудом из города доставлялось... Больная не поправлялась... День за день, день за день... Но вот-с... тут-с... (Лекарь помолчал.) Право, не знаю, как бы вам изложить-с... (Он снова понюхал табаку, крякнул и хлебнул глоток чаю.) Скажу вам без обиняков, больная моя... как бы это того... ну, полюбила, что ли, меня... или нет, не то чтобы полюбила... а впрочем... право, как это, того-с... (Лекарь потупился и покраснел.)

— Нет, — продолжал он с живостью, — какое полюбила! Надо себе наконец цену знать. Девица она была образованная, умная, начитанная, а я даже латынь-то свою позабыл, можно сказать, совершенно. Насчет фигуры (лекарь с улыбкой взглянул на себя) также, кажется, нечем хвастаться. Но дураком господь бог тоже меня не уродил: я белое черным не назову; я кое-что тоже смекаю. Я, например, очень хорошо понял, что Александра Андреевна — ее Александрой Андреевной звали — не любовь ко мне почувствовала, а дружеское, так сказать, расположение, уважение, что ли. Хотя она сама, может быть, в этом отношении ошибалась, да ведь положение ее было какое, вы сами рассудите... Впрочем, — прибавил лекарь, который все эти отрывистые речи произнес, не переводя духа и с явным замешательством, — я, кажется, немного зарапортовался... Этак вы ничего не поймете... а вот, позвольте, я вам все по порядку расскажу.

Он допил стакан чаю и заговорил голосом более спокойным.

— Так, так-то-с. Моей больной все хуже становилось, хуже, хуже. Вы не медик, милостивый государь; вы понять не можете, что происходит в душе нашего брата, особенно на первых порах, когда он начинает догадываться, что болезнь-то его одолевает. Куда денется самоуверенность! Оробеешь вдруг так, что и сказать нельзя. Так тебе и кажется, что и позабыл-то ты все, что знал, и что больной-то тебе больше не доверяет, и что другие уже начинают замечать, что ты потерялся, и неохотно симптомы тебе сообщают, исподлобья глядят, шепчутся... э, скверно! Ведь есть же лекарство, думаешь, против этой болезни, стоит только найти. Вот не оно ли? Попробуешь — нет, не оно! Не даешь времени лекарству как следует подействовать... то за то хватишься, то за то. Возьмешь, бывало, рецептурную книгу... ведь тут оно, думаешь, тут! Право слово, иногда наобум раскроешь: авось, думаешь, судьба... А человек меж тем умирает; а другой бы его лекарь спас. Консилиум, говоришь, нужен; я на себя ответственности не беру. А уж каким дураком в таких случаях глядишь! Ну, со временем обтерпишься, ничего. Умер человек — не твоя вина: ты по правилам поступал. А то вот что еще мучительно бывает: видишь доверие к тебе слепое, а сам чувствуешь, что не в состоянии помочь. Вот именно такое доверие все семейство Александры Андреевны ко мне возымело: и думать позабыли, что у них дочь в опасности. Я их тоже, с своей стороны, уверяю, что ничего, дескать, а у самого душа в пятки уходит. К довершению несчастия, такая подошла распутица, что за лекарством по целым дням, бывало, кучер ездит. А я из комнаты больной не выхожу, оторваться не могу, разные, знаете, смешные анекдотцы рассказываю, в карты с ней играю. Ночи просиживаю. Старушка меня со слезами благодарит; а я про себя думаю: «Не стою я твоей благодарности». Признаюсь вам откровенно — теперь не для чего скрываться — влюбился я в мою больную. И Александра Андреевна ко мне привязалась: никого, бывало, к себе в комнату, кроме меня, не пускает. Начнет со мной разговаривать,— расспрашивает меня, где я учился, как живу, кто мои родные, к кому я езжу? И чувствую я, что не след ей разговаривать; а запретить ей, решительно этак,

знаете, запретить — не могу. Схвачу, бывало, себя за голову: «Что ты делаешь, разбойник?..» А то возьмет меня за руку и держит, глядит на меня, долго, долго глядит, отвернется, вздохнет и скажет: «Какой вы добрый!» Руки у ней такие горячие, глаза большие, томные. «Да, говорит, вы добрый, вы хороший человек, вы не то, что наши соседи... нет, вы не такой, вы не такой... Как это я до сих пор вас не знала!» — «Александра Андреевна, успокойтесь, говорю... я, поверьте, чувствую, я не знаю, чем заслужил... только вы успокойтесь, ради бога, успокойтесь... все хорошо будет, вы будете здоровы». А между тем, должен я вам сказать, — прибавил лекарь, нагнувшись вперед и подняв кверху брови, — что с соседями они мало водились оттого, что мелкие им не под стать приходились, а с богатыми гордость запрещала знаться. Я вам говорю: чрезвычайно образованное было семейство, — так мне, знаете, и лестно было. Из одних моих рук лекарство принимала... приподнимется, бедняжка, с моею помощью, примет и взглянет на меня... сердце у меня так и покатится. А между тем ей все хуже становилось, все хуже: умрет, думаю, непременно умрет. Поверите ли, хоть самому в гроб ложиться; а тут мать, сестры наблюдают, в глаза мне смотрят... и доверие проходит. «Что? Как?» — «Ничего-с, ничего-с!» А какое ничего-с, ум мешается. Вот-с, сижу я однажды ночью, один опять, возле больной. Девка тут тоже сидит и храпит во всю ивановскую... Ну, с несчастной девки взыскать нельзя: затормошилась и она. Александра-то Андреевна весьма нехорошо себя весь вечер чувствовала; жар ее замучил. До самой полуночи все металась; наконец словно заснула; по крайней мере, не шевелится, лежит. Лампада в углу перед образом горит. Я сижу, знаете, потупился, дремлю тоже. Вдруг, словно меня кто под бок толкнул, обернулся я... Господи, боже мой! Александра Андреевна во все глаза на меня глядит... губы раскрыты, щеки так и горят. «Что с вами?» — «Доктор, ведь я умру?» — «Помилуй бог!» — «Нет, доктор, нет, пожалуйста, не говорите мне, что я буду жива... не говорите... если б вы знали... послушайте, ради бога не скрывайте от меня моего положения! — А сама так скоро дышит. — Если я буду знать наверное, что я умереть должна... я вам тогда всё скажу, всё!» — «Александра Андреевна, помилуйте!» — «Послушайте, ведь я не спала нисколько, я давно на вас гляжу... ради бога... я вам верю, вы человек добрый, вы честный человек, заклинаю вас всем, что есть святого на свете,— скажите мне правду! Если б вы знали, как это для меня важно... Доктор, ради бога скажите, я в опасности?» — «Что я вам скажу, Александра Андреевна, — помилуйте!» — «Ради бога, умоляю вас!» — «Не могу скрыть от вас, Александра Андреевна, — вы точно в опасности, но бог милостив...» — «Я умру, я умру...» И она словно обрадовалась, лицо такое веселое стало; я испугался. «Да не бойтесь, не бойтесь, меня смерть нисколько не стращает». Она вдруг приподнялась и оперлась на локоть. «Теперь... ну, теперь я могу вам сказать, что я благодарна вам от всей души, что вы добрый, хороший человек, что я вас люблю...» Я гляжу на нее, как шальной; жутко мне, знаете... «Слышите ли, я люблю вас...» — «Александра Андреевна, чем же я заслужил!» — «Нет, нет, вы меня не понимаете... ты меня не пони-

маешь...» И вдруг она протянула руки, схватила меня за голову и поцеловала... Поверите ли, я чуть-чуть не закричал... бросился на колени и голову в подушки спрятал. Она молчит; пальцы ее у меня на волосах дрожат; слышу: плачет. Я начал ее утешать, уверять... я уж, право, не знаю, что я такое ей говорил. «Девку, говорю, разбудите, Александра Андреевна... благодарю вас... верьте... успокойтесь». — «Да полно же, полно, — твердила она. — Бог с ними со всеми; ну, проснутся, ну, придут — все равно ведь умру же я... Да и ты чего робеешь, чего боишься? Подними голову... Или вы, может быть, меня не любите, может быть, я обманулась... в таком случае извините меня».— «Александра Андреевна, что вы говорите?.. я люблю вас, Александра Андреевна». Она взглянула мне прямо в глаза, раскрыла руки. «Так обними же меня...» Скажу вам откровенно: я не понимаю, как я в ту ночь с ума не сошел. Чувствую я, что больная моя себя губит; вижу, что не совсем она в памяти; понимаю также и то, что не почитай она себя при смерти, — не подумала бы она обо мне; а то ведь, как хотите, жутко умирать в двадцать пять лет, никого не любивши: ведь вот что ее мучило, вот отчего она, с отчаянья, хоть за меня ухватилась, — понимаете теперь? Ну не выпускает она меня из своих рук. «Пощадите меня, Александра Андреевна, да и себя пощадите, говорю». — «К чему, говорит, чего жалеть? Ведь должна же я умереть...» Это она беспрестанно повторяла. «Вот если бы я знала, что я в живых останусь и опять в порядочные барышни попаду, мне бы стыдно было, точно стыдно... а то что?» — «Да кто вам сказал, что вы умрете?»— «Э, нет, полно, ты меня не обманешь, ты лгать не умеешь, посмотри на себя». — «Вы будете живы, Александра Андреевна, я вас вылечу; мы испросим у вашей матушки благословение... мы соединимся узами, мы будем счастливы». — «Нет, нет, я с вас слово взяла, я должна умереть... ты мне обещал... ты мне сказал...» Горько было мне, по многим причинам горько. И посудите, вот какие иногда приключаются вещицы: кажется, ничего, а больно. Вздумалось ей спросить меня, как мое имя, то есть не фамилия, а имя. Надо же несчастье такое, что меня Трифоном зовут. Да-с, да-с; Трифоном, Трифоном Иванычем. В доме-то меня все доктором звали. Я, делать нечего, говорю: «Трифон, сударыня». Она прищурилась, покачала головой и прошептала что-то по-французски, — ох, да недоброе что-то, — и засмеялась потом, нехорошо тоже. Вот этак-то я почти всю ночь провел с ней. Поутру вышел, словно угорелый; вошел к ней опять в комнату уже днем, после чаю. Боже мой, боже мой! Узнать ее нельзя: краше в гроб кладут. Честью вам клянусь, не понимаю теперь, не понимаю решительно, как я эту пытку выдержал. Три дня, три ночи еще проскрыпела моя больная... и какие ночи! Что она мне говорила!.. А в последнюю-то ночь, вообразите вы себе, — сижу я подле нее и уж об одном бога прошу: прибери, дескать, ее поскорей, да и меня тут же... Вдруг старушка мать — шасть в комнату... Уж я ей накануне сказал, матери-то, что мало, дескать, надежды, плохо, и священника не худо бы. Больная, как увидела мать, и говорит: «Ну вот, хорошо, что пришла... посмотри-ка на нас, мы друг друга любим, мы друг другу слово дали». — «Что это она,

доктор, что она?» Я помертвел. «Бредит-с, говорю, жар...» А она-то: «Полно, полно, ты мне сейчас совсем другое говорил, и кольцо от меня принял... что притворяешься? Мать моя добрая, она простит, она поймет, а я умираю — мне не к чему лгать; дай мне руку...» Я вскочил и вон выбежал. Старушка, разумеется, догадалась.

— Не стану я вас, однако, долее томить, да и мне самому, признаться, тяжело все это припоминать. Моя больная на другой же день скончалась. Царство ей небесное (прибавил лекарь скороговоркой и со вздохом)! Перед смертью попросила она своих выйти и меня наедине с ней оставить. «Простите меня, говорит, я, может быть, виновата перед вами... болезнь... но, поверьте, я никого не любила более вас... не забывайте же меня... берегите мое кольцо...»

Лекарь отвернулся; я взял его за руку.

— Эх! — сказал он. — Давайте-ка о чем-нибудь другом говорить, или не хотите ли в преферансик по маленькой? Нашему брату, знаете ли, не след таким возвышенным чувствованиям предаваться. Наш брат думай об одном: как бы дети не пищали да жена не бранилась. Ведь я с тех пор в законный, как говорится, брак вступить успел... Как же... Купеческую дочь взял: семь тысяч приданого. Зовут ее Акулиной; Трифону-то под стать. Баба, должен я вам сказать, злая, да благо спит целый день... А что ж преферанс?

Мы сели в преферанс по копейке. Трифон Иваныч выиграл у меня два рубля с полтиной — и ушел поздно, весьма довольный своей победой.

МОЙ СОСЕД РАДИЛОВ

...Осенью вальдшнепы часто держатся в старинных липовых садах. Таких садов у нас в Орловской губернии довольно много. Прадеды наши, при выборе места для жительства, непременно отбивали десятины две хорошей земли под фруктовый сад с липовыми аллеями. Лет через пятьдесят, много семьдесят, эти усадьбы, «дворянские гнезда», понемногу исчезали с лица земли, дома сгнивали или продавались на своз, каменные службы превращались в груды развалин, яблони вымирали и шли на дрова, заборы и плетни истреблялись. Одни липы по-прежнему росли себе на славу и теперь, окруженные распаханными полями, гласят нашему ветреному племени о «прежде почивших отцах и братиях». Прекрасное дерево — такая старая липа... Ее щадит даже безжалостный топор русского мужика. Лист на ней мелкий, могучие сучья широко раскинулись во все стороны, вечная тень под ними.

Однажды, скитаясь с Ермолаем по полям за куропатками, завидел я в стороне заброшенный сад и отправился туда. Только что я вошел в опушку, вальдшнеп со стуком поднялся из куста, — я выстрелил, и в то же мгновенье, в нескольких шагах от меня, раздался крик: испуганное лицо молодой девушки выглянуло из-

за деревьев и тотчас скрылось. Ермолай подбежал ко мне. «Что вы здесь стреляете: здесь живет помещик».

Не успел я ему ответить, не успела собака моя с благородной важностью донести до меня убитую птицу, как послышались проворные шаги, и человек высокого росту, с усами, вышел из чащи и с недовольным видом остановился передо мной. Я извинился, как мог, назвал себя и предложил ему птицу, застреленную в его владениях.

— Извольте, — сказал он мне с улыбкой, — я приму вашу дичь, но только с условием: вы у нас останетесь обедать.

Признаться, я не очень обрадовался его предложению, но отказаться было невозможно.

— Я здешний помещик и ваш сосед, Радилов, может, слыхали, — продолжал мой новый знакомый. — Сегодня воскресенье, и обед у меня, должно быть, будет порядочный, а то бы я вас не пригласил.

Я отвечал, что отвечают в таких случаях, и отправился вслед за ним. Недавно расчищенная дорожка скоро вывела нас из липовой рощи; мы вошли в огород. Между старыми яблонями и разросшимися кустами крыжовника пестрели круглые бледно-зеленые кочаны капусты; хмель винтами обвивал высокие тычинки; тесно торчали на грядах бурые прутья, перепутанные засохшим горохом; большие плоские тыквы словно валялись на земле; огурцы желтели из-под запыленных угловатых листьев; вдоль плетня качалась высокая крапива; в двух или трех местах кучами росли: татарская жимолость, бузина, шиповник — остатки прежних «клумб». Возле небольшой са́жалки, наполненной красноватой и слизистой водой, виднелся колодезь, окруженный лужицами. Утки хлопотливо плескались и ковыляли в этих лужицах; собака, дрожа всем телом и жмурясь, грызла кость на поляне; пегая корова тут же лениво щипала траву, изредка закидывая хвост на худую спину. Дорожка повернула в сторону; из-за толстых ракит и берез глянул на нас старенький, серый домик с тесовой крышей и кривым крылечком. Радилов остановился.

— Впрочем, — сказал он, добродушно и прямо посмотрев мне в лицо, — я теперь раздумал; может быть, вам вовсе не хочется заходить ко мне; в таком случае...

Я не дал ему договорить и уверил его, что мне, напротив, очень приятно будет у него отобедать.

— Ну, как знаете.

Мы вошли в дом. Молодой малый, в длинном кафтане из синего толстого сукна, встретил нас на крыльце. Радилов тотчас приказал ему поднести водки Ермолаю; мой охотник почтительно поклонился спине великодушного дателя. Из передней, заклеенной разными пестрыми картинами, завешенной клетками, вошли мы в небольшую комнатку — кабинет Радилова. Я снял свои охотничьи доспехи, поставил ружье в угол; малый в длиннополом сюртуке хлопотливо обчистил меня.

— Ну, теперь пойдемте в гостиную, — ласково проговорил Радилов, — я вас познакомлю с моей матушкой.

Я пошел за ним. В гостиной, на середнем диване, сидела старушка небольшого росту, в коричневом платье и белом чепце, с добреньким и худеньким лицом, робким и печальным взглядом.

— Вот, матушка, рекомендую: сосед наш***.

Старушка привстала и поклонилась мне, не выпуская из сухощавых рук толстого гарусного ридикюля в виде мешка.

— Давно вы пожаловали в нашу сторону? — спросила она слабым и тихим голосом, помаргивая глазами.

— Нет-с, недавно.

— Долго намерены здесь остаться?

— Думаю, до зимы.

Старушка замолчала.

— А вот это, — подхватил Радилов, указывая мне на человека высокого и худого, которого я при входе в гостиную не заметил, — это Федор Михеич... Ну-ка, Федя, покажи свое искусство гостю. Что ты забился в угол-то?

Федор Михеич тотчас поднялся со стула, достал с окна дрянненькую скрыпку, взял смычок — не за конец, как следует, а за середину, прислонил скрыпку к груди, закрыл глаза и пустился в пляс, напевая песенку и пиликая по струнам. Ему на вид было лет семьдесят; длинный нанковый сюртук печально болтался на сухих и костлявых его членах. Он плясал; то с удальством потряхивал, то, словно замирая, поводил маленькой лысой головкой, вытягивал жилистую шею, топотал ногами на месте, иногда, с заметным трудом, сгибал колени. Его беззубый рот издавал дряхлый голос. Радилов, должно быть, догадался по выражению моего лица, что мне «искусство» Феди не доставляло большого удовольствия.

— Ну, хорошо, старина, полно,— проговорил он,— можешь пойти наградить себя.

Федор Михеич тотчас положил скрыпку на окно, поклонился сперва мне, как гостю, потом старушке, потом Радилову и вышел вон.

— Тоже был помещик, — продолжал мой новый приятель, — и богатый, да разорился — и вот проживает теперь у меня... А в свое время считался первым по губернии хватом; двух жен от мужей увез, песельников держал, сам певал и плясал мастерски... Но не прикажете ли водки? Ведь уж обед на столе.

Молодая девушка, та самая, которую я мельком видел в саду, вошла в комнату.

— А вот и Оля! — заметил Радилов, слегка отвернув голову.— Прошу любить и жаловать... Ну, пойдемте обедать.

Мы отправились в столовую, сели. Пока мы шли из гостиной и садились, Федор Михеич, у которого от «награды» глазки засияли и нос слегка покраснел, пел: «Гром победы раздавайся!» Ему поставили особый прибор в углу на маленьком столике без салфетки. Бедный старик не мог похвалиться опрятностью, и потому его постоянно держали в некотором отдалении от общества. Он пере-

крестился, вздохнул и начал есть, как акула. Обед был действительно недурен и, в качестве воскресного, не обошелся без трепещущего желе и испанских ветров (пирожного). За столом Радилов, который лет десять служил в армейском пехотном полку и в Турцию ходил, пустился в рассказы; я слушал его со вниманием и украдкой наблюдал за Ольгой. Она не очень была хороша собой; но решительное и спокойное выражение ее лица, ее широкий белый лоб, густые волосы и, в особенности, карие глаза, небольшие, но умные, ясные и живые, поразили бы и всякого другого на моем месте. Она как будто следила за каждым словом Радилова; не участие, — страстное внимание изображалось на ее лице. Радилов, по летам, мог бы быть ее отцом; он говорил ей «ты», но я тотчас догадался, что она не была его дочерью. В течение разговора он упомянул о своей покойной жене — «ее сестра», — прибавил он, указав на Ольгу. Она быстро покраснела и опустила глаза. Радилов помолчал и переменил разговор. Старушка во весь обед не произнесла слова, сама почти ничего не ела и меня не потчевала. Ее черты дышали каким-то боязливым и безнадежным ожиданьем, той старческой грустью, от которой так мучительно сжимается сердце зрителя. К концу обеда Федор Михеич начал было «славить» хозяев и гостя, но Радилов взглянул на меня и попросил его замолчать; старик провел рукой по губам, заморгал глазами, поклонился и присел опять, но уже на самый край стула. После обеда мы с Радиловым отправились в его кабинет.

В людях, которых сильно и постоянно занимает одна мысль или одна страсть, заметно что-то общее, какое-то внешнее сходство в обращенье, как бы ни были, впрочем, различны их качества, способности, положение в свете и воспитание. Чем более я наблюдал за Радиловым, тем более мне казалось, что он принадлежал к числу таких людей. Он говорил о хозяйстве, об урожае, покосе, о войне, уездных сплетнях и близких выборах, говорил без принужденья, даже с участьем, но вдруг вздыхал и опускался в кресла, как человек, утомленный тяжкой работой, проводил рукой по лицу. Вся душа его, добрая и теплая, казалось, была проникнута насквозь, пресыщена одним чувством. Меня поражало уже то, что я не мог в нем открыть страсти ни к еде, ни к вину, ни к охоте, ни к курским соловьям, ни к голубям, страдающим падучей болезнью, ни к русской литературе, ни к иноходцам, ни к венгеркам, ни к карточной и биллиардной игре, ни к танцевальным вечерам, ни к поездкам в губернские и столичные города, ни к бумажным фабрикам и свеклосахарным заводам, ни к раскрашенным беседкам, ни к чаю, ни к доведенным до разврата пристяжным, ни даже к толстым кучерам, подпоясанным под самыми мышками, к тем великолепным кучерам, у которых, бог знает почему, от каждого движения шеи глаза косятся и лезут вон... «Что ж это за помещик наконец!» — думал я. А между тем он вовсе не прикидывался человеком мрачным и своею судьбою недовольным; напротив, от него так и веяло неразборчивым благоволеньем, радушьем и почти обидной готовностью сближенья с каждым встречным и поперечным. Правда, вы в то же самое время чувствовали, что подружиться,

действительно сблизиться он ни с кем не мог, и не мог не оттого, что вообще не нуждался в других людях, а оттого, что вся жизнь его ушла на время внутрь. Вглядываясь в Радилова, я никак не мог себе представить его счастливым ни теперь, ни когда-нибудь. Красавцем он тоже не был; но в его взоре, в улыбке, во всем его существе таилось что-то чрезвычайно привлекательное, — именно таилось. Так, кажется, и хотелось бы узнать его получше, полюбить его. Конечно, в нем иногда высказывался помещик и степняк; но человек он все-таки был славный.

Мы начали было толковать с ним о новом уездном предводителе, как вдруг у двери раздался голос Ольги: «Чай готов». Мы пошли в гостиную. Федор Михеич по-прежнему сидел в своем уголку, между окошком и дверью, скромно подобрав ноги. Мать Радилова вязала чулок. Сквозь открытые окна из саду веяло осенней свежестью и запахом яблоков. Ольга хлопотливо разливала чай. Я с бóльшим вниманием смотрел на нее теперь, чем за обедом. Она говорила очень мало, как вообще все уездные девицы, но в ней, по крайней мере, я не замечал желанья сказать что-нибудь хорошее, вместе с мучительным чувством пустоты и бессилия; она не вздыхала, словно от избытка неизъяснимых ощущений, не закатывала глаза под лоб, не улыбалась мечтательно и неопределенно. Она глядела спокойно и равнодушно, как человек, который отдыхает от большого счастья или от большой тревоги. Ее походка, ее движенья были решительны и свободны. Она мне очень нравилась.

Мы с Радиловым опять разговорились. Я уже не помню, каким путем мы дошли до известного замечанья: как часто самые ничтожные вещи производят большее впечатление на людей, чем самые важные.

— Да, — промолвил Радилов, — это я испытал на себе. Я, вы знаете, был женат. Не долго... три года; моя жена умерла от родов. Я думал, что не переживу ее; я был огорчен страшно, убит, но плакать не мог — ходил словно шальной. Ее, как следует, одели, положили на стол — вот в этой комнате. Пришел священник; дьячки пришли, стали петь, молиться, курить ладаном; я клал земные поклоны и хоть бы слезинку выронил. Сердце у меня словно окаменело и голова тоже, — и весь я отяжелел. Так прошел первый день. Верите ли? Ночью я заснул даже. На другое утро вошел я к жене, — дело было летом, солнце освещало ее с ног до головы, да так ярко. Вдруг я увидел... (Здесь Радилов невольно вздрогнул.) Что вы думаете? Глаз у нее не совсем был закрыт, и по этому глазу ходила муха... Я повалился, как сноп, и, как опомнился, стал плакать, плакать — унять себя не мог...

Радилов замолчал. Я посмотрел на него, потом на Ольгу... Ввек мне не забыть выражения ее лица. Старушка положила чулок на колени, достала из ридикюля платок и украдкой утерла слезу. Федор Михеич вдруг поднялся, схватил свою скрыпку и хриплым и диким голосом затянул песенку. Он желал, вероятно, развеселить нас; но мы все вздрогнули от его первого звука, и Радилов попросил его успокоиться.

— Впрочем, — продолжал он, — что было, то было; прошлого не воротишь, да и наконец... все к лучшему в здешнем мире, как сказал, кажется, Вóлтер, — прибавил он поспешно.

— Да, — возразил я, — конечно. Притом всякое несчастье можно перенести, и нет такого скверного положения, из которого нельзя было бы выйти.

— Вы думаете? — заметил Радилов. — Что ж, может быть, вы правы. Я, помнится, в Турции лежал в госпитале, полумертвый: у меня была гнилая горячка. Ну, помещением мы похвалиться не могли, — разумеется, дело военное, — и то еще слава богу! Вдруг к нам еще приводят больных, — куда их положить? Лекарь туда, сюда, — нет места. Вот подошел он ко мне, спрашивает фельдшера: «Жив?» Тот отвечает: «Утром был жив». Лекарь нагнулся, слышит: дышу. Не вытерпел приятель. «Ведь экая натура-то дура, говорит, ведь вот умрет человек, ведь непременно умрет, а все скрипит, тянет, только место занимает да другим мешает». — «Ну, — подумал я про себя, — плохо тебе, Михайло Михайлыч...» А вот выздоровел и жив до сих пор, как изволите видеть. Стало быть, вы правы.

— Во всяком случае я прав, — отвечал я. — Если б вы даже и умерли, вы все-таки вышли бы из вашего скверного положения.

— Разумеется, разумеется, — прибавил он, внезапно и сильно ударив рукою по столу... — Стоит только решиться... Что толку в скверном положении?.. К чему медлить, тянуть...

Ольга быстро встала и вышла в сад.

— Ну-ка, Федя, плясовую! — воскликнул Радилов.

Федя вскочил, пошел по комнате той щеголеватой, особенной поступью, какою выступает известная «коза» около ручного медведя, и запел: «Как у наших у ворот...»

У подъезда раздался стук беговых дрожек, и через несколько мгновений вошел в комнату старик высокого росту, плечистый и плотный, однодворец Овсяников... Но Овсяников такое замечательное и оригинальное лицо, что мы, с позволения читателя, поговорим о нем в другом отрывке. А теперь я от себя прибавлю только то, что на другой же день мы с Ермолаем чем свет отправились на охоту, а с охоты домой, что через неделю я опять зашел к Радилову, но не застал ни его, ни Ольги дома, а через две недели узнал, что он внезапно исчез, бросил мать, уехал куда-то с своей золовкой. Вся губерния взволновалась и заговорила об этом происшествии, и я только тогда окончательно понял выражение Ольгина лица во время рассказа Радилова. Не одним состраданием дышало оно тогда: оно пылало также ревностью.

Перед моим отъездом из деревни я посетил старушку Радилову. Я нашел ее в гостиной; она играла с Федором Михеичем в дурачки.

— Имеете вы известие от вашего сына? — спросил я ее наконец.

Старушка заплакала. Я уже более не расспрашивал ее о Радилове.

ОДНОДВОРЕЦ ОВСЯНИКОВ

Представьте себе, любезные читатели, человека полного, высокого, лет семидесяти, с лицом, напоминающим несколько лицо Крылова, с ясным и умным взором под нависшей бровью, с важной осанкой, мерной речью, медлительной походкой: вот вам Овсяников. Носил он просторный синий сюртук с длинными рукавами, застегнутый доверху, шелковый лиловых платок на шее, ярко вычищенные сапоги с кистями и вообще с виду походил на зажиточного купца. Руки у него были прекрасные, мягкие и белые, он часто в течение разговора брался за пуговицы своего сюртука. Овсяников своею важностью и неподвижностью, смышленостью и ленью, своим прямодушием и упорством напоминал мне русских бояр допетровских времен... Ферязь бы к нему пристала. Это был один из последних людей старого века. Все соседи его чрезвычайно уважали и почитали за честь знаться с ним. Его братья, однодворцы, только что не молились на него, шапки перед ним издали ломали, гордились им. Говоря вообще, у нас до сих пор однодворца трудно отличить от мужика: хозяйство у него едва ли не хуже мужицкого, телята не выходят из гречихи, лошади чуть живы, упряжь веревочная. Овсяников был исключением из общего правила, хоть и не слыл за богача. Жил он один с своей женой в уютном, опрятном домике, прислугу держал небольшую, одевал людей своих по-русски и называл работниками. Они же у него и землю пахали. Он и себя не выдавал за дворянина, не прикидывался помещиком, никогда, как говорится, «не забывался», не по первому приглашению садился и при входе нового гостя непременно поднимался с места, но с таким достоинством, с такой величавой приветливостью, что гость невольно ему кланялся пониже. Овсяников придерживался старинных обычаев не из суеверия (душа в нем была довольно свободная), а по привычке. Он, например, не любил рессорных экипажей, потому что не находил их покойными, и разъезжал либо в беговых дрожках, либо в небольшой красивой тележке с кожаной подушкой, и сам правил своим добрым гнедым рысаком. (Он держал одних гнедых лошадей.) Кучер, молодой краснощекий парень, остриженный в скобку, в синеватом армяке и низкой бараньей шапке, подпоясанный ремнем, почтительно сидел с ним рядом. Овсяников всегда спал после обеда, ходил в баню по субботам, читал одни духовные книги (причем, с важностью надевал на нос круглые серебряные очки), вставал и ложился рано. Бороду, однако же, он брил и волосы носил по-немецки. Гостей он принимал весьма ласково и радушно, но не кланялся им в пояс, не суетился, не потчевал их всяким сушеньем и соленьем. «Жена! — говорил он медленно, не вставая с места и слегка повернув к ней голову. — Принеси господам чего-нибудь полакомиться». Он почитал за грех продавать хлеб — божий дар, и в 40-м году, во время всеобщего голода и страшной дороговизны, роздал окрестным помещикам и мужикам весь свой запас; они ему на следующий год с благодарностью взнесли свой долг натурой. К Овсяникову часто прибегали соседи с просьбой рассудить, помирить их и почти всегда

покорялись его приговору, слушались его совета. Многие, по его милости, окончательно размежевались... Но после двух или трех сшибок с помещицами он объявил, что отказывается от всякого посредничества между особами женского пола. Терпеть он не мог поспешности, тревожной торопливости, бабьей болтовни и «суеты». Раз как-то у него дом загорелся. Работник впопыхах вбежал к нему с криком: «Пожар! пожар!» — «Ну, чего же ты кричишь? — спокойно сказал Овсяников. — Подай мне шапку и костыль...» Он сам любил выезжать лошадей. Однажды рьяный битюк[1] помчал его под гору к оврагу. «Ну, полно, полно, жеребенок малолетний, — убьешься», — добродушно замечал ему Овсяников и через мгновение полетел в овраг вместе с беговыми дрожками, мальчиком, сидевшим сзади, и лошадью. К счастью, на дне оврага грудами лежал песок. Никто не ушибся, один битюк вывихнул себе ногу. «Ну вот, видишь, — продолжал спокойным голосом Овсяников, поднимаясь с земли, — я тебе говорил». И жену он сыскал по себе. Татьяна Ильинична Овсяникова была женщина высокого росту, важная и молчаливая, вечно повязанная коричневым шелковым платком. От нее веяло холодом, хотя не только никто не жаловался на ее строгость, но, напротив, многие бедняки называли ее матушкой и благодетельницей. Правильные черты лица, большие темные глаза, тонкие губы и теперь еще свидетельствовали о некогда знаменитой ее красоте. Детей у Овсяникова не было.

Я с ним познакомился, как уже известно читателю, у Радилова и дня через два поехал к нему. Я застал его дома. Он сидел в больших кожаных креслах и читал четьи-минеи. Серая кошка мурлыкала у него на плече. Он меня принял, по своему обыкновенью, ласково и величаво. Мы пустились в разговор.

— А скажите-ка, Лука Петрович, правду, — сказал я между прочим, — ведь прежде, в ваше-то время, лучше было?

— Иное точно лучше было, скажу вам, — возразил Овсяников,— спокойнее мы жили; довольства больше было, точно... А все-таки теперь лучше; а вашим деткам еще лучше будет, бог даст.

— А я так ожидал, Лука Петрович, что вы мне старое время хвалить станете.

— Нет, старого времени мне особенно хвалить не из чего. Вот хоть бы, примером сказать, вы помещик теперь, такой же помещик, как ваш покойный дедушка, а уж власти вам такой не будет! Да и вы сами не такой человек. Нас и теперь другие господа притесняют; но без этого обойтись, видно, нельзя. Перемелется — авось мука будет. Нет, уж я теперь не увижу, чего в молодости насмотрелся.

— А чего бы, например?

— А хоть бы, например, опять-таки скажу про вашего дедушку. Властный был человек! Обижал нашего брата. Ведь вот вы, может, знаете, — да как вам своей земли не знать, — клин-то, что идет от Чаплыгина к Малинину?.. Он у вас под овсом теперь...

[1] Битюками, или с битюка, называются особенной породы лошади, которые развелись в Воронежской губернии около известного «Хренового» (бывшего конного завода гр. Орловой).

Ну, ведь он наш, — весь как есть наш. Ваш дедушка у нас его отнял; выехал верхом, показал рукой, говорит: «Мое владенье», — и завладел. Отец-то мой, покойник (царство ему небесное!), человек был справедливый, горячий был тоже человек, не вытерпел, — да и кому охота свое доброе терять? — и в суд просьбу подал. Да один подал, другие-то не пошли — побоялись. Вот вашему дедушке и донесли, что Петр Овсяников, мол, на вас жалуется: землю, вишь, отнять изволили... Дедушка ваш к нам тотчас и прислал своего ловчего Бауша с командой... Вот и взяли моего отца и в вашу вотчину повели. Я тогда был мальчишка маленький, босиком за ними побежал. Что ж?.. Привели его к вашему дому да под окнами и высекли. А ваш-то дедушка стоит на балконе да посматривает; а бабушка под окном сидит и тоже глядит. Отец мой кричит: «Матушка, Марья Васильевна, заступитесь, пощадите хоть вы!» А она только знай приподнимается да поглядывает. Вот и взяли с отца слово отступиться от земли и благодарить еще велели, что живого отпустили. Так она и осталась за вами. Подите-ка, спросите у своих мужиков: как, мол, эта земля прозывается? Дубовщиной она прозывается, потому что дубьем отнята. Так вот от этого и нельзя нам, маленьким людям, очень-то жалеть о старых порядках.

Я не знал, что отвечать Овсяникову, и не смел взглянуть ему в лицо.

— А то другой сосед у нас в те поры завелся, Комов, Степан Никтополионыч. Замучил было отца совсем: не мытьем, так катаньем. Пьяный был человек и любил угощать, и как подопьет да скажет по-французски «се бон»[1], да облизнется — хоть святых вон неси! По всем соседям шлет просить пожаловать. Тройки так у него наготове и стояли; а не поедешь — тотчас сам нагрянет... И такой странный был человек! В «тверёзом» виде не лгал; а как выпьет — и начнет рассказывать, что у него в Питере три дома на Фонтанке: один красный с одной трубой, другой — желтый с двумя трубами, а третий — синий без труб,— и три сына (а он и женат-то не бывал): один в инфантерии, другой в кавалерии, третий сам по себе... И говорит, что в каждом доме живет у него по сыну, что к старшему ездят адмиралы, ко второму — генералы, а к младшему — всё англичане! Вот и поднимется и говорит: «За здравие моего старшего сына, он у меня самый почтительный!» — и заплачет. И беда, коли кто отказываться станет. «Застрелю! — говорит, — и хоронить не позволю!..» А то вскочит и закричит: «Пляши, народ божий, на свою потеху и мое утешение!» Ну, ты и пляши, хоть умирай, а пляши. Девок своих крепостных вовсе замучил. Бывало, всю ночь как есть, до утра хором поют, и какая выше голосом забирает, той и награда. А станут уставать — голову на руки положит и загорюет: «Ох, сирота я сиротливая! Покидают меня, голубчика!» Конюха тотчас девок и приободрят. Отец-то мой ему и полюбись: что прикажешь делать? Ведь чуть в гроб отца моего не вогнал, и точно вогнал бы, да сам, спасибо, умер: с голубят-

[1] «это хорошо» (от *фр.* c'est bon).

ни в пьяном виде свалился... Так вот какие у нас соседушки бывали!

— Как времена-то изменились! — заметил я.

— Да, да, — подтвердил Овсяников. — Ну, и то сказать: в старые-то годы дворяне живали пышнее. Уж нечего и говорить про вельмож: я в Москве на них насмотрелся. Говорят, они и там перевелись теперь.

— Вы были в Москве?

— Был, давно, очень давно. Мне вот теперь семьдесят третий год пошел, а в Москву я ездил на шестнадцатом году.

Овсяников вздохнул.

— Кого ж вы там видали?

— А многих вельмож видел, и всяк их видел; жили открыто на славу и удивление. Только до покойного графа Алексея Григорьевича Орлова-Чесменского не доходил ни один. Алексея-то Григорьевича я видал часто; дядя мой у него дворецким служил. Изволил граф жить у Калужских ворот, на Шаболовке. Вот был вельможа! Такой осанки, такого привета милостивого вообразить невозможно и рассказать нельзя. Рост один чего стоил, сила, взгляд! Пока не знаешь его, не войдешь к нему — боишься точно, робеешь; а войдешь — словно солнышко тебя пригреет, и весь повеселеешь. Каждого человека до своей особы допускал и до всего охотник был. На бегу сам правил и со всяким гонялся; и никогда не обгонит сразу, не обидит, не оборвет, а разве под самый конец переедет; и такой ласковый — противника утешит, коня его похвалит. Голубей-турманов держал первейшего сорта. Выйдет, бывало, на двор, сядет в кресла и прикажет голубков поднять; а кругом, на крышах, люди стоят с ружьями против ястребов. К ногам графа большой серебряный таз поставят с водой; он и смотрит в воду на голубков. Убогие, нищие сотнями на его хлебе живали... и сколько денег он передавал! А рассердится — словно гром прогремит. Страху много, а плакаться не на что: смотришь — уж и улыбается. Пир задаст — Москву споит!.. И ведь умница был какой! Ведь турку-то он побил. Бороться тоже любил; силачей к нему из Тулы возили, из Харькова, из Тамбова, отовсюду. Кого поборет — наградит; а коли кто его поборет — задарит вовсе и в губы поцелует... А то, в бытность мою в Москве, затеял садку такую, какой на Руси не бывало: всех как есть охотников со всего царства к себе в гости пригласил и день назначил, и три месяца сроку дал. Вот и собрались. Навезли собак, егерей — ну, войско наехало, как есть войско! Сперва попировали как следует, а там и отправились за заставу. Народу сбежалось тьма-тьмущая!.. И что вы думаете?.. Ведь вашего дедушки собака всех обскакала.

— Не Миловидка ли? — спросил я.

— Миловидка, Миловидка... Вот граф его и начал упрашивать: «Продай мне, дескать, твою собаку: возьми что хочешь». — «Нет, граф, говорит, я не купец: тряпицы ненужной не продам, а из чести хоть жену готов уступить, только не Миловидку... Скорее себя самого в полон отдам». И Алексей Григорьевич его похвалил: «Люблю», — говорит. Дедушка-то ваш ее назад в карете

повез; а как умерла Миловидка, с музыкой в саду ее похоронил — псицу похоронил и камень с надписью над псицей поставил.

— Ведь вот Алексей Григорьевич не обижал же никого, — заметил я.

— Да оно всегда так бывает: кто сам мелко плавает, тот и задирает.

— А что за человек был этот Бауш? — спросил я после некоторого молчания.

— Как же это вы про Миловидку слыхали, а про Бауша нет?.. Это был главный ловчий и доезжачий вашего дедушки. Дедушка-то ваш его любил не меньше Миловидки. Отчаянный был человек, и что бы ваш дед ни приказал — мигом исполнит, хоть на нож полезет... И как порскал — так стон в лесу, бывало, и стоит. А то вдруг заупрямится, слезет с коня и ляжет... И как только перестали собаки слышать его голос — кончено! Горячий след бросят, не погонят ни за какие благи. И-их, ваш дедушка рассердится! «Жив быть не хочу, коли не повешу бездельника! Наизнанку антихриста выворочу! Пятки душегубцу сквозь горло протащу!» А кончится тем, что пошлет узнать, чего ему надобно, отчего не порскает? И Бауш в таких случаях обыкновенно потребует вина, выпьет, поднимется и загогочет опять на славу.

— Вы, кажется, также любите охоту, Лука Петрович?

— Любил бы... точно, — не теперь: теперь моя пора прошла — а в молодых годах... да знаете, неловко, по причине звания. За дворянами нашему брату не приходится тянуться. Точно: и из нашего сословия иной, пьющий и неспособный, бывало, присоседится к господам... да что за радость! Только себя срамит. Дадут ему лошадь дрянную, спотыкливую; то и дело шапку с него наземь бросают; арапником, будто по лошади, по нем задевают; а он все смейся да других смеши. Нет, скажу вам: чем мельче звание, тем строже себя держи, а то как раз себя замараешь.

— Да, — продолжал Овсяников со вздохом, — много воды утекло с тех пор, как я на свете живу: времена подошли другие. Особенно в дворянах вижу я перемену большую. Мелкопоместные — все либо на службе побывали, либо на месте не сидят; а что покрупней — тех и узнать нельзя. Насмотрелся я на них, на крупных-то, вот по случаю размежевания. И должен я вам сказать: сердце радуется, на них глядя: обходительны, вежливы. Только вот что мне удивительно: всем наукам они научились, говорят так складно, что душа умиляется, а дела-то настоящего не смыслят, даже собственной пользы не чувствуют: их же крепостной человек, приказчик, гнет их куда хочет, словно дугу. Ведь вот вы, может, знаете Королева, Александра Владимирыча, — чем не дворянин? Собой красавец, богат, в ниверситетах обучался, кажись, и за границей побывал, говорит плавно, скромно, всем нам руки жмет. Знаете?.. Ну, так слушайте. На прошлой неделе съехались мы в Березовку, по приглашению посредника, Никифора Ильича. И говорит нам посредник, Никифор Ильич: «Надо, господа, размежеваться; это срам, наш участок ото всех других отстал: приступимте к делу». Вот и приступили. Пошли толки, споры, как

водится; поверенный наш ломаться стал. Но первый забуянил Овчинников Порфирий... И из чего буянит человек?.. У самого вершка земли нету: по поручению брата распоряжается. Кричит: «Нет! меня вам не провести! нет, не на того наткнулись! Планы сюда! землемера мне подайте, христопродавца подайте сюда!» — «Да какое наконец ваше требование?» — «Вот дурака нашли! эка! Вы думаете: я вам так-таки сейчас мое требование и объявлю?.. Нет, вы планы сюда подайте, — вот что!» А сам рукой стучит по планам. Марфу Дмитревну обидел кровно. Та кричит: «Как вы смеете мою репутацию позорить?» — «Я, говорит, вашей репутации моей бурой кобыле не желаю». Насилу мадерой отпоили. Его успокоили, — другие забунтовали. Королев-то, Александр Владимирыч, сидит, мой голубчик, в углу, набалдашник на палке покусывает да только головой качает. Совестно мне стало, мочи нет, хоть вон бежать. Что, мол, об нас подумает человек? Глядь, поднялся мой Александр Владимирыч, показывает вид, что говорить желает. Посредник засуетился, говорит: «Господа, господа, Александр Владимирыч говорить желает». И нельзя не похвалить дворян: все тотчас замолчали. Вот и начал Александр Владимирыч, и говорит: что мы, дескать, кажется, забыли, для чего мы собрались; что хотя размежевание, бесспорно, выгодно для владельцев, но, в сущности, оно введено для чего? — для того, чтоб крестьянину было легче, чтоб ему работать сподручнее было, повинности справлять; а то теперь он сам своей земли не знает и нередко за пять верст пахать едет, — и взыскать с него нельзя. Потом сказал Александр Владимирыч, что помещику грешно не заботиться о благосостоянии крестьян, что крестьяне от бога поручены, что, наконец, если здраво рассудить, их выгоды и наши выгоды — все едино: им хорошо — нам хорошо, им худо — нам худо... и что, следовательно, грешно и нерассудительно не соглашаться из пустяков... И пошел, и пошел... Да ведь как говорил! за душу так и забирает... Дворяне-то все носы повесили; я сам, ей-ей, чуть не прослезился. Право слово, в старинных книгах таких речей не бывает... А чем кончилось? Сам четырех десятин мохового болота не уступил и продать не захотел. Говорит: «Я это болото своими людьми высушу и суконную фабрику на нем заведу, с усовершенствованиями. Я, говорит, уж это место выбрал: у меня на этот счет свои соображения...» И хоть бы это было справедливо, а то просто сосед Александра Владимирыча, Карасиков Антон, поскупился королёвскому приказчику сто рублев ассигнациями взнести. Так мы и разъехались, не сделавши дела. А Александр Владимирыч по сих пор себя правым почитает и все о суконной фабрике толкует, только к осушке болота не приступает.

— А как он в своем именье распоряжается?

— Всё новые порядки вводит. Мужики не хвалят, — да их слушать нечего. Хорошо поступает Александр Владимирыч.

— Как же это, Лука Петрович? Я думал, что вы придерживаетесь старины?

— Я — другое дело. Я ведь не дворянин и не помещик. Что мое за хозяйство?.. Да я иначе и не умею. Стараюсь поступать по

справедливости и по закону — и то слава богу! Молодые господа прежних порядков не любят: я их хвалю... Пора за ум взяться. Только вот что горе: молодые господа больно мудрят. С мужиком, как с куклой, поступают: повертят, повертят, поломают да и бросят. И приказчик, крепостной человек, или управитель, из немецких уроженцев, опять крестьянина в лапы заберет. И хотя бы один из молодых-то господ пример подал, показал: вот, мол, как надо распоряжаться!.. Чем же это кончится? Неужто ж я так и умру и новых порядков не увижу?.. Что за притча? Старое вымерло, а молодое не нарождается!

Я не знал, что отвечать Овсяникову. Он оглянулся, придвинулся ко мне поближе и продолжал вполголоса:

— А слыхали про Василья Николаича Любозвонова?

— Нет, не слыхал.

— Растолкуйте мне, пожалуйста, что за чудеса такие? Ума не приложу. Его же мужики рассказывали, да я их речей в толк не возьму. Человек он, вы знаете, молодой, недавно после матери наследство получил. Вот приезжает к себе в вотчину. Собрались мужички поглазеть на своего барина. Вышел к ним Василий Николаич. Смотрят мужики — что за диво! — Ходит барин в плисовых панталонах, словно кучер, а сапожки обул с оторочкой; рубаху красную надел и кафтан тоже кучерской; бороду отпустил, а на голове така шапонька мудреная, и лицо такое мудреное, — пьян, не пьян, а и не в своем уме. «Здорово, говорит, ребята! бог вам в помощь». Мужики ему в пояс,— только молча: заробели, знаете. И он словно сам робеет. Стал он им речь держать: «Я-де русский, говорит, и вы русские; я русское все люблю... русская, дескать, у меня душа и кровь тоже русская...» Да вдруг как скомандует: «А ну, детки, спойте-ка русскую, народственную песню!» У мужиков поджилки затряслись; вовсе одурели. Один было смельчак запел, да и присел тотчас к земле, за других спрятался... И вот чему удивляться надо: бывали у нас и такие помещики, отчаянные господа, гуляки записные, точно; одевались почитай что кучерами и сами плясали, на гитаре играли, пели и пили с дворовыми людишками, с крестьянами пировали; а ведь этот-то, Василий-то Николаич, словно красная девушка: всё книги читает али пишет, а не то вслух канты произносит, — ни с кем не разговаривает, дичится, знай себе по саду гуляет, словно скучает или грустит. Прежний-то приказчик на первых порах вовсе перетрусился: перед приездом Василья Николаича дворы крестьянские обегал, всем кланялся, — видно, чуяла кошка, чье мясо съела! И мужики надеялись, думали: «Шалишь, брат! Ужо тебя к ответу потянут, голубчика; вот ты ужо напляшешься, жила ты этакой!..» А вместо того вышло — как вам доложить? Сам господь не разберет, что такое вышло! Позвал его к себе Василий Николаич и говорит, а сам краснеет, и так, знаете, дышит скоро: «Будь справедлив у меня, не притесняй никого, слышишь?» Да с тех пор его к своей особе и не требовал! В собственной вотчине живет, словно чужой. Ну, приказчик и отдохнул; а мужики к Василью Николаичу подступиться не смеют: боятся. И ведь вот опять что удивления до-

стойно: и кланяется им барин, и смотрит приветливо, — а животы у них от страху так и подводит. Что за чудеса такие, батюшка, скажите?.. Или я глуп стал, состарелся, что ли, — не понимаю.

Я отвечал Овсяникову, что, вероятно, господин Любозвонов болен.

— Какое болен! Поперек себя толще, и лицо такое, бог с ним, окладистое, даром что молод... А впрочем, господь ведает! (И Овсяников глубоко вздохнул.)

— Ну, в сторону дворян,— начал я,— что вы мне об однодворцах скажете, Лука Петрович?

— Нет, уж вот от этого увольте, — поспешно проговорил он, — право... и сказал бы вам... да что! (Овсяников рукой махнул.) Станемте лучше чай кушать... Мужики, как есть мужики; а впрочем, правду сказать, как же и быть-то нам?

Он замолчал. Подали чай. Татьяна Ильинична встала с своего места и села поближе к нам. В течение вечера она несколько раз без шума выходила и так же тихо возвращалась. В комнате воцарилось молчание. Овсяников важно и медленно выпивал чашку за чашкой.

— Митя был сегодня у нас, — вполголоса заметила Татьяна Ильинична.

Овсяников нахмурился.

— Чего ему надобно?

— Приходил прощенья просить.

Овсяников покачал головою.

— Ну, подите вы, — продолжал он, обращаясь ко мне, — что прикажете делать с сродственниками? И отказаться от них невозможно... Вот и меня тоже бог наградил племянничком. Малый он с головой, бойкий малый, спору нет; учился хорошо, только проку мне от него не дождаться. На службе казенной состоял — бросил службу: вишь, ему ходу не было... Да разве он дворянин? И дворян-то не сейчас в генералы жалуют. Вот теперь и живет без дела... Да это бы еще куда ни шло, — а то в ябедники пустился! Крестьянам просьбы сочиняет, доклады пишет, сотских научает, землемеров на чистую воду выводит, по питейным домам таскается, с бессрочными, с мещанами городскими да с дворниками на постоялых дворах знается. Долго ли тут до беды? Уж и становые и исправники ему не раз грозились. Да он, благо, балагурить умеет: их же рассмешит, да им же потом и наварит кашу... Да полно, не сидит ли он у тебя в каморке? — прибавил он, обращаясь к жене. — Я ведь тебя знаю: ты ведь сердобольная такая, — покровительство ему оказываешь.

Татьяна Ильинична потупилась, улыбнулась и покраснела.

— Ну, так и есть, — продолжал Овсяников... — Ох ты, баловница! Ну, вели ему войти, — уж так и быть, ради дорогого гостя, прощу глупца... Ну, вели, вели...

Татьяна Ильинична подошла к двери и крикнула: «Митя!»

Митя, малый лет двадцати восьми, высокий, стройный и кудрявый, вошел в комнату и, увидев меня, остановился у порога. Одежда на нем была немецкая, но одни неестественной величины

буфы на плечах служили явным доказательством тому, что кроил ее не только русский — российский портной.

— Ну, подойди, подойди, — заговорил старик, — чего стыдишься? Благодари тетку: прощен... Вот, батюшка, рекомендую, — продолжал он, показывая на Митю, — и родной племянник, а не слажу никак. Пришли последние времена! (Мы друг другу поклонились.) Ну, говори, что ты там такое напутал? За что на тебя жалуются, сказывай.

Мите, видимо, не хотелось объясняться и оправдываться при мне.

— После, дядюшка, — пробормотал он.

— Нет, не после, а теперь, — продолжал старик... — Тебе, я знаю, при господине помещике совестно: тем лучше — казнись. Изволь, изволь-ка говорить... Мы послушаем.

— Мне нечего стыдиться, — с живостью начал Митя и тряхнул головой. — Извольте сами, дядюшка, рассудить. Приходят ко мне решетиловские однодворцы и говорят: «Заступись, брат». — «Что такое?» — «А вот что: магазины хлебные у нас в исправности, то есть лучше быть не может; вдруг приезжает к нам чиновник: приказано-де осмотреть магазины. Осмотрел и говорит: «В беспорядке ваши магазины, упущенья важные, начальству обязан донести». — «Да в чем упущенья?» — «А уж про это я знаю», — говорит... Мы было собрались и решили: чиновника как следует отблагодарить, — да старик Прохорыч помешал; говорит: этак их только разлакомишь. Что, в самом деле? или уж нет нам расправы никакой?.. Мы старика-то и послушались, а чиновник-то осерчал и жалобу подал, донесение написал. Вот теперь и требуют нас к ответу». — «Да точно ли у вас магазины в исправности?» — спрашиваю я. «Видит бог, в исправности, и законное количество хлеба имеется...» — «Ну, говорю, так вам робеть нечего», — и написал им бумагу... И еще неизвестно, в чью пользу дело решится... А что вам на меня по этому случаю нажаловались, — дело понятное: всякому своя рубашка к телу ближе.

— Всякому, да, видно, не тебе, — сказал старик вполголоса... — А что у тебя там за каверзы с шутоломовскими крестьянами?

— А вы почему знаете?

— Стало быть, знаю.

— И тут я прав, — опять-таки извольте рассудить. У шутоломовских крестьян сосед Беспандин четыре десятины земли запахал. Моя, говорит, земля. Шутоломовцы-то на оброке, помещик их за границу уехал — кому за них заступиться, сами посудите? А земля их бесспорная, крепостная, испокон веку. Вот и пришли ко мне, говорят: напиши просьбу. Я и написал. А Беспандин узнал и грозиться начал: «Я, говорит, этому Митьке задние лопатки из вертлюгов повыдергаю, а не то и совсем голову с плеч снесу...» Посмотрим, как-то он ее снесет: до сих пор цела.

— Ну, не хвастайся: несдобровать ей, твоей голове, — промолвил старик, — человек-то ты сумасшедший вовсе!

— А что ж, дядюшка, не вы ли сами мне говорить изволили...

— Знаю, знаю, что ты мне скажешь, — перебил его Овсяников,— точно: по справедливости должен человек жить и ближнему помогать обязан есть. Бывает, что и себя жалеть не должен... Да ты разве все так поступаешь? Не водят тебя в кабак, что ли? не поят тебя, не кланяются, что ли: «Дмитрий Алексеич, — дескать, — батюшка, помоги, а благодарность мы уж тебе предъявим», — да целковенький или синенькую из-под полы в руку? А? не бывает этого? сказывай, не бывает?

— В этом я точно виноват, — отвечал, потупившись, Митя, — но с бедных я не беру и душой не кривлю.

— Теперь не берешь, а самому придется плохо — будешь брать. Душой не кривишь... эх, ты! Знать, за святых все заступаешься!.. А Борьку Переходова забыл?.. Кто за него хлопотал? кто покровительство ему оказывал? а?

— Переходов по своей вине пострадал, точно...

— Казенные деньги потратил... Шутка!

— Да вы, дядюшка, сообразите: бедность, семейство...

— Бедность, бедность... Человек он пьющий, азартный — вот что!

— Пить он с горя начал,— заметил Митя, понизив голос.

— С горя! Ну, помог бы ему, коли сердце в тебе такое ретивое, а не сидел бы с пьяным человеком в кабаках сам. Что он красно говорит, — вишь, невидаль какая!

— Человек-то он добрейший...

— У тебя все добрые... — А что, — продолжал Овсяников, обращаясь к жене, — послали ему... ну, там, ты знаешь...

Татьяна Ильинична кивнула головой.

— Где ты эти дни пропадал? — заговорил опять старик.

— В городе был.

— Небось все на биллиарде играл да чайничал, на гитаре бренчал, по присутственным местам шмыгал, в задних комнатках просьбы сочинял, с купецкими сынками щеголял? Так ведь?.. Сказывай!

— Оно, пожалуй, что так, — с улыбкой сказал Митя... — Ах, да! чуть было не забыл: Фунтиков, Антон Парфеныч, к себе вас в воскресенье просит откушать.

— Не поеду я к этому брюхачу. Рыбу даст сотенную, а масло положит тухлое. Бог с ним совсем!

— А то я Федосью Михайловну встретил.

— Какую это Федосью?

— А Гарпенченки помещика, вот что Микулино сукциону купил: Федосья-то из Микулина. В Москве на оброке жила в швеях и оброк платила исправно, сто восемьдесят два рубля с полтиной в год... И дело свое знает: в Москве заказы получала хорошие. А теперь Гарпенченко ее выписал, да вот и держит так, должности ей не определяет. Она бы и откупиться готова и барину говорила, да он никакого решения не объявляет. Вы, дядюшка, с Гарпенченкой-то знакомы, — так не можете ли вы замолвить ему словечко?.. А Федосья выкуп за себя даст хороший.

— Не на твои ли деньги? ась? Ну, ну, хорошо, скажу ему, скажу. Только не знаю, — продолжал старик с недовольным лицом, — этот Гарпенченко, прости господи, жила: векселя скупает, деньги в рост отдает, именья с молотка приобретает... И кто его в нашу сторону занес? Ох, уж эти мне заезжие! Не скоро от него толку добьешься, — а впрочем, посмотрим.

— Похлопочите, дядюшка.

— Хорошо, похлопочу. Только ты смотри, смотри у меня! Ну, ну, не оправдывайся... Бог с тобой, бог с тобой!.. Только вперед смотри, а то, ей-богу, Митя, несдобровать тебе, — ей-богу, пропадешь. Не все же мне тебя на плечах выносить... я и сам человек не властный. Ну, ступай теперь с богом.

Митя вышел. Татьяна Ильинична отправилась за ним.

— Напой его чаем, баловница, — закричал ей вслед Овсяников... — Неглупый малый, — продолжал он, — и душа добрая, только я боюсь за него... А впрочем, извините, что так долго вас пустяками занимал.

Дверь из передней отворилась. Вошел низенький, седенький человек в бархатном сюртучке.

— А, Франц Иваныч! — вскрикнул Овсяников. — Здравствуйте! как вас бог милует?

Позвольте, любезный читатель, познакомить вас и с этим господином.

Франц Иваныч Лежёнь (Lejeune), мой сосед и орловский помещик, не совсем обыкновенным образом достиг почетного звания русского дворянина. Родился он в Орлеане, от французских родителей, и вместе с Наполеоном отправился на завоевание России, в качестве барабанщика. Сначала все шло как по маслу, и наш француз вошел в Москву с поднятой головой. Но на возвратном пути бедный m-r Lejeune, полузамерзший и без барабана, попался в руки смоленским мужичкам. Смоленские мужички заперли его на ночь в пустую сукновальню, а на другое утро привели к проруби, возле плотины, и начали просить барабанщика «de la grrrrande armée»[1] уважить их, то есть нырнуть под лед. M-r Lejeune не мог согласиться на их предложение и, в свою очередь, начал убеждать смоленских мужичков, на французском диалекте, отпустить его в Орлеан. «Там, messieurs, — говорил он, — мать у меня живет, une tendre mère»[2]. Но мужички, вероятно по незнанию географического положения города Орлеана, продолжали предлагать ему подводное путешествие вниз по течению извилистой речки Гнилотерки и уже стали поощрять его легкими толчками в шейные и спинные позвонки, как вдруг, к неописанной радости Лежёня, раздался звук колокольчика и на плотину взъехали огромные сани с пестрейшим ковром на преувеличенно-возвышенном задке, запряженные тройкой саврасых вяток. В санях сидел толстый и румяный помещик в волчьей шубе.

— Что вы там такое делаете? — спросил он мужиков.

---

[1] вввеликой армии (*фр.*).
[2] нежная мать (*фр.*).

— А французя топим, батюшка.

— А! — равнодушно возразил помещик и отвернулся.

— Monsieur! Monsieur! — закричал бедняк.

— А, а! — с укоризной заговорила волчья шуба. — С двунадесятью язык на Россию шел, Москву сжег, окаянный, крест с Ивана Великого стащил, а теперь — мусье, мусье! а теперь и хвост поджал! По делам вору и мука... Пошел, Филька-а!

Лошади тронулись.

— А, впрочем, стой! — прибавил помещик... — Эй ты, мусье, умеешь ты музыке?

— Sauvez-moi, sauvez-moi, mon bon monsieur![1] — твердил Лежёнь.

— Ведь вишь народец! и по-русски-то ни один из них не знает! Мюзик, мюзик, савэ мюзик ву? савэ? Ну, говори же! Компренэ? савэ мюзик ву? на фортепьяно жуэ савэ?

Лежёнь понял наконец, чего добивается помещик, и утвердительно закивал головой.

— Oui, monsieur, oui, oui, je suis musicien; je joue de tous les instruments possibles! Oui, monsieur... Sauvez-moi, monsieur![2]

— Ну, счастлив твой бог, — возразил помещик... — Ребята, отпустите его; вот вам двугривенный на водку.

— Спасибо, батюшка, спасибо. Извольте, возьмите его.

Лежёня посадили в сани. Он задыхался от радости, плакал, дрожал, кланялся, благодарил помещика, кучера, мужиков. На нем была одна зеленая фуфайка с розовыми лентами, а мороз трещал на славу. Помещик молча глянул на его посиневшие и окоченелые члены, завернул несчастного в свою шубу и привез его домой. Дворня сбежалась. Француза наскоро отогрели, накормили и одели. Помещик повел его к своим дочерям.

— Вот, дети, — сказал он им, — учитель вам сыскан. Вы всё приставали ко мне: выучи-де нас музыке и французскому диалекту; вот вам и француз, и на фортопьянах играет... Ну, мусье,— продолжал он, указывая на дрянные фортепьянишки, купленные им за пять лет у жида, который, впрочем, торговал одеколоном, — покажи нам свое искусство: жуэ!

Лежёнь с замирающим сердцем сел на стул: он отроду и не касался фортепьян.

— Жуэ же, жуэ же! — повторял помещик.

С отчаяньем ударил бедняк по клавишам, словно по барабану, заиграл как попало... «Я так и думал, — рассказывал он потом, — что мой спаситель схватит меня за ворот и выбросит вон из дому». Но, к крайнему изумлению невольного импровизатора, помещик, погодя немного, одобрительно потрепал его по плечу. «Хорошо, хорошо, — промолвил он, — вижу, что знаешь; поди теперь отдохни».

Недели через две от этого помещика Лежёнь переехал к друго-

---

[1] Спасите меня, спасите меня, добрый сударь! (*фр.*)

[2] Да, сударь, да, да, я музыкант; я играю на всевозможных инструментах. Да, сударь... Спасите меня, сударь! (*фр.*)

му, человеку богатому и образованному, полюбился ему за веселый и кроткий нрав, женился на его воспитаннице, поступил на службу, вышел в дворяне, выдал свою дочь за орловского помещика Лобызаньева, отставного драгуна и стихотворца, и переселился сам на жительство в Орел.

Вот этот-то самый Лежёнь, или, как теперь его называют, Франц Иваныч, и вошел при мне в комнату Овсяникова, с которым он состоял в дружественных отношениях...

Но, быть может, читателю уже наскучило сидеть со мною у однодворца Овсяникова, и потому я красноречиво умолкаю.

ЛЬГОВ

— Поедемте-ка в Льгов, — сказал мне однажды уже известный читателям Ермолай, — мы там уток настреляем вдоволь.

Хотя для настоящего охотника дикая утка не представляет ничего особенно пленительного, но за неименьем пока другой дичи (дело было в начале сентября: вальдшнепы еще не прилетали, а бегать по полям за куропатками мне надоело), я послушался моего охотника и отправился в Льгов.

Льгов — большое степное село с весьма древней каменной одноглавой церковью и двумя мельницами на болотистой речке Росоте. Эта речка верст за пять от Льгова превращается в широкий пруд, по краям и кое-где посередине заросший густым тростником, по-орловскому — майером. На этом-то пруде, в заводях или затишьях между тростниками, выводилось и держалось бесчисленное множество уток всех возможных пород: кряковых, полукряковых, шилохвостых, чирков, нырков и пр. Небольшие стаи то и дело перелетывали и носились над водою, а от выстрела поднимались такие тучи, что охотник невольно хватался одной рукой за шапку и протяжно говорил: «фу-у!» Мы пошли было с Ермолаем вдоль пруда, но, во-первых, у самого берега утка, птица осторожная, не держится; во-вторых, если даже какой-нибудь отсталый и неопытный чирок и подвергался нашим выстрелам и лишался жизни, то достать его из сплошного майера наши собаки не были в состоянии: несмотря на самое благородное самоотвержение, они не могли ни плавать, ни ступать по дну и только даром резали свои драгоценные носы об острые края тростников.

— Нет, — промолвил наконец Ермолай, — дело неладно: надо достать лодку... Пойдемте назад в Льгов.

Мы пошли. Не успели мы ступить несколько шагов, как нам навстречу из-за густой ракиты выбежала довольно дрянная легавая собака, и вслед за ней появился человек среднего роста, в синем сильно потертом сюртуке, желтоватом жилете, панталонах цвета гри-де-лень или блё-д-амур[1], наскоро засунутых в дырявые сапоги, с красным платком на шее и одноствольным ружьем за

---

[1] Розовато-серого (от *фр.* gris de lin)... голубовато-серого (от *фр.* bleu d'amour).

плечами. Пока наши собаки, с обычным, их породе свойственным, китайским церемониалом, снюхивались с новой для них личностью, которая, видимо, трусила, поджимала хвост, закидывала уши и быстро перевертывалась всем телом, не сгибая коленей и скаля зубы, незнакомец подошел к нам и чрезвычайно вежливо поклонился. Ему на вид было лет двадцать пять; его длинные русые волосы, сильно пропитанные квасом, торчали неподвижными косицами, — небольшие карие глазки приветливо моргали, — все лицо, повязанное черным платком, словно от зубной боли, сладостно улыбалось.

— Позвольте себя рекомендовать, — начал он мягким и вкрадчивым голосом, — я здешний охотник Владимир... Услышав о вашем прибытии и узнав, что вы изволили отправиться на берега нашего пруда, решился, если вам не будет противно, предложить вам свои услуги.

Охотник Владимир говорил, ни дать ни взять, как провинциальный молодой актер, занимающий роли первых любовников. Я согласился на его предложение и, не дойдя еще до Льгова, уже успел узнать его историю. Он был вольноотпущенный дворовый человек; в нежной юности обучался музыке, потом служил камердинером, знал грамоте, почитывал, сколько я мог заметить, коекакие книжонки и, живя теперь, как многие живут на Руси, без гроша наличного, без постоянного занятия, питался только что не манной небесной. Выражался он необыкновенно изящно и, видимо, щеголял своими манерами; волокита тоже, должно быть, был страшный и, по всем вероятиям, успевал: русские девушки любят красноречие. Между прочим, он мне дал заметить, что посещает иногда соседних помещиков, и в город ездит в гости, и в преферанс играет, и с столичными людьми знается. Улыбался он мастерски и чрезвычайно разнообразно: особенно шла к нему скромная, сдержанная улыбка, которая играла на его губах, когда он внимал чужим речам. Он вас выслушивал, он соглашался с вами совершенно, но все-таки не терял чувства собственного достоинства и как будто хотел вам дать знать, что и он может, при случае, изъявить свое мнение. Ермолай, как человек не слишком образованный и уже вовсе не «субтильный», начал было его «тыкать». Надо было видеть, с какой усмешкой Владимир говорил ему: «Вы-с...»

— Зачем вы повязаны платком? — спросил я его.— Зубы болят?

— Нет-с, — возразил он, — это более пагубное следствие неосторожности. Был у меня приятель, хороший человек-с, но вовсе не охотник, как это бывает-с. Вот-с, в один день говорит он мне: «Любезный друг мой, возьми меня на охоту: я любопытствую узнать — в чем состоит эта забава». Я, разумеется, не захотел отказать товарищу; достал ему, с своей стороны, ружье-с и взял его на охоту-с. Вот-с мы как следует поохотились; наконец вздумалось нам отдохнуть-с. Я сел под деревом; он же, напротив того, с своей стороны, начал выкидывать ружьем артикул-с, причем целился в меня. Я попросил его перестать, но, по неопытности своей, он не послушался-с. Выстрел грянул, и я лишился подбородка и указательного перста правой руки.

Мы дошли до Льгова. И Владимир и Ермолай, оба решили, что без лодки охотиться было невозможно.

— У Сучка есть дощаник[1], — заметил Владимир, — да я не знаю, куда он его спрятал. Надобно сбегать к нему.

— К кому? — спросил я.

— А здесь человек живет, прозвище ему Сучок.

Владимир отправился к Сучку с Ермолаем. Я сказал им, что буду ждать их у церкви. Рассматривая могилы на кладбище, наткнулся я на почерневшую четырехугольную урну с следующими надписями: на одной стороне французскими буквами: «Ci gît Théophile Henri, vicomte de Blangy»;[2] на другой: «Под сим камнем погребено тело французского подданного, графа Бланжия; родился 1737, умре 1799 года, всего жития его было 62 года»; на третьей: «Мир его праху», а на четвертой:

Под камнем сим лежит французский эмигрант;
Породу знатную имел он и талант,
Супругу и семью оплакав избиянну,
Покинул родину, тиранами попранну;
Российския страны достигнув берегов,
Обрел на старости гостеприимный кров;
Учил детей, родителей покоил...
Всевышний судия его здесь успокоил...

Приход Ермолая, Владимира и человека с странным прозвищем Сучок прервал мои размышления.

Босоногий, оборванный и взъерошенный Сучок казался с виду отставным дворовым, лет шестидесяти.

— Есть у тебя лодка? — спросил я.

— Лодка есть, — отвечал он глухим и разбитым голосом, — да больно плоха.

— А что?

— Расклеилась; да из дырьев клепки повывалились.

— Велика беда! — подхватил Ермолай.— Паклей заткнуть можно.

— Известно, можно, — подтвердил Сучок.

— Да ты кто?

— Господский рыболов.

— Как же это ты рыболов, а лодка у тебя в такой неисправности?

— Да в нашей реке и рыбы-то нету.

— Рыба не любит ржавчины болотной, — с важностью заметил мой охотник.

— Ну, — сказал я Ермолаю, — поди достань пакли и справь нам лодку, да поскорей.

Ермолай ушел.

— А ведь этак мы, пожалуй, и ко дну пойдем? — сказал я Владимиру.

— Бог милостив, — отвечал он. — Во всяком случае должно предполагать, что пруд не глубок.

---

[1] Плоская лодка, сколоченная из старых барочных досок.

[2] Здесь покоится Теофиль Анри, граф Бланжи (*фр.*).

— Да, он не глубок, — заметил Сучок, который говорил как-то странно, словно спросонья, — да на дне тина и трава, и весь он травой зарос. Впрочем, есть тоже и колдобины[1].

— Однако же, если трава так сильна, — заметил Владимир, — так и грести нельзя будет.

— Да кто ж на дощаниках гребет? Надо пихаться. Я с вами поеду; у меня там есть шестик, — а то и лопатой можно.

— Лопатой неловко, до дна в ином месте, пожалуй, не достанешь, — сказал Владимир.

— Оно правда, что неловко.

Я присел на могилу в ожидании Ермолая. Владимир отошел, для приличия, несколько в сторону и тоже сел. Сучок продолжал стоять на месте, повеся голову и сложив, по старой привычке, руки за спиной.

— Скажи, пожалуйста, — начал я, — давно ты здесь рыбаком?

— Седьмой год пошел, — отвечал он, встрепенувшись.

— А прежде чем ты занимался?

— Прежде ездил кучером.

— Кто ж тебя из кучеров разжаловал?

— А новая барыня.

— Какая барыня?

— А что нас-то купила. Вы не изволите знать: Алена Тимофевна, толстая такая... немолодая.

— С чего ж она вздумала тебя в рыболовы произвести?

— А бог ее знает. Приехала к нам из своей вотчины, из Тамбова, велела всю дворню собрать, да и вышла к нам. Мы сперва к ручке, и она ничего: не серчает... А потом и стала по порядку нас расспрашивать: чем занимался, в какой должности состоял? Дошла очередь до меня; вот и спрашивает: «Ты чем был?» Говорю: «Кучером». — «Кучером? Ну, какой ты кучер, посмотри на себя: какой ты кучер? Не след тебе быть кучером, а будь у меня рыболовом и бороду сбрей. На случай моего приезда к господскому столу рыбу поставляй, слышишь?..» С тех пор вот я в рыболовах и числюсь. «Да пруд у меня, смотри, содержать в порядке...» А как его содержать в порядке?

— Чьи же вы прежде были?

— А Сергея Сергеича Пехтерева. По наследствию ему достались. Да и он нами недолго владел, всего шесть годов. У него-то вот я кучером и ездил... да не в городе — там у него другие были, а в деревне.

— И ты смолоду все был кучером?

— Какое все кучером! В кучера-то я попал при Сергее Сергеиче, а прежде поваром был, — но не городским тоже поваром, а так, в деревне.

— У кого ж ты был поваром?

— А у прежнего барина, у Афанасия Нефедыча, у Сергея Сергеичина дяди. Льгов-то он купил, Афанасий Нефедыч купил, а Сергею Сергеичу именье-то по наследствию досталось.

---

[1] Глубокое место, яма в пруде или реке.

— У кого купил?
— А у Татьяны Васильевны.
— У какой Татьяны Васильевны?
— А вот, что в запрошлом году умерла, под Болховым... то бишь под Карачевым, в девках... И замужем не бывала. Не изволите знать? Мы к ней поступили от ее батюшки, от Василья Семеныча. Она таки долгонько нами владела... годиков двадцать.
— Что ж, ты и у ней был поваром?
— Сперва точно был поваром, а то и в кофишенки попал.
— Во что?
— В кофишенки.
— Это что за должность такая?
— А не знаю, батюшка. При буфете состоял и Антоном назывался, а не Кузьмой. Так барыня приказать изволила.
— Твое настоящее имя Кузьма?
— Кузьма.
— И ты все время был кофишенком?
— Нет, не все время: был и ахтером.
— Неужели?
— Как же, был... на кеятре играл. Барыня наша кеятр у себя завела.
— Какие же ты роли занимал?
— Чего изволите-с?
— Что ты делал на театре?
— А вы не знаете? Вот меня возьмут и нарядят; я так и хожу наряженный, или стою, или сижу, как там придется. Говорят: вот что говори, — я и говорю. Раз слепого представлял... Под каждую веку мне по горошине положили... Как же!
— А потом чем был?
— А потом опять в повара поступил.
— За что же тебя опять в повара разжаловали?
— А брат у меня сбежал.
— Ну, а у отца твоей первой барыни чем ты был?
— А в разных должностях состоял: сперва в казачках находился, фалетором был, садовником, а то и доезжачим.
— Доезжачим?.. И с собаками ездил?
— Ездил и с собаками, да убился: с лошадью упал и лошадь зашиб. Старый-то барин у нас был престрогий; велел меня выпороть да в ученье отдать в Москву, к сапожнику.
— Как в ученье? Да ты, чай, не ребенком в доезжачие попал?
— Да лет, этак, мне было двадцать с лишком.
— Какое ж тут ученье в двадцать лет?
— Стало быть, ничего, можно, коли барин приказал. Да он, благо, скоро умер, — меня в деревню и вернули.
— Когда же ты поварскому-то мастерству обучился?
Сучок приподнял свое худенькое и желтенькое лицо и усмехнулся.
— Да разве этому учатся?.. Стряпают же бабы!
— Ну, — промолвил я, — видал ты, Кузьма, виды на своем веку! Что ж ты теперь в рыболовах делаешь, коль у вас рыбы нету?

— А я, батюшка, не жалуюсь. И слава богу, что в рыболовы произвели. А то вот другого, такого же, как я, старика — Андрея Пупыря — в бумажную фабрику, в черпальную, барыня приказала поставить. Грешно, говорит, даром хлеб есть... А Пупырь-то еще на милость надеялся: у него двоюродный племянник в барской конторе сидит конторщиком: доложить обещался об нем барыне, напомнить. Вот те и напомнил!.. А Пупырь в моих глазах племяннику-то в ножки кланялся.

— Есть у тебя семейство? был женат?

— Нет, батюшка, не был. Татьяна Васильевна покойница — царство ей небесное! — никому не позволяла жениться. Сохрани бог! Бывало, говорит: «Ведь живу же я так, в девках, что за баловство! чего им надо?»

— Чем же ты живешь теперь? Жалованье получаешь?

— Какое, батюшка, жалованье!.. Харчи выдаются — и то слава тебе господи! много доволен. Продли бог века нашей госпоже!

Ермолай вернулся.

— Справлена лодка, — произнес он сурово. — Ступай за шестом — ты!..

Сучок побежал за шестом. Во все время моего разговора с бедным стариком охотник Владимир поглядывал на него с презрительной улыбкой.

— Глупый человек-с,— промолвил он, когда тот ушел,— совершенно необразованный человек, мужик-с, больше ничего-с. Дворовым человеком его назвать нельзя-с... и все хвастал-с... Где ж ему быть актером-с, сами извольте рассудить-с! Напрасно изволили беспокоиться, изволили с ним разговаривать-с!

Через четверть часа мы уже сидели в дощанике Сучка. (Собак мы оставили в избе под надзором кучера Иегудиила.) Нам не очень было ловко, но охотники народ неразборчивый. У тупого, заднего конца стоял Сучок и «пихался»; мы с Владимиром сидели на перекладине лодки; Ермолай поместился спереди, у самого носа. Несмотря на паклю, вода скоро появилась у нас под ногами. К счастью, погода была тихая, и пруд словно заснул.

Мы плыли довольно медленно. Старик с трудом выдергивал из вязкой тины свой длинный шест, весь перепутанный зелеными нитями подводных трав; сплошные, круглые листья болотных лилий тоже мешали ходу нашей лодки. Наконец мы добрались до тростников, и пошла потеха. Утки шумно поднимались, «срывались» с пруда, испуганные нашим неожиданным появлением в их владениях, выстрелы дружно раздавались вслед за ними, и весело было видеть, как эти кургузые птицы кувыркались на воздухе, тяжко шлепались об воду. Всех подстреленных уток мы, конечно, не достали: легко подраненные ныряли; иные, убитые наповал, падали в такой густой майер, что даже рысьи глазки Ермолая не могли открыть их; но все-таки к обеду лодка наша через край наполнилась дичью.

Владимир, к великому утешению Ермолая, стрелял вовсе не отлично и после каждого неудачного выстрела удивлялся, осматривал и продувал ружье, недоумевал и, наконец, излагал нам причину, почему он промахнулся. Ермолай стрелял, как всегда,

победоносно, я — довольно плохо, по обыкновению. Сучок посматривал на нас глазами человека, смолоду состоявшего на барской службе, изредка кричал: «Вон, вон еще утица!» — и то и дело почесывал спину — не руками, а приведенными в движение плечами. Погода стояла прекрасная: белые круглые облака высоко и тихо неслись над нами, ясно отражаясь в воде; тростник шушукал кругом; пруд местами, как сталь, сверкал на солнце. Мы собирались вернуться в село, как вдруг с нами случилось довольно неприятное происшествие.

Мы уже давно могли заметить, что вода к нам понемногу все набиралась в дощаник. Владимиру было поручено выбрасывать ее вон посредством ковша, похищенного, на всякий случай, моим предусмотрительным охотником у зазевавшейся бабы. Дело шло как следовало, пока Владимир не забывал своей обязанности. Но к концу охоты, словно на прощанье, утки стали подниматься такими стадами, что мы едва успевали заряжать ружья. В пылу перестрелки мы не обращали внимания на состояние нашего дощаника,— как вдруг, от сильного движения Ермолая (он старался достать убитую птицу и всем телом налег на край), наше ветхое судно наклонилось, зачерпнулось и торжественно пошло ко дну, к счастью, не на глубоком месте. Мы вскрикнули, но уже было поздно: через мгновенье мы стояли в воде по горло, окруженные всплывшими телами мертвых уток. Теперь я без хохота вспомнить не могу испуганных и бледных лиц моих товарищей (вероятно, и мое лицо не отличалось тогда румянцем); но в ту минуту, признаюсь, мне и в голову не приходило смеяться. Каждый из нас держал свое ружье над головой, и Сучок, должно быть, по привычке подражать господам, поднял шест свой кверху. Первый нарушил молчание Ермолай.

— Тьфу ты, пропасть!— пробормотал он, плюнув в воду,— какая оказия! А все ты, старый черт!— прибавил он с сердцем, обращаясь к Сучку.— Что это у тебя за лодка?

— Виноват,— пролепетал старик.

— Да и ты хорош,— продолжал мой охотник, повернув голову в направлении Владимира,— чего смотрел? чего не черпал? ты, ты, ты...

Но Владимиру было уже не до возражений: он дрожал, как лист, зуб на зуб не попадал, и совершенно бессмысленно улыбался. Куда девалось его красноречие, его чувство тонкого приличия и собственного достоинства!

Проклятый дощаник слабо колыхался под нашими ногами... В миг кораблекрушения вода нам показалась чрезвычайно холодной, но мы скоро обтерпелись. Когда первый страх прошел, я оглянулся; кругом, в десяти шагах от нас, росли тростники; вдали, над их верхушками, виднелся берег. «Плохо!» — подумал я.

— Как нам быть?— спросил я Ермолая.

— А вот посмотрим: не ночевать же здесь,— ответил он.— На, ты, держи ружье,— сказал он Владимиру.

Владимир беспрекословно повиновался.

— Пойду сыщу брод,— продолжал Ермолай с уверенностью,

как будто во всяком пруде непременно должен существовать брод,— взял у Сучка шест и отправился в направлении берега, осторожно выщупывая дно.

— Да ты умеешь ли плавать?— спросил я его.

— Нет, не умею,— раздался его голос из-за тростника.

— Ну, так утонет,— равнодушно заметил Сучок, который и прежде испугался не опасности, а нашего гнева, и теперь, совершенно успокоенный, только изредка отдувался и, казалось, не чувствовал никакой надобности переменить свое положение.

— И без всякой пользы пропадет-с,— жалобно прибавил Владимир.

Ермолай не возвращался более часу. Этот час нам показался вечностью. Сперва мы перекликивались с ним очень усердно; потом он стал реже отвечать на наши возгласы, наконец умолк совершенно. В селе зазвонили к вечерне. Меж собой мы не разговаривали, даже старались не глядеть друг на друга. Утки носились над нашими головами; иные собирались сесть подле нас, но вдруг поднимались кверху, как говорится, «колом», и с криком улетали. Мы начинали костенеть. Сучок хлопал глазами, словно спать располагался.

Наконец, к неописанной нашей радости, Ермолай вернулся.

— Ну, что?

— Был на берегу; брод нашел... Пойдемте.

Мы хотели было тотчас же отправиться; но он сперва достал под водой из кармана веревку, привязал убитых уток за лапки, взял оба конца в зубы и побрел вперед; Владимир за ним, я за Владимиром. Сучок замыкал шествие. До берега было около двухсот шагов, Ермолай шел смело и безостановочно (так хорошо заметил он дорогу), лишь изредка покрикивая: «Левей,— тут направо колдобина!» или: «Правей,— тут налево завязнешь...» Иногда вода доходила нам до горла, и раза два бедный Сучок, будучи ниже всех нас ростом, захлебывался и пускал пузыри. «Ну, ну, ну!»— грозно кричал на него Ермолай,— и Сучок карабкался, болтал ногами, прыгал и таки выбирался на более мелкое место, но даже в крайности не решался хвататься за полу моего сюртука. Измученные, грязные, мокрые, мы достигли наконец берега.

Часа два спустя мы уже все сидели, по мере возможности обсушенные, в большом сенном сарае и собирались ужинать. Кучер Иегудиил, человек чрезвычайно медлительный, тяжелый на подъем, рассудительный и заспанный, стоял у ворот и усердно потчевал табаком Сучка. (Я заметил, что кучера в России очень скоро дружатся.) Сучок нюхал с остервенением, до тошноты: плевал, кашлял и, по-видимому, чувствовал большое удовольствие. Владимир принимал томный вид, наклонял головку набок и говорил мало. Ермолай вытирал наши ружья. Собаки с преувеличенной быстротой вертели хвостами в ожидании овсянки; лошади топали и ржали под навесом... Солнце садилось; широкими багровыми полосами разбегались его последние лучи; золотые тучки расстилались по небу все мельче и мельче, словно вымытая, расчесанная волна... На селе раздавались песни.

БЕЖИН ЛУГ

Был прекрасный июльский день, один из тех дней, которые случаются только тогда, когда погода установилась надолго. С самого раннего утра небо ясно; утренняя заря не пылает пожаром: она разливается кротким румянцем. Солнце — не огнистое, не раскаленное, как во время знойной засухи, не тускло-багровое, как перед бурей, но светлое и приветно лучезарное — мирно всплывает под узкой и длинной тучкой, свежо просияет и погрузится в лиловый ее туман. Верхний, тонкий край растянутого облачка засверкает змейками; блеск их подобен блеску кованого серебра... Но вот опять хлынули играющие лучи,— и весело и величаво, словно взлетая, поднимается могучее светило. Около полудня обыкновенно появляется множество круглых высоких облаков, золотисто-серых, с нежными белыми краями. Подобно островам, разбросанным по бесконечно разлившейся реке, обтекающей их глубоко прозрачными рукавами ровной синевы, они почти не трогаются с места; далее, к небосклону, они сдвигаются, теснятся, синевы между ними уже не видать; но сами они так же лазурны, как небо: они все насквозь проникнуты светом и теплотой. Цвет небосклона, легкий, бледно-лиловый, не изменяется во весь день и кругом одинаков; нигде не темнеет, не густеет гроза; разве кое-где протянутся сверху вниз голубоватые полосы: то сеется едва заметный дождь. К вечеру эти облака исчезают; последние из них, черноватые и неопределенные, как дым, ложатся розовыми клубами напротив заходящего солнца; на месте, где оно закатилось так же спокойно, как спокойно взошло на небо, алое сиянье стоит недолгое время над потемневшей землей, и, тихо мигая, как бережно несомая свечка, затеплится на нем вечерняя звезда. В такие дни краски все смягчены; светлы, но не ярки; на всем лежит печать какой-то трогательной кротости. В такие дни жар бывает иногда весьма силен, иногда даже «пáрит» по скатам полей; но ветер разгоняет, раздвигает накопившийся зной, и вихри-круговороты — несомненный признак постоянной погоды — высокими белыми столбами гуляют по дорогам через пашню. В сухом и чистом воздухе пахнет полынью, сжатой рожью, гречихой; даже за час до ночи вы не чувствуете сырости. Подобной погоды желает земледелец для уборки хлеба...

В такой точно день охотился я однажды за тетеревами в Чернском уезде, Тульской губернии. Я нашел и настрелял довольно много дичи; наполненный ягдташ немилосердно резал мне плечо; но уже вечерняя заря погасала, и в воздухе, еще светлом, хотя не озаренном более лучами закатившегося солнца, начинали густеть и разливаться холодные тени, когда я решился наконец вернуться к себе домой. Быстрыми шагами прошел я длинную «площадь» кустов, взобрался на холм и, вместо ожиданной знакомой равнины с дубовым леском направо и низенькой белой церковью в отдалении, увидал совершенно другие, мне не известные места. У ног моих тянулась узкая долина; прямо, напротив, крутой стеной возвышался частый осинник. Я остановился в недоумении,

оглянулся... «Эге!— подумал я,— да это я совсем не туда попал: я слишком забрал вправо»,— и, сам дивясь своей ошибке, проворно спустился с холма. Меня тотчас охватила неприятная, неподвижная сырость, точно я вошел в погреб; густая высокая трава на дне долины, вся мокрая, белела ровной скатертью; ходить по ней было как-то жутко. Я поскорей выкарабкался на другую сторону и пошел, забирая влево, вдоль осинника. Летучие мыши уже носились над его заснувшими верхушками, таинственно кружась и дрожа на смутно-ясном небе; резво и прямо пролетел в вышине запоздалый ястребок, спеша в свое гнездо. «Вот как только я выйду на тот угол,— думал я про себя,— тут сейчас и будет дорога, а с версту крюку я дал!»

Я добрался наконец до угла леса, но там не было никакой дороги: какие-то некошеные, низкие кусты широко расстилались передо мною, а за ними, далёко-далёко, виднелось пустынное поле. Я опять остановился. «Что за притча?.. Да где же я?» Я стал припоминать, как и куда ходил в течение дня... «Э! да это Парахинские кусты!— воскликнул я наконец,— точно! вон это, должно быть, Синдеевская роща... Да как же это я сюда зашел? Так далеко?.. Странно! Теперь опять нужно вправо взять».

Я пошел вправо, через кусты. Между тем ночь приближалась и росла, как грозовая туча; казалось, вместе с вечерними парами отовсюду поднималась и даже с вышины лилась темнота. Мне попалась какая-то неторная, заросшая дорожка; я отправился по ней, внимательно поглядывая вперед. Все кругом быстро чернело и утихало,— одни перепела изредка кричали. Небольшая ночная птица, неслышно и низко мчавшаяся на своих мягких крыльях, почти наткнулась на меня и пугливо нырнула в сторону. Я вышел на опушку кустов и побрел по полю межой. Уже я с трудом различал отдаленные предметы; поле неясно белело вокруг; за ним, с каждым мгновением надвигаясь, громадными клубами вздымался угрюмый мрак. Глухо отдавались мои шаги в застывающем воздухе. Побледневшее небо стало опять синеть — но то уже была синева ночи. Звездочки замелькали, зашевелились на нем.

Что я было принял за рощу, оказалось темным и круглым бугром. «Да где же это я?»— повторил я опять вслух, остановился в третий раз и вопросительно посмотрел на свою английскую желто-пегую собаку Дианку, решительно умнейшую изо всех четвероногих тварей. Но умнейшая из четвероногих тварей только повиляла хвостиком, уныло моргнула усталыми глазками и не подала мне никакого дельного совета. Мне стало совестно перед ней, и я отчаянно устремился вперед, словно вдруг догадался, куда следовало идти, обогнул бугор и очутился в неглубокой, кругом распаханной лощине. Странное чувство тотчас овладело мной. Лощина эта имела вид почти правильного котла с пологими боками; на дне ее торчало стоймя несколько больших, белых камней,— казалось, они сползлись туда для тайного совещания,— и до того в ней было немо и глухо, так плоско, так уныло висело над нею небо, что сердце у меня сжалось. Какой-то зверок слабо и жалобно пискнул между камней. Я поспешил выбраться назад на бугор. До сих пор

я все еще не терял надежды сыскать дорогу домой; но тут я окончательно удостоверился в том, что заблудился совершенно, и, уже нисколько не стараясь узнавать окрестные места, почти совсем потонувшие во мгле, пошел себе прямо, по звездам — наудалую... Около получаса шел я так, с трудом переставляя ноги. Казалось, отроду не бывал я в таких пустых местах: нигде не мерцал огонек, не слышалось никакого звука. Один пологий холм сменялся другим, поля бесконечно тянулись за полями, кусты словно вставали вдруг из земли перед самым моим носом. Я все шел и уже собирался было прилечь где-нибудь до утра, как вдруг очутился над страшной бездной.

Я быстро отдернул занесенную ногу и, сквозь едва прозрачный сумрак ночи, увидел далеко под собою огромную равнину. Широкая река огибала ее уходящим от меня полукругом; стальные отблески воды, изредка и смутно мерцая, обозначали ее теченье. Холм, на котором я находился, спускался вдруг почти отвесным обрывом; его громадные очертания отделялись, чернея, от синеватой воздушной пустоты, и прямо подо мною, в углу, образованном тем обрывом и равниной, возле реки, которая в этом месте стояла неподвижным, темным зеркалом, под самой кручью холма, красным пламенем горели и дымились друг подле дружки два огонька. Вокруг них копошились люди, колебались тени, иногда ярко освещалась передняя половина маленькой кудрявой головы...

Я узнал наконец, куда я зашел. Этот луг славится в наших околотках под названием Бежина луга... Но вернуться домой не было никакой возможности, особенно в ночную пору; ноги подкашивались подо мной от усталости. Я решился подойти к огонькам и в обществе тех людей, которых принял за гуртовщиков, дождаться зари. Я благополучно спустился вниз, но не успел выпустить из рук последнюю ухваченную мною ветку, как вдруг две большие, белые, лохматые собаки со злобным лаем бросились на меня. Детские звонкие голоса раздались вокруг огней; два-три мальчика быстро поднялись с земли. Я откликнулся на их вопросительные крики. Они подбежали ко мне, отозвали тотчас собак, которых особенно поразило появление моей Дианки, и я подошел к ним.

Я ошибся, приняв людей, сидевших вокруг тех огней, за гуртовщиков. Это просто были крестьянские ребятишки из соседних деревень, которые стерегли табун. В жаркую летнюю пору лошадей выгоняют у нас на ночь кормиться в поле: днем мухи и оводы не дали бы им покоя. Выгонять перед вечером и пригонять на утренней заре табун — большой праздник для крестьянских мальчиков. Сидя без шапок и в старых полушубках на самых бойких клячонках, мчатся они с веселым гиканьем и криком, болтая руками и ногами, высоко подпрыгивают, звонко хохочут. Легкая пыль желтым столбом поднимается и несется по дороге; далеко разносится дружный топот, лошади бегут, навострив уши; впереди всех, задравши хвост и беспрестанно меняя ногу, скачет какой-нибудь рыжий космач, с репейником в спутанной гриве.

Я сказал мальчикам, что заблудился, и подсел к ним. Они спросили меня, откуда я, помолчали, посторонились. Мы немного поговорили. Я прилег под обглоданный кустик и стал глядеть кругом. Картина была чудесная: около огней дрожало и как будто замирало, упираясь в темноту, круглое красноватое отражение; пламя, вспыхивая, изредка забрасывало за черту того круга быстрые отблески; тонкий язык света лизнет голые сучья лозника и разом исчезнет; острые, длинные тени, врываясь на мгновенье, в свою очередь, добегали до самых огоньков: мрак боролся со светом. Иногда, когда пламя горело слабее и кружок света суживался, из надвинувшейся тьмы внезапно выставлялась лошадиная голова, гнедая, с извилистой проточиной, или вся белая, внимательно и тупо смотрела на нас, проворно жуя длинную траву, и, снова опускаясь, тотчас скрывалась. Только слышно было, как она продолжала жевать и отфыркивалась. Из освещенного места трудно разглядеть, что делается в потемках, и потому вблизи все казалось задернутым почти черной завесой; но далее к небосклону длинными пятнами смутно виднелись холмы и леса. Темное чистое небо торжественно и необъятно высоко стояло над нами со всем своим таинственным великолепием. Сладко стеснялась грудь, вдыхая тот особенный, томительный и свежий запах — запах русской летней ночи. Кругом не слышалось почти никакого шума... Лишь изредка в близкой реке с внезапной звучностью плеснет большая рыба и прибрежный тростник слабо зашумит, едва поколебленный набежавшей волной... Одни огоньки тихонько потрескивали.

Мальчики сидели вокруг их; тут же сидели и те две собаки, которым так было захотелось меня съесть. Они еще долго не могли примириться с моим присутствием и, сонливо щурясь и косясь на огонь, изредка рычали с необыкновенным чувством собственного достоинства; сперва рычали, а потом слегка визжали, как бы сожалея о невозможности исполнить свое желание. Всех мальчиков было пять: Федя, Павлуша, Ильюша, Костя и Ваня. (Из их разговоров я узнал их имена и намерен теперь же познакомить с ними читателя.)

Первому, старшему изо всех, Феде, вы бы дали лет четырнадцать. Это был стройный мальчик, с красивыми и тонкими, немного мелкими чертами лица, кудрявыми белокурыми волосами, светлыми глазами и постоянной полувеселой, полурассеянной улыбкой. Он принадлежал, по всем приметам, к богатой семье и выехал-то в поле не по нужде, а так, для забавы. На нем была пестрая ситцевая рубаха с желтой каемкой; небольшой новый армячок, надетый внакидку, чуть держался на его узеньких плечиках; на голубеньком поясе висел гребешок. Сапоги его с низкими голенищами были точно его сапоги — не отцовские. У второго мальчика, Павлуши, волосы были всклоченные, черные, глаза серые, скулы широкие, лицо бледное, рябое, рот большой, но правильный, вся голова огромная, как говорится, с пивной котел, тело приземистое, неуклюжее. Малый был неказистый,— что и говорить!— а все-таки он мне понравился: глядел он очень умно и прямо, да и в голосе у него звучала сила. Одеждой своей он щего-

лять не мог: вся она состояла из простой замашной рубахи да из заплатанных портов. Лицо третьего, Ильюши, было довольно незначительно: горбоносое, вытянутое, подслеповатое, оно выражало какую-то тупую, болезненную заботливость; сжатые губы его не шевелились, сдвинутые брови не расходились — он словно все щурился от огня. Его желтые, почти белые волосы торчали острыми косицами из-под низенькой войлочной шапочки, которую он обеими руками то и дело надвигал себе на уши. На нем были новые лапти и онучи; толстая веревка, три раза перевитая вокруг стана, тщательно стягивала его опрятную черную свитку. И ему и Павлуше на вид было не более двенадцати лет. Четвертый, Костя, мальчик лет десяти, возбуждал мое любопытство своим задумчивым и печальным взором. Все лицо его было невелико, худо, в веснушках, книзу заострено, как у белки; губы едва было можно различить; но странное впечатление производили его большие, черные, жидким блеском блестевшие глаза: они, казалось, хотели что-то высказать, для чего на языке,— на его языке по крайней мере,— не было слов. Он был маленького роста, сложения тщедушного и одет довольно бедно. Последнего, Ваню, я сперва было и не заметил: он лежал на земле, смирнехонько прикорнув под угловатую рогожу, и только изредка выставлял из-под нее свою русую кудрявую голову. Этому мальчику было всего лет семь.

Итак, я лежал под кустиком в стороне и поглядывал на мальчиков. Небольшой котельчик висел над одним из огней; в нем варились «картошки». Павлуша наблюдал за ним и, стоя на коленях, тыкал щепкой в закипавшую воду. Федя лежал, опершись на локоть и раскинув полы своего армяка. Ильюша сидел рядом с Костей и все так же напряженно щурился. Костя понурил немного голову и глядел куда-то вдаль. Ваня не шевелился под своей рогожей. Я притворился спящим. Понемногу мальчики опять разговорились.

Сперва они покалякали о том и сем, о завтрашних работах, о лошадях; но вдруг Федя обратился к Ильюше и, как бы возобновляя прерванный разговор, спросил его:

— Ну, и что ж ты, так и видел домового?

— Нет, я его не видал, да его и видеть нельзя,— отвечал Ильюша сиплым и слабым голосом, звук которого как нельзя более соответствовал выражению его лица,— а слышал... Да и не я один.

— А он у вас где водится?— спросил Павлуша.

— В старой рольне[1].

— А разве вы на фабрику ходите?

— Как же, ходим. Мы с братом, с Авдюшкой, в лисовщиках состоим[2].

— Вишь ты — фабричные!..

— Ну, так как же ты его слышал?— спросил Федя.

— А вот как. Пришлось нам с братом Авдюшкой, да с Федо-

---

[1] «Рольней» или «черпальней» на бумажных фабриках называется то строение, где в чанах вычерпывают бумагу. Оно находится у самой плотины, под колесом.

[2] «Лисовщики» гладят, скоблят бумагу.

ром Михеевским, да с Ивашкой Косым, да с другим Ивашкой, что с Красных Холмов, да еще с Ивашкой Сухоруковым, да еще были там другие ребятишки; всех было нас ребяток человек десять — как есть вся смена; но а пришлось нам в рольне заночевать, то есть не то чтобы этак пришлось, а Назаров, надсмотрщик, запретил; говорит: «Что, мол, вам, ребяткам, домой таскаться; завтра работы много, так вы, ребятки, домой не ходите». Вот мы остались и лежим все вместе, и зачал Авдюшка говорить, чтó, мол, ребята, ну, как домовой придет?.. И не успел он, Авдей-от, проговорить, как вдруг кто-то над головами у нас и заходил; но а лежали-то мы внизу, а заходил он наверху, у колеса. Слышим мы: ходит, доски под ним так и гнутся, так и трещат; вот прошел он через наши головы; вода вдруг по колесу как зашумит, зашумит; застучит, застучит колесо, завертится; но а зáставки у дворца-то[1] спущены. Дивимся мы: кто ж это их поднял, что вода пошла; однако колесо повертелось, повертелось, да и стало. Пошел тот опять к двери наверху да по лестнице спущаться стал, и этак спущается, словно не торопится; ступеньки под ним так даже и стонут... Ну, подошел тот к нашей двери, подождал, подождал — дверь вдруг вся так и распахнулась. Всполохнулись мы, смотрим — ничего... Вдруг, глядь, у одного чана форма[2] зашевелилась, поднялась, окунулась, походила, походила этак по воздуху, словно кто ею полоскал, да и опять на место. Потом у другого чана крюк снялся с гвоздя да опять на гвоздь; потом будто кто-то к двери пошел да вдруг как закашляет, как заперхает, словно овца какая, да зычно так... Мы все так ворохом и свалились, друг под дружку полезли... Уж как же мы напужались о ту пору!

— Вишь как!— промолвил Павел.— Чего ж он раскашлялся?

— Не знаю; может, от сырости.

Все помолчали.

— А что,— спросил Федя,— картошки сварились?

Павлуша пощупал их.

— Нет, еще сыры... Вишь, плеснула,— прибавил он, повернув лицо в направлении реки,— должно быть, щука... А вон звездочка покатилась.

— Нет, я вам что, братцы, расскажу,— заговорил Костя тонким голоском,— послушайте-ка, намеднись что тятя при мне рассказывал.

— Ну, слушаем,— с покровительствующим видом сказал Федя.

— Вы ведь знаете Гаврилу, слободского плотника?

— Ну да; знаем.

— А знаете ли, отчего он такой все невеселый, все молчит, знаете? Вот отчего он такой невеселый. Пошел он раз, тятенька говорил,— пошел он, братцы мои, в лес по орехи. Вот пошел он в лес по орехи, да и заблудился; зашел — бог знает куды зашел. Уж он ходил, ходил, братцы мои,— нет! не может найти дороги; а уж ночь на дворе. Вот и присел он под дерево; давай, мол,

[1] «Дворцом» называется у нас место, по которому вода бежит на колесо.
[2] Сетка, которой бумагу черпают.

дождусь утра,— присел и задремал. Вот задремал и слышит вдруг, кто-то его зовет. Смотрит — никого. Он опять задремал — опять зовут. Он опять глядит, глядит: а перед ним на ветке русалка сидит, качается и его к себе зовет, а сама помирает со́ смеху, смеется... А месяц-то светит сильно, так сильно, явственно светит месяц — все, братцы мои, видно. Вот зовет она его, и такая вся сама светленькая, беленькая сидит на ветке, словно плотичка какая или пескарь,— а то вот еще карась бывает такой белесоватый, серебряный... Гаврила-то плотник так и обмер, братцы мои, а она знай хохочет да его все к себе этак рукой зовет. Уж Гаврила было и встал, послушался было русалки, братцы мои, да, знать, господь его надоумил: положил-таки на себя крест... А уж как ему было трудно крест-то класть, братцы мои; говорит, рука просто как каменная, не ворочается... Ах ты этакой, а!.. Вот как положил он крест, братцы мои, русалочка-то и смеяться перестала, да вдруг как заплачет... Плачет она, братцы мои, глаза волосами утирает, а волоса у нее зеленые, что твоя конопля. Вот поглядел, поглядел на нее Гаврила, да и стал ее спрашивать: «Чего ты, лесное зелье, плачешь?» А русалка-то как взговорит ему: «Не креститься бы тебе, говорит, человече, жить бы тебе со мной на веселии до конца дней; а плачу я, убиваюсь оттого, что ты крестился; да не я одна убиваться буду: убивайся же и ты до конца дней». Тут она, братцы мои, пропала, а Гавриле тотчас и понятственно стало, как ему из лесу, то есть, выйти... А только с тех пор вот он все невеселый ходит.

— Эка!— проговорил Федя после недолгого молчанья,— да как же это может этакая лесная нечисть хрестиянскую душу спортить,— он же ее не послушался?

— Да вот поди ты!— сказал Костя.— И Гаврила баил, что голосок, мол, у ней такой тоненький, жалобный, как у жабы.

— Твой батька сам это рассказывал?— продолжал Федя.

— Сам. Я лежал на полатях, все слышал.

— Чудно́е дело! Чего ему быть невеселым?.. А, знать, он ей понравился, что позвала его.

— Да, понравился!— подхватил Ильюша.— Как же! Защекотать она его хотела, вот что она хотела. Это ихнее дело, этих русалок-то.

— А ведь вот и здесь должны быть русалки,— заметил Федя.

— Нет,— отвечал Костя,— здесь место чистое, вольное. Одно — река близко.

Все смолкли. Вдруг, где-то в отдалении, раздался протяжный, звенящий, почти стенящий звук, один из тех непонятных ночных звуков, которые возникают иногда среди глубокой тишины, поднимаются, стоят в воздухе и медленно разносятся наконец, как бы замирая. Прислушаешься — и как будто нет ничего, а звенит. Казалось, кто-то долго, долго прокричал под самым небосклоном, кто-то другой как будто отозвался ему в лесу тонким, острым хохотом, и слабый, шипящий свист промчался по реке. Мальчики переглянулись, вздрогнули...

— С нами крестная сила!— шепнул Илья.

— Эх вы, вороны!— крикнул Павел.— Чего всполохнулись? Посмотрите-ка, картошки сварились. (Все пододвинулись к котельчику и начали есть дымящийся картофель; один Ваня не шевельнулся.) Что же ты?— сказал Павел.

Но он не вылез из-под своей рогожи. Котельчик скоро весь опорожнился.

— А слыхали вы, ребятки,— начал Ильюша,— что намеднись у нас на Варнавицах приключилось?

— На плотине-то?— спросил Федя.

— Да, да, на плотине, на прорванной. Вот уж нечистое место, так нечистое, и глухое такое. Кругом всё такие буераки, овраги, а в оврагах всё казюли[1] водятся.

— Ну, что такое случилось? сказывай...

— А вот что случилось. Ты, может быть, Федя, не знаешь, а только там у нас утопленник похоронен; а утопился он давным-давно, как пруд еще был глубок; только могилка его еще видна, да и та чуть видна: так — бугорочек... Вот, на днях, зовет приказчик псаря Ермила; говорит: «Ступай, мол, Ермил, на пошту». Ермил у нас завсегда на пошту ездит; собак-то он всех своих поморил: не живут они у него отчего-то, так-таки никогда и не жили, а псарь он хороший, всем взял. Вот поехал Ермил за поштой, да и замешкался в городе, но а едет назад уж он хмелён. А ночь, и светлая ночь: месяц светит... Вот и едет Ермил через плотину: такая уж его дорога вышла. Едет он этак, псарь Ермил, и видит: у утопленника на могиле барашек, белый такой, кудрявый, хорошенький, похаживает. Вот и думает Ермил: «Сем возьму его,— что ему так пропадать», да и слез, и взял его на руки... Но а барашек — ничего. Вот идет Ермил к лошади, а лошадь от него таращится, храпит, головой трясет; однако он ее отпрукал, сел на нее с барашком и поехал опять: барашка перед собой держит. Смотрит он на него, и барашек ему прямо в глаза так и глядит. Жутко ему стало, Ермилу-то псарю: что, мол, не помню я, чтобы этак бараны кому в глаза смотрели; однако ничего; стал он его этак по шерсти гладить,— говорит: «Бяша, бяша!» А баран-то вдруг как оскалит зубы, да ему тоже: «Бяша, бяша...»

Не успел рассказчик произнести это последнее слово, как вдруг обе собаки разом поднялись, с судорожным лаем ринулись прочь от огня и исчезли во мраке. Все мальчики перепугались. Ваня выскочил из-под своей рогожи. Павлуша с криком бросился вслед за собаками. Лай их быстро удалялся... Послышалась беспокойная беготня встревоженного табуна. Павлуша громко кричал: «Серый! Жучка!..» Через несколько мгновений лай замолк; голос Павла принесся уже издалека... Прошло еще немного времени; мальчики с недоумением переглядывались, как бы выжидая, что-то будет... Внезапно раздался топот скачущей лошади; круто остановилась она у самого костра, и, уцепившись за гриву, проворно спрыгнул с нее Павлуша. Обе собаки также вскочили в кружок света и тотчас сели, высунув красные языки.

---

[1] По-орловскому: змеи.

— Что там? что такое? — спросили мальчики.

— Ничего, — отвечал Павел, махнув рукой на лошадь, — так, что-то собаки зачуяли. Я думал, волк,— прибавил он равнодушным голосом, проворно дыша всей грудью.

Я невольно полюбовался Павлушей. Он был очень хорош в это мгновение. Его некрасивое лицо, оживленное быстрой ездой, горело смелой удалью и твердой решимостью. Без хворостинки в руке, ночью, он, нимало не колеблясь, поскакал один на волка... «Что за славный мальчик!»— думал я, глядя на него.

— А видали их, что ли, волков-то?— спросил трусишка Костя.

— Их всегда здесь много,— отвечал Павел,— да они беспокойны только зимой.

Он опять прикорнул перед огнем. Садясь на землю, уронил он руку на мохнатый затылок одной из собак, и долго не поворачивало головы обрадованное животное, с признательной гордостью посматривая сбоку на Павлушу.

Ваня опять забился под рогожку.

— А какие ты нам, Илюшка, страхи рассказывал,— заговорил Федя, которому, как сыну богатого крестьянина, приходилось быть запевалой (сам же он говорил мало, как бы боясь уронить свое достоинство).— Да и собак тут нелегкая дернула залаять... А точно, я слышал, это место у вас нечистое.

— Варнавицы?.. Еще бы! еще какое нечистое! Там не раз, говорят, старого барина видали — покойного барина. Ходит, говорят, в кафтане долгополом и все это этак охает, чего-то на земле ищет. Его раз дедушка Трофимыч повстречал: «Что, мол, батюшка, Иван Иваныч, изволишь искать на земле?»

— Он его спросил?— перебил изумленный Федя.

— Да, спросил.

— Ну, молодец же после этого Трофимыч... Ну, и что ж тот?

— Разрыв-травы, говорит, ищу. Да так глухо говорит, глухо:— Разрыв-травы.— А на что тебе, батюшка Иван Иваныч, разрыв-травы?— Давит, говорит, могила давит, Трофимыч: вон хочется, вон...

— Вишь какой!— заметил Федя,— мало, знать, пожил.

— Экое диво!— промолвил Костя.— Я думал, покойников можно только в родительскую субботу видеть.

— Покойников во всяк час видеть можно,— с уверенностью подхватил Ильюша, который, сколько я мог заметить, лучше других знал все сельские поверья...— Но а в родительскую субботу ты можешь и живого увидать, за кем, то есть, в том году очередь помирать. Стоит только ночью сесть на паперть на церковную да все на дорогу глядеть. Те и пойдут мимо тебя по дороге, кому, то есть, умирать в том году. Вот у нас в прошлом году баба Ульяна на паперть ходила.

— Ну, и видела она кого-нибудь?— с любопытством спросил Костя.

— Как же. Перво-нáперво она сидела долго, долго, никого не видала и не слыхала... только все как будто собачка этак залает,

залает где-то... Вдруг, смотрит: идет по дорожке мальчик в одной рубашонке. Она приглянулась — Ивашка Федосеев идет...

— Тот, что умер весной? — перебил Федя.

— Тот самый. Идет и головушки не подымает... А узнала его Ульяна... Но а потом смотрит: баба идет. Она вглядываться, вглядываться,— ах ты, господи! — сама идет по дороге, сама Ульяна.

— Неужто сама? — спросил Федя.

— Ей-богу, сама.

— Ну что ж, ведь она еще не умерла?

— Да году-то еще не прошло. А ты посмотри на нее: в чем душа держится.

Все опять притихли. Павел бросил горсть сухих сучьев на огонь. Резко зачернелись они на внезапно вспыхнувшем пламени, затрещали, задымились и пошли коробиться, приподнимая обожженные концы. Отражение света ударило, порывисто дрожа, во все стороны, особенно кверху. Вдруг откуда ни возьмись белый голубок,— налетел прямо в это отражение, пугливо повертелся на одном месте, весь обливаясь горячим блеском, и исчез, звеня крылами.

— Знать, от дому отбился,— заметил Павел.— Теперь будет лететь, покуда на что наткнется, и где ткнет, там и ночует до зари.

— А что, Павлуша,— промолвил Костя,— не праведная ли это душа летела на небо, ась?

Павел бросил другую горсть сучьев на огонь.

— Может быть,— проговорил он наконец.

— А скажи, пожалуй, Павлуша,— начал Федя,— что, у вас тоже в Шаламове было видать предвиде́нье-то небесное?[1]

— Как солнца-то не стало видно? Как же.

— Чай, напугались и вы.

— Да не мы одни. Барин-то наш, хоша и толковал нам напредки, что, дескать, будет вам предвиде́нье, а как затемнело, сам, говорят, так перетрусился, что на́-поди. А на дворовой избе баба-стряпуха, так та, как только затемнело, слышь, взяла да ухватом все горшки перебила в печи: «Кому теперь есть, говорит, наступило светопрестановление». Так шти и потекли. А у нас на деревне такие, брат, слухи ходили, что, мол, белые волки по земле побегут, людей есть будут, хищная птица полетит, а то и самого Тришку[2] увидят.

— Какого это Тришку? — спросил Костя.

— А ты не знаешь? — с жаром подхватил Ильюша.— Ну, брат, откентелева же ты, что Тришки не знаешь? Сидни же у вас в деревне сидят, вот уж точно сидни! Тришка — эвто будет такой человек удивительный, который придет; а придет он, когда наступят последние времена. И будет он такой удивительный человек, что его и взять нельзя будет, и ничего ему сделать нельзя будет: такой уж будет удивительный человек. Захотят его, например, взять хрестьяне; выйдут на него с дубьем, оцепят его, но а он им

---

[1] Так мужики называют у нас солнечное затмение.

[2] В поверье о «Тришке», вероятно, отозвалось сказание об антихристе.

глаза отведет — так отведет им глаза, что они же сами друг друга побьют. В острог его посадят, например,— он попросит водицы испить в ковшике: ему принесут ковшик, а он нырнет туда, да и поминай как звали. Цепи на него наденут, а он в ладошки затрепещется — они с него так и попадают. Ну, и будет ходить этот Тришка по селам да по городам; и будет этот Тришка, лукавый человек, соблазнять народ хрестиянский... ну, а сделать ему нельзя будет ничего... Уж такой он будет удивительный, лукавый человек.

— Ну да,— продолжал Павел своим неторопливым голосом,— такой. Вот его-то и ждали у нас. Говорили старики, что вот, мол, как только предвиденье небесное зачнется, так Тришка и придет. Вот и зачалось предвиденье. Высыпал весь народ на улицу, в поле, ждет, что будет. А у нас, вы знаете, место видное, привольное. Смотрят — вдруг от слободки с горы идет какой-то человек, такой мудреный, голова такая удивительная... Все как крикнут: «Ой, Тришка идет! ой, Тришка идет!»— да кто куды! Староста наш в канаву залез; старостиха в подворотне застряла, благим матом кричит, свою же дворную собаку так запужала, что та с цепи долой, да через плетень, да в лес; а Кузькин отец, Дорофеич, вскочил в овес, присел, да и давай кричать перепелом: «Авось, мол, хоть птицу-то враг, душегубец, пожалеет». Таково-то все переполошились!.. А человек-то это шел наш бочар, Вавила: жбан себе новый купил да на голову пустой жбан и надел.

Все мальчики засмеялись и опять приумолкли на мгновенье, как это часто случается с людьми, разговаривающими на открытом воздухе. Я поглядел кругом: торжественно и царственно стояла ночь; сырую свежесть позднего вечера сменила полуночная сухая теплынь, и еще долго было ей лежать мягким пологом на заснувших полях; еще много времени оставалось до первого лепета, до первых шорохов и шелестов утра, до первых росинок зари. Луны не было на небе: она в ту пору поздно всходила. Бесчисленные золотые звезды, казалось, тихо текли все, наперерыв мерцая, по направлению Млечного Пути, и, право, глядя на них, вы как будто смутно чувствовали сами стремительный, безостановочный бег земли...

Странный, резкий, болезненный крик раздался вдруг два раза сряду над рекой и, спустя несколько мгновений, повторился уже далее...

Костя вздрогнул. «Что это?»

— Это цапля кричит,— спокойно возразил Павел.

— Цапля,— повторил Костя...— А что такое, Павлуша, я вчера слышал вечером,— прибавил он, помолчав немного,— ты, может быть, знаешь...

— Что ты слышал?

— А вот что я слышал. Шел я из Каменной Гряды в Шашкино; а шел сперва все нашим орешником, а потом лужком пошел — знаешь, там, где он сугибелью[1] выходит,— там ведь есть

[1] Сугибель — крутой поворот в овраге.

бучило;[1] знаешь, оно еще все камышом заросло; вот пошел я мимо этого бучила, братцы мои, и вдруг из того-то бучила как застонет кто-то, да так жалостливо, жалостливо: у-у... у-у... у-у! Страх такой меня взял, братцы мои: время-то позднее, да и голос такой болезный. Так вот, кажется, сам бы и заплакал... Что бы это такое было? ась?

— В этом бучиле в запрошлом лете Акима-лесника утопили воры,— заметил Павлуша,— так, может быть, его душа жалобится.

— А ведь и то, братцы мои,— возразил Костя, расширив свои и без того огромные глаза...— Я и не знал, что Акима в том бучиле утопили: я бы еще не так напужался.

— А то, говорят, есть такие лягушки махонькие,— продолжал Павел,— которые так жалобно кричат.

— Лягушки? Ну, нет, это не лягушки... какие это... (Цапля опять прокричала над рекой.) — Эк ее!— невольно произнес Костя,— словно леший кричит.

— Леший не кричит, он немой,— подхватил Ильюша,— он только в ладоши хлопает да трещит...

— А ты его видал, лешего-то, что ли?— насмешливо перебил его Федя.

— Нет, не видал, и сохрани бог его видеть; но а другие видели. Вот на днях он у нас мужичка обошел: водил, водил его по лесу, и все вокруг одной поляны... Едва-те к свету домой добился.

— Ну, и видел он его?

— Видел. Говорит, такой стоит большой, большой, темный, скутанный, этак словно за деревом, хорошенько не разберешь, словно от месяца прячется, и глядит, глядит глазищами-то, моргает ими, моргает...

— Эх ты! — воскликнул Федя, слегка вздрогнув и передернув плечами,— пфу!..

— И зачем эта пóгань в свете развелась?— заметил Павел.— Не понимаю, право!

— Не бранись: смотри, услышит,— заметил Илья.

Настало опять молчание.

— Гляньте-ка, гляньте-ка, ребятки,— раздался вдруг детский голос Вани,— гляньте на божьи звездочки,— что пчелки роятся!

Он выставил свое свежее личико из-под рогожи, оперся на кулачок и медленно поднял кверху свои большие тихие глаза. Глаза всех мальчиков поднялись к небу и не скоро опустились.

— А что, Ваня,— ласково заговорил Федя,— что, твоя сестра Анютка здорова?

— Здорова,— отвечал Ваня, слегка картавя.

— Ты ей скажи — чтó она к нам, отчего не ходит?..

— Не знаю.

— Ты ей скажи, чтобы она ходила.

— Скажу.

---

[1] **Бучило** — глубокая яма с весенней водой, оставшейся после половодья, которая не пересыхает даже летом.

— Ты ей скажи, что я ей гостинца дам.

— А мне дашь?

— И тебе дам.

Ваня вздохнул.

— Ну, нет, мне не надо. Дай уж лучше ей: она такая у нас добренькая.

И Ваня опять положил свою голову на землю. Павел встал и взял в руку пустой котельчик.

— Куда ты?— спросил его Федя.

— К реке, водицы зачерпнуть: водицы захотелось испить.

Собаки поднялись и пошли за ним.

— Смотри, не упади в реку!— крикнул ему вслед Ильюша.

— Отчего ему упасть?— сказал Федя,— он остережется.

— Да, остережется. Всяко бывает: он вот нагнется, станет черпать воду, а водяной его за руку схватит да потащит к себе. Станут потом говорить: упал, дескать, малый в воду... А какое упал?.. Во-вон, в камыши полез,— прибавил он, прислушиваясь.

Камыши точно, раздвигаясь, «шуршали», как говорится у нас.

— А правда ли,— спросил Костя,— что Акулина-дурочка с тех пор и рехнулась, как в воде побывала?

— С тех пор... Какова теперь! Но а говорят, прежде красавица была. Водяной ее испортил. Знать, не ожидал, что ее скоро вытащут. Вот он ее, там у себя на дне, и испортил.

(Я сам не раз встречал эту Акулину. Покрытая лохмотьями, страшно худая, с черным, как уголь, лицом, помутившимся взором и вечно оскаленными зубами, топчется она по целым часам на одном месте, где-нибудь на дороге, крепко прижав костлявые руки к груди и медленно переваливаясь с ноги на ногу, словно дикий зверь в клетке. Она ничего не понимает, что бы ей ни говорили, и только изредка судорожно хохочет.)

— А говорят,— продолжал Костя,— Акулина оттого в реку и кинулась, что ее полюбовник обманул.

— От того самого.

— А помнишь Васю?— печально прибавил Костя.

— Какого Васю?— спросил Федя.

— А вот того, что утонул,— отвечал Костя,— в этой вот в самой реке. Уж какой же мальчик был! и-их, какой мальчик был! Мать-то его, Феклиста, уж как же она его любила, Васю-то! И словно чуяла она, Феклиста-то, что ему от воды погибель произойдет. Бывало, пойдет-то Вася с нами, с ребятками, летом в речку купаться,— она так вся и встрепещется. Другие бабы ничего, идут себе мимо с корытами, переваливаются, а Феклиста поставит корыто наземь и станет его кликать: «Вернись, мол, вернись, мой светик! ох, вернись, соколик!» И как утонул, господь знает. Играл на бережку, и мать тут же была, сено сгребала; вдруг слышит, словно кто пузыри по воде пускает,— глядь, а только уж одна Васина шапонька по воде плывет. Ведь вот с тех пор и Феклиста не в своем уме: придет да и ляжет на том месте, где он утоп; ляжет, братцы мои, да и затянет песенку,— помните, Вася-то все такую

песенку певал,— вот ее-то она и затянет, а сама плачет, плачет, горько богу жалится...

— А вот Павлуша идет,— молвил Федя.

Павел подошел к огню с полным котельчиком в руке.

— Что, ребята,— начал он, помолчав,— неладно дело.

— А что?— торопливо спросил Костя.

— Я Васин голос слышал.

Все так и вздрогнули.

— Что ты, что ты?— пролепетал Костя.

— Ей-богу. Только стал я к воде нагибаться, слышу вдруг зовут меня этак Васиным голоском и словно из-под воды: «Павлуша, а Павлуша!» Я слушаю; а тот опять зовет: «Павлуша, подь сюда». Я отошел. Однако воды зачерпнул.

— Ах ты господи! ах ты господи!— проговорили мальчики, крестясь.

— Ведь это тебя водяной звал, Павел,— прибавил Федя...— А мы только что о нем, о Васе-то, говорили.

— Ах, это примета дурная,— с расстановкой проговорил Ильюша.

— Ну, ничего, пущай!— произнес Павел решительно и сел опять,— своей судьбы не минуешь.

Мальчики приутихли. Видно было, что слова Павла произвели на них глубокое впечатление. Они стали укладываться перед огнем, как бы собираясь спать.

— Что это?— спросил вдруг Костя, приподняв голову.

Павел прислушался.

— Это кулички летят, посвистывают.

— Куда ж они летят?

— А туда, где, говорят, зимы не бывает.

— А разве есть такая земля?

— Есть.

— Далеко?

— Далеко, далеко, за теплыми морями.

Костя вздохнул и закрыл глаза.

Уже более трех часов протекло с тех пор, как я присоседился к мальчикам. Месяц взошел наконец; я его не тотчас заметил: так он был мал и узок. Эта безлунная ночь, казалось, была все так же великолепна, как и прежде... Но уже склонились к темному краю земли многие звезды, еще недавно высоко стоявшие на небе; все совершенно затихло кругом, как обыкновенно затихает все только к утру: все спало крепким, неподвижным, передрассветным сном. В воздухе уже не так сильно пахло,— в нем снова как будто разливалась сырость... Недолги летние ночи!.. Разговор мальчиков угасал вместе с огнями... Собаки даже дремали; лошади, сколько я мог различить, при чуть брезжущем, слабо льющемся свете звезд, тоже лежали, понурив головы... Сладкое забытье напало на меня; оно перешло в дремоту.

Свежая струя пробежала по моему лицу. Я открыл глаза: утро зачиналось. Еще нигде не румянилась заря, но уже забелелось на востоке. Все стало видно, хотя смутно видно, кругом. Бледно-серое

небо светлело, холодело, синело; звезды то мигали слабым светом, то исчезали; отсырела земля, запотели листья, кое-где стали раздаваться живые звуки, голоса́, и жидкий, ранний ветерок уже пошел бродить и порхать над землею. Тело мое ответило ему легкой, веселой дрожью. Я проворно встал и подошел к мальчикам. Они все спали как убитые вокруг тлеющего костра; один Павел приподнялся до половины и пристально поглядел на меня.

Я кивнул ему головой и пошел восвояси вдоль задымившейся реки. Не успел я отойти двух верст, как уже полились кругом меня по широкому мокрому лугу, и спереди, по зазеленевшимся холмам, от лесу до лесу, и сзади по длинной пыльной дороге, по сверкающим, обагренным кустам, и по реке, стыдливо синевшей из-под редеющего тумана,— полились сперва алые, потом красные, золотые потоки молодого, горячего света... Все зашевелилось, проснулось, запело, зашумело, заговорило. Всюду лучистыми алмазами зарделись крупные капли росы; мне навстречу, чистые и ясные, словно тоже обмытые утренней прохладой, принеслись звуки колокола, и вдруг мимо меня, погоняемый знакомыми мальчиками, промчался отдохнувший табун...

Я, к сожалению, должен прибавить, что в том же году Павла не стало. Он не утонул: он убился, упав с лошади. Жаль, славный был парень!

КАСЬЯН С КРАСИВОЙ МЕЧИ

Я возвращался с охоты в тряской тележке и, подавленный душным зноем летнего облачного дня (известно, что в такие дни жара бывает иногда еще несноснее, чем в ясные, особенно когда нет ветра), дремал и покачивался, с угрюмым терпением предавая всего себя на съедение мелкой белой пыли, беспрестанно поднимавшейся с выбитой дороги из-под рассохшихся и дребезжавших колес,— как вдруг внимание мое было возбуждено необыкновенным беспокойством и тревожными телодвижениями моего кучера, до этого мгновения еще крепче дремавшего, чем я. Он задергал вожжами, завозился на облучке и начал покрикивать на лошадей, то и дело поглядывая куда-то в сторону. Я осмотрелся. Мы ехали по широкой распаханной равнине; чрезвычайно пологими, волнообразными раскатами сбегали в нее невысокие, тоже распаханные холмы; взор обнимал всего каких-нибудь пять верст пустынного пространства; вдали небольшие березовые рощи своими округленно-зубчатыми верхушками одни нарушали почти прямую черту небосклона. Узкие тропинки тянулись по полям, пропадали в лощинках, вились по пригоркам, и на одной из них, которой в пятистах шагах впереди от нас приходилось пересекать нашу дорогу, различил я какой-то поезд. На него-то поглядывал мой кучер.

Это были похороны. Впереди, в телеге, запряженной одной лошадкой, шагом ехал священник; дьячок сидел возле него и правил;

за телегой четыре мужика, с обнаженными головами, несли гроб, покрытый белым полотном; две бабы шли за гробом. Тонкий, жалобный голосок одной из них вдруг долетел до моего слуха; я прислушался: она голосила. Уныло раздавался среди пустых полей этот переливчатый, однообразный, безнадежно-скорбный напев. Кучер погнал лошадей: он желал предупредить этот поезд. Встретить на дороге покойника — дурная примета. Ему действительно удалось проскакать по дороге прежде, чем покойник успел добраться до нее; но мы еще не отъехали и ста шагов, как вдруг нашу телегу сильно толкнуло, она накренилась, чуть не завалилась. Кучер остановил разбежавшихся лошадей, нагнулся с облучка, посмотрел, махнул рукой и плюнул.

— Что там такое?— спросил я.

Кучер мой слез молча и не торопясь.

— Да что такое?

— Ось сломалась... перегорела,— мрачно отвечал он и с таким негодованием поправил вдруг шлею на пристяжной, что та совсем покачнулась было набок, однако устояла, фыркнула, встряхнулась и преспокойно начала чесать себе зубом ниже колена передней ноги.

Я слез и постоял некоторое время на дороге, смутно предаваясь чувству неприятного недоумения. Правое колесо почти совершенно подвернулось под телегу и, казалось, с немым отчаянием поднимало кверху свою ступицу.

— Что теперь делать?— спросил я наконец.

— Вон кто виноват!— сказал мой кучер, указывая кнутом на поезд, который успел уже свернуть на дорогу и приближался к нам,— уж я всегда это замечал,— продолжал он,— это примета верная — встретить покойника... Да.

И он опять обеспокоил пристяжную, которая, видя его нерасположение и суровость, решилась остаться неподвижною и только изредка и скромно помахивала хвостом. Я походил немного взад и вперед и опять остановился перед колесом.

Между тем покойник нагнал нас. Тихо свернув с дороги на траву, потянулось мимо нашей телеги печальное шествие. Мы с кучером сняли шапки, раскланялись с священником, переглянулись с носильщиками. Они выступали с трудом; высоко поднимались их широкие груди. Из двух баб, шедших за гробом, одна была очень стара и бледна; неподвижные ее черты, жестоко искаженные горестью, хранили выражение строгой, торжественной важности. Она шла молча, изредка поднося худую руку к тонким, ввалившимся губам. У другой бабы, молодой женщины лет двадцати пяти, глаза были красны и влажны, и все лицо опухло от плача; поравнявшись с нами, она перестала голосить и закрылась рукавом... Но вот покойник миновал нас, выбрался опять на дорогу, и опять раздалось ее жалобное, надрывающее душу пение. Безмолвно проводив глазами мерно колыхавшийся гроб, кучер мой обратился ко мне.

— Это Мартына-плотника хоронят,— заговорил он,— что с Рябой.

— А ты почему знаешь?

— Я по бабам узнал. Старая-то — его мать, а молодая — жена.

— Он болен был, что ли?

— Да... горячка... Третьего дня за дохтуром посылал управляющий, да дома дохтура не застали... А плотник был хороший; зашибал маненько, а хороший был плотник. Вишь, баба-то его как убивается... Ну, да ведь известно: у баб слезы-то некупленные. Бабьи слезы та же вода... Да.

И он нагнулся, пролез под поводом пристяжной и ухватился обеими руками за дугу.

— Однако,— заметил я,— что ж нам делать?

Кучер мой сперва уперся коленом в плечо коренной, тряхнул раза два дугой, поправил седёлку, потом опять пролез под поводом пристяжной и, толкнув ее мимоходом в морду, подошел к колесу — подошел и, не спуская с него взора, медленно достал из-под полы кафтана тавлинку, медленно вытащил за ремешок крышку, медленно всунул в тавлинку своих два толстых пальца (и два-то едва в ней уместились), помял-помял табак, перекосил заранее нос, понюхал с расстановкой, сопровождая каждый прием продолжительным кряхтением, и, болезненно щурясь и моргая прослезившимися глазами, погрузился в глубокое раздумье.

— Ну, что?— проговорил я наконец.

Кучер мой бережно вложил тавлинку в карман, надвинул шляпу себе на брови, без помощи рук, одним движением головы, и задумчиво полез на облучок.

— Куда же ты?— спросил я его не без изумления.

— Извольте садиться,— спокойно отвечал он и подобрал вожжи.

— Да как же мы поедем?

— Уж поедем-с.

— Да ось...

— Извольте садиться.

— Да ось сломалась...

— Сломалась-то она сломалась; ну, а до выселок доберемся... шагом, то есть. Тут вот за рощей направо есть выселки, Юдины-ми прозываются.

— И ты думаешь, мы доедем?

Кучер мой не удостоил меня ответом.

— Я лучше пешком пойду,— сказал я.

— Как угодно-с...

И он махнул кнутом. Лошади тронулись.

Мы действительно добрались до выселков, хотя правое переднее колесо едва держалось и необыкновенно странно вертелось. На одном пригорке оно чуть-чуть не слетело; но кучер мой закричал на него озлобленным голосом, и мы благополучно спустились.

Юдины выселки состояли из шести низеньких и маленьких избушек, уже успевших скривиться набок, хотя их, вероятно, поставили недавно: дворы не у всех были обнесены плетнем. Въезжая

в эти выселки, мы не встретили ни одной живой души; даже куриц не было видно на улице, даже собак; только одна, черная, с куцым хвостом, торопливо выскочила при нас из совершенно высохшего корыта, куда ее, должно быть, загнала жажда, и тотчас, без лая, опрометью бросилась под ворота. Я зашел в первую избу, отворил дверь в сени, окликнул хозяев — никто не отвечал мне. Я кликнул еще раз: голодное мяуканье раздалось за другой дверью. Я толкнул ее ногой: худая кошка шмыгнула мимо меня, сверкнув во тьме зелеными глазами. Я всунул голову в комнату, посмотрел: темно, дымно и пусто. Я отправился на двор, и там никого не было... В загородке теленок промычал; хромой серый гусь отковылял немного в сторону. Я перешел во вторую избу — и во второй избе ни души. Я на двор...

По самой середине ярко освещенного двора, на самом, как говорится, припеке, лежал, лицом к земле и накрывши голову армяком, как мне показалось, мальчик. В нескольких шагах от него, возле плохой тележонки, стояла, под соломенным навесом, худая лошаденка в оборванной сбруе. Солнечный свет, падая струями сквозь узкие отверстия обветшалого намета, пестрил небольшими светлыми пятнами ее косматую красно-гнедую шерсть. Тут же, в высокой скворечнице, болтали скворцы, с спокойным любопытством поглядывая вниз из своего воздушного домика. Я подошел к спящему, начал его будить...

Он поднял голову, увидал меня и тотчас вскочил на ноги... «Что, что надо? что такое?»— забормотал он спросонья.

Я не тотчас ему ответил: до того поразила меня его наружность. Вообразите себе карлика лет пятидесяти с маленьким, смуглым и сморщенным лицом, острым носиком, карими, едва заметными глазками и курчавыми, густыми черными волосами, которые, как шляпка на грибе, широко сидели на крошечной его головке. Все тело его было чрезвычайно тщедушно и худо, и решительно нельзя передать словами, до чего был необыкновенен и странен его взгляд.

— Что надо?— спросил он меня опять.

Я объяснил ему, в чем было дело, он слушал меня, не спуская с меня своих медленно моргавших глаз.

— Так нельзя ли нам новую ось достать?— сказал я наконец,— я бы с удовольствием заплатил.

— А вы кто такие? Охотники, что ли?— спросил он, окинув меня взором с ног до головы.

— Охотники.

— Пташек небесных стреляете небось?.. зверей лесных?.. И не грех вам божьих пташек убивать, кровь проливать неповинную?

Странный старичок говорил очень протяжно. Звук его голоса также изумил меня. В нем не только не слышалось ничего дряхлого,— он был удивительно сладок, молод и почти женски нежен.

— Оси у меня нет,— прибавил он после небольшого молчания,— эта вот не годится (он указал на свою тележку), у вас, чай, телега большая.

— А в деревне найти можно?

— Какая тут деревня!.. Здесь ни у кого нет... Да и дома нет никого: все на работе. Ступайте,— промолвил он вдруг и лег опять на землю.

Я никак не ожидал этого заключения.

— Послушай, старик,— заговорил я, коснувшись до его плеча,— сделай одолжение, помоги.

— Ступайте с богом! Я устал: в город ездил,— сказал он мне и потащил себе армяк на голову.

— Да сделай же одолжение,— продолжал я,— я... я заплачу.

— Не надо мне твоей платы.

— Да пожалуйста, старик...

Он приподнялся до половины и сел, скрестив свои тонкие ножки.

— Я бы тебя свел, пожалуй, на ссечки[1]. Тут у нас купцы рощу купили,— бог им судья, сводят рощу-то, и контору выстроили, бог им судья. Там бы ты у них ось и заказал или готовую купил.

— И прекрасно!— радостно воскликнул я.— Прекрасно!.. пойдем.

— Дубовую ось, хорошую,— продолжал он, не поднимаясь с места.

— А далеко до тех ссечек?

— Три версты.

— Ну что ж! Мы можем на твоей тележке доехать.

— Да нет...

— Ну, пойдем,— сказал я,— пойдем, старик! Кучер нас на улице дожидается.

Старик неохотно встал и вышел за мной на улицу. Кучер мой находился в раздраженном состоянии духа: он собрался было попоить лошадей, но воды в колодце оказалось чрезвычайно мало, и вкус ее был нехороший, а это, как говорят кучера́, первое дело... Однако при виде старика он осклабился, закивал головой и воскликнул:

— А, Касьянушка! здорово!

— Здорово, Ерофей, справедливый человек!— отвечал Касьян унылым голосом.

Я тотчас сообщил кучеру его предложение; Ерофей объявил свое согласие и въехал на двор. Пока он с обдуманной хлопотливостью отпрягал лошадей, старик стоял, прислонясь плечом к воротам, и невесело посматривал то на него, то на меня. Он как будто недоумевал: его, сколько я мог заметить, не слишком радовало наше внезапное посещение.

— А разве и тебя переселили? — спросил его вдруг Ерофей, снимая дугу.

— И меня.

— Эк!— проговорил мой кучер сквозь зубы.— Знаешь, Мартын-то, плотник... ты ведь рябовского Мартына знаешь?

---

[1] Срубленное место в лесу.

— Знаю.

— Ну, он умер. Мы сейчас его гроб повстречали.

Касьян вздрогнул.

— Умер?— проговорил он и потупился.

— Да, умер. Что ж ты его не вылечил, а? Ведь ты, говорят, лечишь, ты лекарка.

Мой кучер видимо потешался, глумился над стариком.

— А это твоя телега, что ли?— прибавил он, указывая на нее плечом.

— Моя.

— Ну, телега... телега!— повторил он и, взяв ее за оглобли, чуть не опрокинул кверху дном...— Телега!.. А на чем же вы на ссечки поедете?.. В эти оглобли нашу лошадь не впряжешь: наши лошади большие, а это что такое?

— А не знаю,— отвечал Касьян,— на чем вы поедете; разве вот на этом животике,— прибавил он со вздохом.

— На этом-то?— подхватил Ерофей и, подойдя к Касьяновой клячонке, презрительно ткнул ее третьим пальцем правой руки в шею.— Ишь,— прибавил он с укоризной,— заснула, ворона!

Я попросил Ерофея заложить ее поскорей. Мне самому захотелось съездить с Касьяном на ссечки: там часто водятся тетерева. Когда уже тележка была совсем готова, и я кое-как вместе с своей собакой уже уместился на ее покоробленном лубочном дне, и Касьян, сжавшись в комочек и с прежним унылым выражением на лице, тоже сидел на передней грядке,— Ерофей подошел ко мне и с таинственным видом прошептал:

— И хорошо сделали, батюшка, что с ним поехали. Ведь он такой, ведь он юродивец, и прозвище-то ему: Блоха. Я не знаю, как вы понять-то его могли...

Я хотел было заметить Ерофею, что до сих пор Касьян мне казался весьма рассудительным человеком, но кучер мой тотчас продолжал тем же голосом:

— Вы только смотрите, того, туда ли он вас привезет. Да ось-то сами извольте выбрать: поздоровее ось извольте взять... А что, Блоха,— прибавил он громко,— что, у вас хлебушком можно разжиться?

— Поищи, может, найдется,— отвечал Касьян, дернул вожжами, и мы покатили.

Лошадка его, к истинному моему удивлению, бежала очень недурно. В течение всей дороги Касьян сохранял упорное молчание и на мои вопросы отвечал отрывисто и нехотя. Мы скоро доехали до ссечек, а там добрались и до конторы, высокой избы, одиноко стоявшей над небольшим оврагом, на скорую руку перехваченным плотиной и превращенным в пруд. Я нашел в этой конторе двух молодых купеческих приказчиков, с белыми, как снег, зубами, сладкими глазами, сладкой и бойкой речью и сладко-плутоватой улыбочкой, сторговал у них ось и отправился на ссечки. Я думал, что Касьян останется при лошади, будет дожидаться меня, но он вдруг подошел ко мне.

— А что, пташек стрелять идешь?— заговорил он,— а?

— Да, если найду.

— Я пойду с тобой... Можно?

— Можно, можно.

И мы пошли. Вырубленного места было всего с версту. Я, признаюсь, больше глядел на Касьяна, чем на свою собаку. Недаром его прозвали Блохой. Его черная, ничем не прикрытая головка (впрочем, его волосы могли заменить любую шапку) так и мелькала в кустах. Он ходил необыкновенно проворно и словно все подпрыгивал на ходу, беспрестанно нагибался, срывал какие-то травки, совал их за пазуху, бормотал себе что-то под нос и все поглядывал на меня и на мою собаку, да таким пытливым, странным взглядом. В низких кустах, «в мелочах», и на ссечках часто держатся маленькие серые птички, которые то и дело перемещаются с деревца на деревцо и посвистывают, внезапно ныряя на лету. Касьян их передразнивал, перекликался с ними; поршок[1] полетел, чиликая, у него из-под ног — он зачиликал ему вслед; жаворонок стал спускаться над ним, трепеща крылами и звонко распевая,— Касьян подхватил его песенку. Со мной он все не заговаривал...

Погода была прекрасная, еще прекраснее, чем прежде; но жара все не унималась. По ясному небу едва-едва неслись высокие и редкие облака, изжелта-белые, как весенний запоздалый снег, плоские и продолговатые, как опустившиеся паруса. Их узорчатые края, пушистые и легкие, как хлопчатая бумага, медленно, но видимо изменялись с каждым мгновением; они таяли, эти облака, и от них не падало тени. Мы долго бродили с Касьяном по ссечкам. Молодые отпрыски, еще не успевшие вытянуться выше аршина, окружали своими тонкими, гладкими стебельками почерневшие, низкие пни; круглые губчатые наросты с серыми каймами, те самые наросты, из которых вываривают трут, лепились к этим пням; земляника пускала по ним свои розовые усики; грибы тут же тесно сидели семьями. Ноги беспрестанно путались и цеплялись в длинной траве, пресыщенной горячим солнцем; всюду рябило в глазах от резкого металлического сверкания молодых, красноватых листьев на деревцах; всюду пестрели голубые гроздья журавлиного гороху, золотые чашечки куриной слепоты, наполовину лиловые, наполовину желтые цветы Ивана-да-Марьи; кое-где, возле заброшенных дорожек, на которых следы колес обозначались полосами красной мелкой травки, возвышались кучки дров, потемневших от ветра и дождя, сложенные саженями; слабая тень падала от них косыми четвероугольниками,— другой тени не было нигде. Легкий ветерок то просыпался, то утихал: подует вдруг прямо в лицо и как будто разыграется,— все весело зашумит, закивает и задвижется кругом, грациозно закачаются гибкие концы папоротников,— обрадуешься ему... но вот уж он опять замер, и все опять стихло. Одни кузнечики дружно трещат, словно озлобленные,— и утомителен этот непрестанный, кислый и сухой звук. Он идет к неотступному жару полудня; он словно рожден им, словно вызван им из раскаленной земли.

---

[1] Молодой перепел.

Не наткнувшись ни на один выводок, дошли мы наконец до новых ссечек. Там недавно срубленные осины печально тянулись по земле, придавив собою и траву, и мелкий кустарник; на иных листья, еще зеленые, но уже мертвые, вяло свешивались с неподвижных веток; на других они уже засохли и покоробились. От свежих золотисто-белых щепок, грудами лежавших около ярко-влажных пней, веяло особенным, чрезвычайно приятным, горьким запахом. Вдали, ближе к роще, глухо стучали топоры, и по временам, торжественно и тихо, словно кланяясь и расширяя руки, спускалось кудрявое дерево...

Долго не находил я никакой дичи; наконец из широкого дубового куста, насквозь проросшего полынью, полетел коростель. Я ударил; он перевернулся на воздухе и упал. Услышав выстрел, Касьян быстро закрыл глаза рукой и не шевельнулся, пока я не зарядил ружье и не поднял коростеля. Когда же я отправился далее, он подошел к месту, где упала убитая птица, нагнулся к траве, на которую брызнуло несколько капель крови, покачал головой, пугливо взглянул на меня... Я слышал после, как он шептал: «Грех!.. Ах, вот это грех!»

Жара заставила нас наконец войти в рощу. Я бросился под высокий куст орешника, над которым молодой, стройный клен красиво раскинул свои легкие ветки. Касьян присел на толстый конец срубленной березы. Я глядел на него. Листья слабо колебались в вышине, и их жидко-зеленоватые тени тихо скользили взад и вперед по его тщедушному телу, кое-как закутанному в темный армяк, по его маленькому лицу. Он не поднимал головы. Наскучив его безмолвием, я лег на спину и начал любоваться мирной игрой перепутанных листьев на далеком светлом небе. Удивительно приятное занятие лежать на спине в лесу и глядеть вверх! Вам кажется, что вы смотрите в бездонное море, что оно широко расстилается *под* вами, что деревья не поднимаются от земли, но, словно корни огромных растений, спускаются, отвесно падают в те стеклянно-ясные волны; листья на деревьях то сквозят изумрудами, то сгущаются в золотистую, почти черную зелень. Где-нибудь далеко-далеко, оканчивая собою тонкую ветку, неподвижно стоит отдельный листок на голубом клочке прозрачного неба, и рядом с ним качается другой, напоминая своим движением игру рыбьего плёса, как будто движение то самовольное и не производится ветром. Волшебными подводными островами тихо наплывают и тихо проходят белые круглые облака, и вот вдруг все это море, этот лучезарный воздух, эти ветки и листья, облитые солнцем,— все заструится, задрожит беглым блеском, и поднимется свежее, трепещущее лепетанье, похожее на бесконечный мелкий плеск внезапно набежавшей зыби. Вы не двигаетесь — вы глядите: и нельзя выразить словами, как радостно, и тихо, и сладко становится на сердце. Вы глядите: та глубокая, чистая лазурь возбуждает на устах ваших улыбку, невинную, как она сама, как облака по небу, и как будто вместе с ними медлительной вереницей проходят по душе счастливые воспоминания, и все вам кажется, что взор ваш уходит дальше и дальше и тянет вас самих за собой в ту спокойную, сияющую

бездну, и невозможно оторваться от этой вышины, от этой глубины...

— Барин, а барин!— промолвил вдруг Касьян своим звучным голосом.

Я с удивлением приподнялся; до сих пор он едва отвечал на мои вопросы, а то вдруг сам заговорил.

— Что тебе?— спросил я.

— Ну, для чего ты пташку убил?— начал он, глядя мне прямо в лицо.

— Как для чего?.. Коростель — это дичь: его есть можно.

— Не для того ты убил его, барин: станешь ты его есть! Ты его для потехи своей убил.

— Да ведь ты сам небось гусей или куриц, например, ешь?

— Та птица богом определенная для человека, а коростель— птица вольная, лесная. И не он один: много ее, всякой лесной твари, и полевой, и речной твари, и болотной, и луговой, и верховой, и низовой — и грех ее убивать, и пускай она живет на земле до своего предела... А человеку пища положена другая; пища ему другая и другое питье: хлеб — божья благодать, да воды небесные, да тварь ручная от древних отцов.

Я с удивлением поглядел на Касьяна. Слова его лились свободно; он не искал их, он говорил с тихим одушевлением и кроткою важностию, изредка закрывая глаза.

— Так и рыбу, по-твоему, грешно убивать?— спросил я.

— У рыбы кровь холодная,— возразил он с уверенностию,— рыба тварь немая. Она не боится, не веселится: рыба тварь бессловесная. Рыба не чувствует, в ней и кровь не живая... Кровь,— продолжал он, помолчав,— святое дело кровь! Кровь солнышка божия не видит, кровь от свету прячется... великий грех показать свету кровь, великий грех и страх... Ох, великий!

Он вздохнул и потупился. Я, признаюсь, с совершенным изумлением посмотрел на странного старика. Его речь звучала не мужичьей речью: так не говорят простолюдины, и краснобаи так не говорят. Этот язык, обдуманно-торжественный и странный... Я не слыхал ничего подобного.

— Скажи, пожалуйста, Касьян,— начал я, не спуская глаз с его слегка раскрасневшегося лица,— чем ты промышляешь?

Он не тотчас ответил на мой вопрос. Его взгляд беспокойно забегал на мгновение.

— Живу, как господь велит,— промолвил он наконец,— а чтобы, то есть, промышлять — нет, ничем не промышляю. Неразумен я больно, с мальства; работаю пока мочно,— работник-то я плохой... где мне! Здоровья нет, и руки глупы. Ну, весной соловьев ловлю.

— Соловьев ловишь?.. А как же ты говорил, что всякую лесную, и полевую, и прочую там тварь не надо трогать?

— Убивать ее не надо, точно; смерть и так свое возьмет. Вот хоть бы Мартын-плотник: жил Мартын-плотник, и не долго жил и помер; жена его теперь убивается о муже, о детках малых... Против смерти ни человеку, ни твари не слукавить. Смерть и не бежит, да и от нее не убежишь; да помогать ей не должно... А я со-

ловушек не убиваю,— сохрани господи! Я их не на муку ловлю, не на погибель их живота, а для удовольствия человеческого, на утешение и веселье.

— Ты в Курск их ловить ходишь?

— Хожу я и в Курск и подале хожу, как случится. В болотах ночую да в залесьях, в поле ночую один, во глуши: тут куличьки рассвистятся, тут зайцы кричат, тут селезни стрекочут... По вечеркам замечаю, по утренничкам выслушиваю, по зарям обсыпаю сеткой кусты... Иной соловушко так жалостно поет, сладко... жалостно даже.

— И продаешь ты их?

— Отдаю добрым людям.

— А что ж ты еще делаешь?

— Как делаю?

— Чем ты занят?

Старик помолчал.

— Ничем я этак не занят... Работник я плохой. Грамоте, однако, разумею.

— Ты грамотный?

— Разумею грамоте. Помог господь да добрые люди.

— Что, ты семейный человек?

— Нетути, бессемейный.

— Что так?.. Перемерли, что ли?

— Нет, а так: задачи в жизни не вышло. Да это всё под богом, все мы под богом ходим; а справедлив должен быть человек — вот что! Богу угоден, то есть.

— И родни у тебя нет?

— Есть... да... так...

Старик замялся.

— Скажи, пожалуйста, — начал я, — мне послышалось, мой кучер у тебя спрашивал, что, дескать, отчего ты не вылечил Мартына? Разве ты умеешь лечить?

— Кучер твой справедливый человек, — задумчиво отвечал мне Касьян, — а тоже не без греха. Лекаркой меня называют... Какая я лекарка!.. и кто может лечить? Это все от бога. А есть... есть травы, цветы есть: помогают, точно. Вот хоть череда, например, трава добрая для человека; вот подорожник тоже; об них и говорить не зазорно: чистые травки — божии. Ну, а другие не так: и помогают-то они, а грех; и говорить о них грех. Еще с молитвой разве... Ну, конечно, есть и слова такие... А кто верует — спасется, — прибавил он, понизив голос.

— Ты ничего Мартыну не давал? — спросил я.

— Поздно узнал, — отвечал старик. — Да что! Кому как на роду написано. Не жилец был плотник Мартын, не жилец на земле: уж это так. Нет, уж какому человеку не жить на земле, того и солнышко не греет, как другого, и хлебушек тому не впрок, — словно что его отзывает... Да; упокой господь его душу!

— Давно вас переселили к нам? — спросил я после небольшого молчания.

Касьян встрепенулся.

— Нет, недавно: года четыре. При старом барине мы всё жили на своих прежних местах, а вот опека переселила. Старый барин у нас был кроткая душа, смиренник, — царство ему небесное! Ну, опека, конечно, справедливо рассудила; видно, уж так пришлось.

— А вы где прежде жили?

— Мы с Красивой Мечи.

— Далеко это отсюда?

— Верст сто.

— Что ж, там лучше было?

— Лучше... лучше. Там места привольные, речные, гнездо наше; а здесь теснота, сухмень... Здесь мы осиротели. Там у нас, на Красивой-то на Мечи, взойдешь ты на холм, взойдешь — и, господи боже мой, что это? а?.. И река-то, и луга, и лес; а там церковь, а там опять пошли луга. Далече видно, далече. Вот как далеко видно... Смотришь, смотришь, ах ты, право! Ну, здесь, точно, земля лучше; суглинок, хороший суглинок, говорят крестьяне; да с меня хлебушка-то всюду вдоволь народится.

— А что, старик, скажи правду, тебе, чай, хочется на родине-то побывать?

— Да, посмотрел бы. А впрочем, везде хорошо. Человек я бессемейный, непосед. Да и что! много, что ли, дома-то высидишь? А вот как пойдешь, как пойдешь, — подхватил он, возвысив голос, — и полегчит, право. И солнышко на тебя светит, и богу-то ты видней, и поется-то ладнее. Тут, смотришь, трава какая растет; ну, заметишь — сорвешь. Вода тут бежит, например, ключевая, родник, святая вода; ну, напьешься — заметишь тоже. Птицы поют небесные... А то за Курском пойдут степи, этакие степные места, вот удивленье, вот удовольствие человеку, вот раздолье-то, вот божия-то благодать! И идут они, люди сказывают, до самых теплых морей, где живет птица Гамаюн сладкогласная, и с дерев лист ни зимой не сыплется, ни осенью, и яблоки растут золотые на серебряных ветках, и живет всяк человек в довольстве и справедливости... И вот уж я бы туда пошел... Ведь я мало ли куда ходил! И в Ромён ходил, и в Синбирск — славный град, и в самую Москву — золотые маковки; ходил на Оку-кормилицу, и на Цну-голубку, и на Волгу-матушку, и много людей видал, добрых хрестьян, и в городах побывал честных... Ну, вот пошел бы я туда... и вот... и уж и... И не один я, грешный... много других хрестьян в лаптях ходят, по миру бродят, правды ищут... да!.. А то что дома-то, а? Справедливости в человеке нет, — вот оно что...

Эти последние слова Касьян произнес скороговоркой, почти невнятно; потом он еще что-то сказал, чего я даже расслышать не мог, а лицо его такое странное приняло выражение, что мне невольно вспомнилось название «юродивца», данное ему Ерофеем. Он потупился, откашлянулся и как будто пришел в себя.

— Эко солнышко! — промолвил он вполголоса, — эка благодать, господи! эка теплынь в лесу!

Он повел плечами, помолчал, рассеянно глянул и запел потихоньку. Я не мог уловить всех слов его протяжной песенки; следующие послышались мне:

А зовут меня Касьяном,
А по прозвищу Блоха...

«Э! — подумал я,— да он сочиняет...»

Вдруг он вздрогнул и умолк, пристально всматриваясь в чащу леса. Я обернулся и увидел маленькую крестьянскую девочку, лет восьми, в синем сарафанчике, с клетчатым платком на голове и плетеным кузовком на загорелой голенькой руке. Она, вероятно, никак не ожидала нас встретить; как говорится, наткнулась на нас, и стояла неподвижно в зеленой чаще орешника, на тенистой лужайке, пугливо посматривая на меня своими черными глазами. Я едва успел разглядеть ее: она тотчас нырнула за дерево.

— Аннушка! Аннушка! подь сюда, не бойся, — кликнул старик ласково.

— Боюсь, — раздался тонкий голосок.

— Не бойся, не бойся, поди ко мне.

Аннушка молча покинула свою засаду, тихо обошла кругом, — ее детские ножки едва шумели по густой траве, — и вышла из чащи подле самого старика. Это была девушка не восьми лет, как мне показалось сначала, по небольшому ее росту, — но тринадцати или четырнадцати. Все ее тело было мало и худо, но очень стройно и ловко, а красивое личико поразительно сходно с лицом самого Касьяна, хотя Касьян красавцем не был. Те же острые черты, тот же странный взгляд, лукавый и доверчивый, задумчивый и проницательный, и движенья те же... Касьян окинул ее глазами; она стояла к нему боком.

— Что, грибы собирала? — спросил он.

— Да, грибы, — отвечала она с робкой улыбкой.

— И много нашла?

— Много. (Она быстро глянула на него и опять улыбнулась.)

— И белые есть?

— Есть и белые.

— Покажь-ка, покажь... (Она спустила кузов с руки и приподняла до половины широкий лист лопуха, которым грибы были покрыты.) Э! — сказал Касьян, нагнувшись над кузовом, — да какие славные! Ай да Аннушка!

— Это твоя дочка, Касьян, что ли? — спросил я. (Лицо Аннушки слабо вспыхнуло.)

— Нет, так, сродственница, — проговорил Касьян с притворной небрежностью. — Ну, Аннушка, ступай, — прибавил он тотчас, — ступай с богом. Да смотри...

— Да зачем же ей пешком идти? — прервал я его. — Мы бы ее довезли...

Аннушка загорелась, как маков цвет, ухватилась обеими руками за веревочку кузовка и тревожно поглядела на старика.

— Нет, дойдет, — возразил он тем же равнодушно-ленивым голосом. — Что ей?.. Дойдет и так... Ступай.

Аннушка проворно ушла в лес. Касьян поглядел за нею вслед, потом потупился и усмехнулся. В этой долгой усмешке, в немногих словах, сказанных им Аннушке, в самом звуке его голоса, когда он говорил с ней, была неизъяснимая, страстная любовь и нежность. Он опять поглядел в сторону, куда она пошла, опять улыбнулся и, потирая себе лицо, несколько раз покачал головой.

— Зачем ты ее так скоро отослал? — спросил я его. — Я бы у нее грибы купил...

— Да вы там, все равно, дома купите, когда захотите, — отвечал он мне, в первый раз употребляя слово «вы».

— А она у тебя прехорошенькая.

— Нет... какое... так... — ответил он, как бы нехотя, и с того же мгновенья впал в прежнюю молчаливость.

Видя, что все мои усилия заставить его опять разговориться оставались тщетными, я отправился на ссечки. Притом же и жара немного спала; но неудача, или, как говорят у нас, незадача моя продолжалась, и я с одним коростелем и с новой осью вернулся в выселки. Уже подъезжая ко двору, Касьян вдруг обернулся ко мне.

— Барин, а барин,— заговорил он, — ведь я виноват перед тобой; ведь это я тебе дичь-то всю отвел.

— Как так?

— Да уж это я знаю. А вот и ученый пес у тебя, и хороший, а ничего не смог. Подумаешь, люди-то, люди, а? Вот и зверь, а что из него сделали?

Я бы напрасно стал убеждать Касьяна в невозможности «заговорить» дичь и потому ничего не отвечал ему. Притом же мы тотчас повернули в ворота.

В избе Аннушки не было; она уже успела прийти и оставить кузов с грибами. Ерофей приладил новую ось, подвергнув ее сперва строгой и несправедливой оценке; а через час я выехал, оставив Касьяну немного денег, которые он сперва было не принял, но потом, подумав и подержав их на ладони, положил за пазуху. В течение этого часа он не произнес почти ни одного слова; он попрежнему стоял, прислонясь к воротам, не отвечал на укоризны моего кучера и весьма холодно простился со мной.

Я, как только вернулся, успел заметить, что Ерофей мой снова находился в сумрачном расположении духа... И в самом деле, ничего съестного он в деревне не нашел, водопой для лошадей был плохой. Мы выехали. С неудовольствием, выражавшимся даже на его затылке, сидел он на козлах и страх желал заговорить со мной, но, в ожидании первого моего вопроса, ограничивался легким ворчаньем вполголоса и поучительными, а иногда язвительными речами, обращенными к лошадям. «Деревня! — бормотал он, — а еще деревня! Спросил хошь квасу — и квасу нет... Ах ты господи! А вода — просто тьфу! (Он плюнул вслух.) Ни огурцов, ни квасу — ничего. Ну ты, — прибавил он громко, обращаясь к правой пристяжной, — я тебя знаю, потворница этакая! Любишь себе потворствовать небось... (И он ударил ее кнутом.) Совсем

отлукавилась лошадь, а ведь какой прежде согласный был живот... Ну-ну, оглядывайс*и*!..»

— Скажи, пожалуйста, Ерофей, — заговорил я, — что за человек этот Касьян?

Ерофей не скоро мне отвечал: он вообще человек был обдумывающий и неторопливый; но я тотчас мог догадаться, что мой вопрос его развеселил и успокоил.

— Блоха-то? — заговорил он наконец, передернув вожжами. — Чудной человек: как есть юродивец, такого чудно́го человека и нескоро найдешь другого. Ведь, например, ведь он ни дать ни взять наш вот саврасый: от рук отбился тоже... от работы, то есть... Ну, конечно, что он за работник, — в чем душа держится, — ну, а все-таки... Ведь он сызмальства так. Сперва он со дядьями со своими в извоз ходил: они у него были троечные; ну, а потом, знать, наскучило — бросил. Стал дома жить, да и дома-то не усиживался: такой беспокойный,— уж точно блоха. Барин ему попался, спасибо, добрый — не принуждал. Вот он так с тех пор все и болтается, что овца беспредельная. И ведь такой удивительный, бог его знает: то молчит, как пень, то вдруг заговорит, — а что заговорит, бог его знает. Разве это манер? Это не манер. Несообразный человек, как есть. Поет, однако, хорошо. Этак важно — ничего, ничего.

— А что, он лечит, точно?

— Какое лечит!.. Ну, где ему! Таковский он человек. Меня, однако, от золотухи вылечил... Где ему! глупый человек, как есть, — прибавил он, помолчав.

— Ты его давно знаешь?

— Давно. Мы им по Сычовке соседи, на Красивой-то на Мечи.

— А что эта, нам в лесу попалась девушка, Аннушка, что, она ему родня?

Ерофей посмотрел на меня через плечо и осклабился во весь рот.

— Хе!.. да, сродни. Она сирота; матери у ней нету, да и неизвестно, кто ее мать-то была. Ну, а должно быть, что сродственница: больно на него смахивает... Ну, живет у него. Вострая девка, неча сказать; хорошая девка, и он, старый, в ней души не чает: девка хорошая. Да ведь он, вы вот не поверите, а ведь он, пожалуй, Аннушку-то свою грамоте учить вздумает. Ей-ей, от него это станется: уж такой он человек неабнакавенный. Непостоянный такой, несоразмерный даже... Э-э-э! — вдруг перервал самого себя мой кучер и, остановив лошадей, нагнулся набок и принялся нюхать воздух. — Никак, гарью пахнет? Так и есть! Уж эти мне новые оси... А, кажется, на что мазал... Пойти водицы добыть: вот кстати и прудик.

И Ерофей медлительно слез с облучка, отвязал ведерку, пошел к пруду и, вернувшись, не без удовольствия слушал, как шипела втулка колеса, внезапно охваченная водою... Раз шесть приходилось ему на каких-нибудь десяти верстах обливать разгоряченную ось, и уже совсем завечерело, когда мы возвратились домой.

БУРМИСТР

Верстах в пятнадцати от моего именья живет один мне знакомый человек, молодой помещик, гвардейский офицер в отставке, Аркадий Павлыч Пеночкин. Дичи у него в поместье водится много, дом построен по плану французского архитектора, люди одеты по-английски, обеды задает он отличные, принимает гостей ласково, а все-таки неохотно к нему едешь. Он человек рассудительный и положительный, воспитанье получил, как водится, отличное, служил, в высшем обществе потерся, а теперь хозяйством занимается с большим успехом. Аркадий Павлыч, говоря собственными его словами, строг, но справедлив, о благе подданных своих печется и наказывает их — для их же блага. «С ними надобно обращаться, как с детьми,— говорит он в таком случае,— невежество, mon cher; il faut prendre cela en considération»[1]. Сам же, в случае так называемой печальной необходимости, резких и порывистых движений избегает и голоса возвышать не любит, но более тычет рукою прямо, спокойно приговаривая: «Ведь я тебя просил, любезный мой» или: «Что с тобою, друг мой, опомнись», — причем только слегка стискивает зубы и кривит рот. Роста он небольшого, сложен щеголевато, собою весьма недурен, руки и ногти в большой опрятности содержит; с его румяных губ и щек так и пышет здоровьем. Смеется он звучно и беззаботно, приветливо щурит светлые, карие глаза. Одевается он отлично и со вкусом; выписывает французские книги, рисунки и газеты, но до чтения небольшой охотник: «Вечного жида» едва осилил. В карты играет мастерски. Вообще Аркадий Павлыч считается одним из образованнейших дворян и завиднейших женихов нашей губернии; дамы от него без ума и в особенности хвалят его манеры. Он удивительно хорошо себя держит, осторожен, как кошка, и ни в какую историю замешан отроду не бывал, хотя при случае дать себя знать и робкого человека озадачить и срезать любит. Дурным обществом решительно брезгает — скомпрометироваться боится; зато в веселый час объявляет себя поклонником Эпикура, хотя вообще о философии отзывается дурно, называя ее туманной пищей германских умов, а иногда и просто чепухой. Музыку он тоже любит; за картами поет сквозь зубы, но с чувством; из Лючии и Сомнамбулы тоже иное помнит, но что-то все высоко забирает. По зимам он ездит в Петербург. Дом у него в порядке необыкновенном; даже кучера подчинились его влиянию и каждый день не только вытирают хомуты и армяки чистят, но и самим себе лицо моют. Дворовые люди Аркадия Павлыча посматривают, правда, что-то исподлобья, — но у нас на Руси угрюмого от заспанного не отличишь. Аркадий Павлыч говорит голосом мягким и приятным, с расстановкой и как бы с удовольствием пропуская каждое слово сквозь свои прекрасные, раздушенные усы; также употребляет много французских выражений, как-то: «Mais c'est

---

[1] дорогой мой; надо принять это во внимание (*фр.*).

impayable!»[1], «Mais comment donc!»[2] и пр. Со всем тем я, по крайней мере, не слишком охотно его посещаю, и если бы не тетерева и не куропатки, вероятно, совершенно бы с ним раззнакомился. Странное какое-то беспокойство овладевает вами в его доме; даже комфорт вас не радует, и всякий раз, вечером, когда появится перед вами завитый камердинер в голубой ливрее с гербовыми пуговицами и начнет подобострастно стягивать с вас сапоги, вы чувствуете, что если бы вместо его бледной и сухопарой фигуры внезапно предстали перед вами изумительно широкие скулы и невероятно тупой нос молодого дюжего парня, только что взятого барином от сохи, но уже успевшего в десяти местах распороть по швам недавно пожалованный нанковый кафтан, — вы бы обрадовались несказанно и охотно бы подверглись опасности лишиться вместе с сапогом и собственной вашей ноги вплоть до самого вертлюга...

Несмотря на мое нерасположение к Аркадию Павлычу, пришлось мне однажды провести у него ночь. На другой день я рано поутру велел заложить свою коляску, но он не хотел меня отпустить без завтрака на английский манер и повел к себе в кабинет. Вместе с чаем подали нам котлеты, яйца всмятку, масло, мед, сыр и пр. Два камердинера, в чистых белых перчатках, быстро и молча предупреждали наши малейшие желания. Мы сидели на персидском диване. На Аркадии Павлыче были широкие шелковые шаровары, черная бархатная куртка, красивый фес с синей кистью и китайские желтые туфли без задков. Он пил чай, смеялся, рассматривал свои ногти, курил, подкладывал себе подушки под бок и вообще чувствовал себя в отличном расположении духа. Позавтракавши плотно и с видимым удовольствием, Аркадий Павлыч налил себе рюмку красного вина, поднес ее к губам и вдруг нахмурился.

— Отчего вино не нагрето? — спросил он довольно резким голосом одного из камердинеров.

Камердинер смешался, остановился как вкопанный и побледнел.

— Ведь я тебя спрашиваю, любезный мой? — спокойно продолжал Аркадий Павлыч, не спуская с него глаз.

Несчастный камердинер помялся на месте, покрутил салфеткой и не сказал ни слова. Аркадий Павлыч потупил голову и задумчиво посмотрел на него исподлобья.

— Pardon, mon cher, — промолвил он с приятной улыбкой, дружески коснувшись рукой до моего колена, и снова уставился на камердинера. — Ну, ступай, — прибавил он после небольшого молчания, поднял брови и позвонил.

Вошел человек, толстый, смуглый, черноволосый, с низким лбом и совершенно заплывшими глазами.

— Насчет Федора... распорядиться, — проговорил Аркадий Павлыч вполголоса и с совершенным самообладанием.

---

[1] Забавно! (*фр.*)
[2] Как же! (*фр.*)

— Слушаю-с, — ответил толстый и вышел.

— Voilà, mon cher, les désagréments de la campagne[1], — весело заметил Аркадий Павлыч.— Да куда же вы? Останьтесь, посидите еще немного.

— Нет, — отвечал я, — мне пора.

— Всё на охоту! Ох, уж эти мне охотники! Да вы куда теперь едете?

— За сорок верст отсюда, в Рябово.

— В Рябово? Ах, боже мой, да в таком случае я с вами поеду. Рябово всего в пяти верстах от моей Шипиловки, а я таки давно в Шипиловке не бывал: все времени улучить не мог. Вот как кстати пришлось: вы сегодня в Рябове поохотитесь, а вечером ко мне. Ce sera charmant[2]. Мы вместе поужинаем, — мы возьмем с собою повара, — вы у меня переночуете. Прекрасно! прекрасно! — прибавил он, не дождавшись моего ответа. C'est arrangé...[3] Эй, кто там? Коляску нам велите заложить, да поскорей. Вы в Шипиловке не бывали? Я бы посовестился предложить вам провести ночь в избе моего бурмистра, да вы, я знаю, неприхотливы и в Рябове в сенном бы сарае ночевали... Едем, едем!

И Аркадий Павлыч запел какой-то французский романс.

— Ведь вы, может быть, не знаете, — продолжал он, покачиваясь на обеих ногах, — у меня там мужики на оброке. Конституция — что будешь делать? Однако оброк мне платят исправно. Я бы их, признаться, давно на барщину ссадил, да земли мало! Я и так удивляюсь, как они концы с концами сводят. Впрочем, c'est leur affaire[4]. Бурмистр у меня там молодец, une forte tête[5], государственный человек! Вы увидите... Как, право, это хорошо пришлось!

Делать было нечего. Вместо девяти часов утра мы выехали в два. Охотники поймут мое нетерпенье. Аркадий Павлыч любил, как он выражался, при случае побаловать себя и забрал с собою такую бездну белья, припасов, платья, духов, подушек и разных несессеров, что иному бережливому и владеющему собою немцу хватило бы всей этой благодати на год. При каждом спуске с горы Аркадий Павлыч держал краткую, но сильную речь кучеру, из чего я мог заключить, что мой знакомец порядочный трус. Впрочем, путешествие совершилось весьма благополучно; только на одном недавно починенном мостике телега с поваром завалилась, и задним колесом ему придавило желудок.

Аркадий Павлыч, при виде падения доморощенного Карема, испугался не на шутку и тотчас велел спросить: целы ли у него руки? Получив же ответ утвердительный, немедленно успокоился. Со всем тем, ехали мы довольно долго; я сидел в одной коляске с Аркадием Павлычем и под конец путешествия почувствовал тоску смертельную, тем более, что в течение нескольких часов

---

[1] Вот, дорогой мой, неприятности деревенской жизни (*фр.*).
[2] Это будет прелестно (*фр.*).
[3] Все устроено... (*фр.*)
[4] это их дело (*фр.*).
[5] умная голова (*фр.*).

мой знакомец совершенно выдохся и начинал уже либеральничать. Наконец мы приехали, только не в Рябово, а прямо в Шипиловку; как-то оно так вышло. В тот день я и без того уже поохотиться не мог и потому скрепя сердце покорился своей участи.

Повар приехал несколькими минутами ранее нас и, по-видимому, уже успел распорядиться и предупредить кого следовало, потому что при самом въезде в околицу встретил нас староста (сын бурмистра), дюжий и рыжий мужик в косую сажень ростом, верхом и без шапки, в новом армяке нараспашку. «А где же Софрон?» — спросил его Аркадий Павлыч. Староста сперва проворно соскочил с лошади, поклонился барину в пояс, промолвил: «Здравствуйте, батюшка Аркадий Павлыч», — потом приподнял голову, встряхнулся и доложил, что Софрон отправился в Перов, но что за ним уже послали. «Ну, ступай за нами»,— сказал Аркадий Павлыч. Староста отвел из приличия лошадь в сторону, взвалился на нее и пустился рысцой за коляской, держа шапку в руке. Мы поехали по деревне. Несколько мужиков в пустых телегах попались нам навстречу; они ехали с гумна и пели песни, подпрыгивая всем телом и болтая ногами на воздухе; но при виде нашей коляски и старосты внезапно умолкли, сняли свои зимние шапки (дело было летом) и приподнялись, как бы ожидая приказаний. Аркадий Павлыч милостиво им поклонился. Тревожное волнение видимо распространялось по селу. Бабы в клетчатых поневах швыряли щепками в недогадливых или слишком усердных собак; хромой старик с бородой, начинавшейся под самыми глазами, оторвал недопоенную лошадь от колодезя, ударил ее неизвестно за что по боку, а там уже поклонился. Мальчишки в длинных рубашонках с воплем бежали в избы, ложились брюхом на высокий порог, свешивали головы, закидывали ноги кверху и таким образом весьма проворно перекатывались за дверь, в темные сени, откуда уже и не показывались. Даже курицы стремились ускоренной рысью в подворотню; один бойкий петух с черной грудью, похожей на атласный жилет, и красным хвостом, закрученным на самый гребень, остался было на дороге и уже совсем собрался кричать, да вдруг сконфузился и тоже побежал. Изба бурмистра стояла в стороне от других, посреди густого зеленого конопляника. Мы остановились перед воротами. Г-н Пеночкин встал, живописно сбросил с себя плащ и вышел из коляски, приветливо озираясь кругом. Бурмистрова жена встретила нас с низкими поклонами и подошла к барской ручке. Аркадий Павлыч дал ей нацеловаться вволю и взошел на крыльцо. В сенях, в темном углу, стояла старостиха и тоже поклонилась, но к руке подойти не дерзнула. В так называемой холодной избе — из сеней направо — уже возились две другие бабы; они выносили оттуда всякую дрянь, пустые жбаны, одеревенелые тулупы, масленые горшки, люльку с кучей тряпок и пестрым ребенком, подметали банными вениками сор. Аркадий Павлыч выслал их вон и поместился на лавке под образами. Кучера начали вносить сундуки, ларцы и прочие удобства, всячески стараясь умерить стук своих тяжелых сапогов.

Между тем Аркадий Павлыч расспрашивал старосту об урожае, посеве и других хозяйственных предметах. Староста отвечал удовлетворительно, но как-то вяло и неловко, словно замороженными пальцами кафтан застегивал. Он стоял у дверей и то и дело сторонился и оглядывался, давая дорогу проворному камердинеру. Из-за его могущественных плеч удалось мне увидеть, как бурмистрова жена в сенях втихомолку колотила какую-то другую бабу. Вдруг застучала телега и остановилась перед крыльцом: вошел бурмистр.

Этот, по словам Аркадия Павлыча, государственный человек был роста небольшого, плечист, сед и плотен, с красным носом, маленькими голубыми глазами и бородой в виде веера. Заметим кстати, что с тех пор, как Русь стоит, не бывало еще на ней примера раздобревшего и разбогатевшего человека без окладистой бороды; иной весь свой век носил бородку жидкую, клином,— вдруг, смотришь, обложился кругом словно сияньем, — откуда волос берется! Бурмистр, должно быть, в Перове подгулял: и лицо-то у него отекло порядком, да и вином от него попахивало.

— Ах вы, отцы наши, милостивцы вы наши, — заговорил он нараспев и с таким умилением на лице, что вот-вот, казалось, слезы брызнут, — насилу-то изволили пожаловать!.. Ручку, батюшка, ручку, — прибавил он, уже загодя протягивая губы.

Аркадий Павлыч удовлетворил его желание.

— Ну, что, брат Софрон, каково у тебя дела идут? — спросил он ласковым голосом.

— Ах вы, отцы наши, — воскликнул Софрон, — да как же им худо идти, делам-то! Да ведь вы, наши отцы, вы, милостивцы, деревеньку нашу просветить изволили приездом-то своим, осчастливили по гроб дней. Слава тебе господи, Аркадий Павлыч, слава тебе господи! Благополучно обстоит все милостью вашей.

Тут Софрон помолчал, поглядел на барина и, как бы снова увлеченный порывом чувства (притом же и хмель брал свое), в другой раз попросил руки и запел пуще прежнего:

— Ах вы, отцы наши, милостивцы... и... уж что! Ей-богу, совсем дураком от радости стал... Ей-богу, смотрю да не верю... Ах вы, отцы наши!

Аркадий Павлыч глянул на меня, усмехнулся и спросил: «N'est-ce pas que c'est touchant?»[1]

— Да, батюшка, Аркадий Павлыч, — продолжал неугомонный бурмистр, — как же вы это? Сокрушаете вы меня совсем, батюшка; известить меня не изволили о вашем приезде-то. Где же вы ночку-то проведете? Ведь тут нечистота, сор...

— Ничего, Софрон, ничего, — с улыбкой отвечал Аркадий Павлыч, — здесь хорошо.

— Да ведь, отцы вы наши, — для кого хорошо? Для нашего брата, мужика, хорошо; а ведь вы... ах вы, отцы мои, милостивцы, ах вы, отцы мои!.. Простите меня, дурака, с ума спятил, ей-богу, одурел вовсе.

---

[1] Не правда ли, это трогательно? (*фр.*)

Между тем подали ужин; Аркадий Павлыч начал кушать. Сына своего старик прогнал — дескать, духоты напущаешь.

— Ну что, размежевался, старина? — спросил г-н Пеночкин, который явно желал подделаться под мужицкую речь и мне подмигивал.

— Размежевались, батюшка, всё твоею милостью. Третьего дня сказку подписали. Хлыновские-то сначала поломались... поломались, отец, точно. Требовали... требовали... и бог знает, чего требовали; да ведь дурачье, батюшка, народ глупый. А мы, батюшка, милостью твоею благодарность заявили и Миколая Миколаича посредственника удоблетворили; всё по твоему приказу действовали, батюшка; как ты изволил приказать, так мы и действовали, и с ведома Егора Дмитрича всё действовали.

— Егор мне докладывал, — важно заметил Аркадий Павлыч.

— Как же, батюшка, Егор Дмитрич, как же.

— Ну, и стало быть, вы теперь довольны?

Софрон только того и ждал.

— Ах вы, отцы наши, милостивцы наши! — запел он опять... — Да помилуйте вы меня... да ведь мы за вас, отцы наши, денно и нощно господу богу молимся... Земли, конечно, маловато...

Пеночкин перебил его:

— Ну, хорошо, хорошо, Софрон, знаю, ты мне усердный слуга... А что, как умолот?

Софрон вздохнул.

— Ну, отцы вы наши, умолот-то не больно хорош. Да что, батюшка Аркадий Павлыч, позвольте вам доложить, дельцо какое вышло. (Тут он приблизился, разводя руками, к господину Пеночкину, нагнулся и прищурил один глаз.) Мертвое тело на нашей земле оказалось.

— Как так?

— И сам ума не приложу, батюшка, отцы вы наши: видно, враг попутал. Да, благо, подле чужой межи оказалось; а только, что греха таить, на нашей земле. Я его тотчас на чужой-то клин и приказал стащить, пока можно было, да караул приставил и своим заказал: молчать! — говорю. А становому на всякий случай объяснил: вот какие порядки, говорю; да чайком его, да благодарность... Ведь что, батюшка, думаете? Ведь осталось у чужаков на шее; а ведь мертвое тело, что двести рублев — как калач.

Г-н Пеночкин много смеялся уловке своего бурмистра и несколько раз сказал мне, указывая на него головой: «Quel gaillard[1], а?»

Между тем на дворе совсем стемнело; Аркадий Павлыч велел со стола прибирать и сена принести. Камердинер постлал нам простыни, разложил подушки; мы легли. Софрон ушел к себе, получив приказание на следующий день. Аркадий Павлыч, засыпая, еще потолковал немного об отличных качествах русского мужика и тут же заметил мне, что со времени управления Софрона за шипиловскими крестьянами не водится ни гроша недоимки...

[1] Каков молодец? (*фр.*)

Сторож заколотил в доску; ребенок, видно еще не успевший проникнуться чувством должного самоотверженья, запищал где-то в избе... Мы заснули.

На другой день утром мы встали довольно рано. Я было собрался ехать в Рябово, но Аркадий Павлыч желал показать мне свое именье и упросил меня остаться. Я и сам был не прочь убедиться на деле в отличных качествах государственного человека — Софрона. Явился бурмистр. На нем был синий армяк, подпоясанный красным кушаком. Говорил он гораздо меньше вчерашнего, глядел зорко и пристально в глаза барину, отвечал складно и дельно. Мы вместе с ним отправились на гумно. Софронов сын, трехаршинный староста, по всем признакам человек весьма глупый, также пошел за нами, да еще присоединился к нам земский Федосеич, отставной солдат с огромными усами и престранным выражением лица: точно он весьма давно тому назад чему-то необыкновенно удивился да с тех пор уж и не пришел в себя. Мы осмотрели гумно, ригу, овины, сараи, ветряную мельницу, скотный двор, зеленя, конопляники; все было действительно в отличном порядке, одни унылые лица мужиков приводили меня в некоторое недоумение. Кроме полезного, Софрон заботился еще о приятном: все канавы обсадил ракитником, между скирдами на гумне дорожки провел и песочком посыпал, на ветряной мельнице устроил флюгер в виде медведя с разинутой пастью и красным языком, к кирпичному скотному двору прилепил нечто вроде греческого фронтона и под фронтоном белилами надписал: «Пастроен вселе Шипилофке втысеча восем Сод саракавом году. Сей скотный дфор». — Аркадий Павлыч разнежился совершенно, пустился излагать мне на французском языке выгоды оброчного состоянья, причем, однако, заметил, что барщина для помещиков выгоднее, — да мало ли чего нет!.. Начал давать бурмистру советы, как сажать картофель, как для скотины корм заготовлять и пр. Софрон выслушивал барскую речь со вниманием, иногда возражал, но уже не величал Аркадия Павлыча ни отцом, ни милостивцем и все напирал на то, что земли-де у них маловато, прикупить бы не мешало. «Что ж, купите, — говорил Аркадий Павлыч, — на мое имя, я не прочь». На эти слова Софрон не отвечал ничего, только бороду поглаживал. «Однако теперь бы не мешало съездить в лес», — заметил г-н Пеночкин. Тотчас привели нам верховых лошадей; мы поехали в лес, или, как у нас говорится, в «заказ». В этом «заказе» нашли мы глушь и дичь страшную, за что Аркадий Павлыч похвалил Софрона и потрепал его по плечу. Г-н Пеночкин придерживался насчет лесоводства русских понятий и тут же рассказал мне презабавный, по его словам, случай, как один шутник-помещик вразумил своего лесника, выдрав у него около половины бороды, в доказательство того, что от подрубки лес гуще не вырастает... Впрочем, в других отношениях и Софрон и Аркадий Павлыч — оба не чуждались нововведений. По возвращении в деревню бурмистр повел нас посмотреть веялку, недавно выписанную им из Москвы. Веялка, точно, действовала хорошо, но если бы Софрон знал, какая неприятность ожидала и его и

барина на этой последней прогулке, он, вероятно, остался бы с нами дома.

Вот что случилось. Выходя из сарая, увидали мы следующее зрелище. В нескольких шагах от двери, подле грязной лужи, в которой беззаботно плескались три утки, стояло на коленках два мужика: один — старик лет шестидесяти, другой — малый лет двадцати, оба в замашных заплатанных рубахах, на босу ногу и подпоясанные веревками. Земский Федосеич усердно хлопотал около них и, вероятно, успел бы уговорить их удалиться, если б мы замешкались в сарае, но, увидев нас, он вытянулся в струнку и замер на месте. Тут же стоял староста с разинутым ртом и недоумевающими кулаками. Аркадий Павлыч нахмурился, закусил губу и подошел к просителям. Оба молча поклонились ему в ноги.

— Что вам надобно? о чем вы просите? — спросил он строгим голосом и несколько в нос. (Мужики взглянули друг на друга и словечка не промолвили, только прищурились, словно от солнца, да поскорей дышать стали.)

— Ну, что же? — продолжал Аркадий Павлыч и тотчас же обратился к Софрону. — Из какой семьи?

— Из Тоболеевой семьи, — медленно отвечал бурмистр.

— Ну, что же вы? — заговорил опять г. Пеночкин. — Языков у вас нет, что ли? Сказывай ты, чего тебе надобно? — прибавил он, качнув головой на старика. — Да не бойся, дурак.

Старик вытянул свою темно-бурую, сморщенную шею, криво разинул посиневшие губы, сиплым голосом произнес: «Заступись, государь!» — и снова стукнул лбом в землю. Молодой мужик тоже поклонился. Аркадий Павлыч с достоинством посмотрел на их затылки, закинул голову и расставил немного ноги.

— Что такое? На кого ты жалуешься?

— Помилуй, государь! Дай вздохнуть... Замучены совсем. (Старик говорил с трудом.)

— Кто тебя замучил?

— Да Софрон Яковлич, батюшка.

Аркадий Павлыч помолчал.

— Как тебя зовут?

— Антипом, батюшка.

— А это кто?

— А сынок мой, батюшка.

Аркадий Павлыч помолчал опять и усами повел.

— Ну, так чем же он тебя замучил? — заговорил он, глядя на старика сквозь усы.

— Батюшка, разорил вконец. Двух сыновей, батюшка, без очереди в некруты отдал, а теперя и третьего отнимает. Вчера, батюшка, последнюю коровушку со двора свел и хозяйку мою избил — вон его милость. (Он указал на старосту.)

— Гм! — произнес Аркадий Павлыч.

— Не дай вконец разориться, кормилец.

Г-н Пеночкин нахмурился.

— Что же это, однако, значит? — спросил он бурмистра вполголоса и с недовольным видом.

— Пьяный человек-с, — отвечал бурмистр, в первый раз употребляя «слово-ер», — неработящий. Из недоимки не выходит вот уж пятый год-с.

— Софрон Яковлич за меня недоимку взнес, батюшка, — продолжал старик, — вот пятый годочек пошел, как взнес, а как взнес — в кабалу меня и забрал, батюшка, да вот и...

— А отчего недоимка за тобой завелась? — грозно спросил г. Пеночкин. (Старик понурил голову.) — Чай, пьянствовать любишь, по кабакам шататься? (Старик разинул было рот.) Знаю я вас, — с запальчивостью продолжал Аркадий Павлыч, — ваше дело пить да на печи лежать, а хороший мужик за вас отвечай.

— И грубиян тоже, — ввернул бурмистр в господскую речь.

— Ну, уж это само собою разумеется. Это всегда так бывает; это уж я не раз заметил. Целый год распутствует, грубит, а теперь в ногах валяется.

— Батюшка, Аркадий Павлыч, — с отчаяньем заговорил старик, — помилуй, заступись, — какой я грубиян? Как перед господом богом говорю, невмоготу приходится. Невзлюбил меня Софрон Яковлич, за что невзлюбил — господь ему судья! Разоряет вконец, батюшка... Последнего вот сыночка... и того... (На желтых и сморщенных глазах старика сверкнула слезинка.) Помилуй, государь, заступись.

— Да и не нас одних, — начал было молодой мужик...

Аркадий Павлыч вдруг вспыхнул:

— А тебя кто спрашивает, а? Тебя не спрашивают, так ты молчи... Это что такое? Молчать, говорят тебе! молчать!.. Ах, боже мой! да это просто бунт. Нет, брат, у меня бунтовать не советую... у меня... (Аркадий Павлыч шагнул вперед, да, вероятно, вспомнил о моем присутствии, отвернулся и положил руки в карманы.) Je vous demande bien pardon, mon cher[1], — сказал он с принужденной улыбкой, значительно понизив голос. — C'est le mauvais côté de la médaille...[2]. Ну, хорошо, хорошо,— продолжал он, не глядя на мужиков, — я прикажу... хорошо, ступайте. (Мужики не поднимались.) Ну, да ведь я сказал вам... хорошо. Ступайте же, я прикажу, говорят вам.

Аркадий Павлыч обернулся к ним спиной. «Вечно неудовольствия», — проговорил он сквозь зубы и пошел большими шагами домой. Софрон отправился вслед за ним. Земский выпучил глаза, словно куда-то очень далеко прыгнуть собирался. Староста выпугнул уток из лужи. Просители постояли еще немного на месте, посмотрели друг на друга и поплелись, не оглядываясь, восвояси.

Часа два спустя я уже был в Рябове и вместе с Анпадистом, знакомым мне мужиком, собирался на охоту. До самого моего отъезда Пеночкин дулся на Софрона. Заговорил я с Анпадистом о шипиловских крестьянах, о г. Пеночкине, спросил его, не знает ли он тамошнего бурмистра.

---

[1] Прошу извинить меня, дорогой мой (*фр.*).

[2] Это оборотная сторона медали... (*фр.*)

— Софрона-то Яковлича?.. вона!

— А что он за человек?

— Собака, а не человек; такой собаки до самого Курска не найдешь.

— А что?

— Да ведь Шипиловка только что числится за тем, как бишь его, за Пенкиным-то; ведь не он ей владеет: Софрон владеет.

— Неужто?

— Как своим добром владеет. Крестьяне ему кругом должны; работают на него словно батраки: кого с обозом посылает, кого куды... затормошил совсем.

— Земли у них, кажется, немного?

— Немного? Он у одних хлыновских восемьдесят десятин нанимает да у наших сто двадцать; вот те и целых полтораста десятин. Да он не одной землей промышляет: и лошадьми промышляет, и скотом, и дегтем, и маслом, и пенькой, и чем-чем... Умен, больно умен, и богат же, бестия? Да вот чем плох — дерется. Зверь — не человек; сказано: собака, пес, как есть пес.

— Да что ж они на него не жалуются?

— Экста! Барину-то что за нужда! Недоимок не бывает, так ему что? Да, поди ты, — прибавил он после небольшого молчания,— пожалуйся. Нет, он тебя... да, поди-ка... Нет уж, он тебя вот как, того...

Я вспомнил про Антипа и рассказал ему, что видел.

— Ну, — промолвил Анпадист, — заест он его теперь; заест человека совсем. Староста теперь его забьет. Экой бесталанный, подумаешь, бедняга! И за что терпит... На сходке с ним повздорил, с бурмистром-то, невтерпеж, знать, пришлось... Велико дело! Вот он его, Антипа-то, клевать и начал. Теперь доедет. Ведь он такой пес, собака, прости, господи, мое прегрешенье, знает, на кого налечь. Стариков-то, что побогаче да посемейнее, не трогает, лысый черт, а тут вот и расходился! Ведь он Антиповых-то сыновей без очереди в некруты отдал, мошенник беспардонный, пес, прости, господи, мое прегрешенье!

Мы отправились на охоту.

Зальцбрунн, в Силезии, июль, 1847 г.

КОНТОРА

Дело было осенью. Уже несколько часов бродил я с ружьем по полям и, вероятно, прежде вечера не вернулся бы в постоялый двор на большой Курской дороге, где ожидала меня моя тройка, если б чрезвычайно мелкий и холодный дождь, который с самого утра, не хуже старой девки, неугомонно и безжалостно приставал ко мне, не заставил меня наконец искать где-нибудь поблизости хотя временного убежища. Пока я еще сообра-

жал, в какую сторону пойти, глазам моим внезапно представился низкий шалаш возле поля, засеянного горохом. Я подошел к шалашу, заглянул под соломенный намет и увидал старика до того дряхлого, что мне тотчас же вспомнился тот умирающий козел, которого Робинзон нашел в одной из пещер своего острова. Старик сидел на корточках, жмурил свои потемневшие маленькие глаза и торопливо, но осторожно, наподобие зайца (у бедняка не было ни одного зуба), жевал сухую и твердую горошину, беспрестанно перекатывая ее со стороны на сторону. Он до того погрузился в свое занятие, что не заметил моего прихода.

— Дедушка! а дедушка! — проговорил я.

Он перестал жевать, высоко поднял брови и с усилием открыл глаза.

— Чего? — прошамшил он сиплым голосом.

— Где тут деревня близко? — спросил я.

Старик опять пустился жевать. Он меня не расслушал. Я повторил свой вопрос громче прежнего.

— Деревня?.. да тебе что надо?

— А вот от дождя укрыться.

— Чего?

— От дождя укрыться.

— Да! (Он почесал свой загорелый затылок.) Ну, ты, тово, ступай, — заговорил он вдруг, беспорядочно размахивая руками, — во... вот, как мимо леска пойдешь, — вот как пойдешь — тут те и будет дорога; ты ее-то брось, дорогу-то, да все направо забирай, все забирай, все забирай, все забирай... Ну, там те и будет Ананьево. А то и в Ситовку пройдешь.

Я с трудом понимал старика. Усы ему мешали, да и язык плохо повиновался.

— Да ты откуда? — спросил я его.

— Чего?

— Откуда ты?

— Из Ананьева.

— Что ж ты тут делаешь?

— Чего?

— Что ты делаешь тут?

— А сторожем сижу.

— Да что ты стережешь?

— А горох.

Я не мог не рассмеяться.

— Да помилуй, сколько тебе лет?

— А бог знает.

— Чай, ты плохо видишь?

— Чего?

— Видишь плохо, чай?

— Плохо. Бывает так, что ничего не слышу.

— Так где ж тебе сторожем-то быть, помилуй?

— А про то старшие знают.

«Старшие!» — подумал я и не без сожаления поглядел на бедного старика. Он ощупался, достал из-за пазухи кусок черст-

вого хлеба и принялся сосать, как дитя, с усилием втягивая и без того впалые щеки.

Я пошел в направлении леска, повернул направо, забирал, все забирал, как мне советовал старик, и добрался наконец до большого села с каменной церковью в новом вкусе, то есть с колоннами, и обширным господским домом, тоже с колоннами. Еще издали, сквозь частую сетку дождя, заметил я избу с тесовой крышей и двумя трубами, повыше других, по всей вероятности, жилище старосты, куда я и направил шаги свои, в надежде найти у него самовар, чай, сахар и не совершенно кислые сливки. В сопровождении моей продрогшей собаки взошел я на крылечко, в сени, отворил дверь, но, вместо обыкновенных принадлежностей избы, увидал несколько столов, заваленных бумагами, два красных шкафа, забрызганные чернильницы, оловянные песочницы в пуд весу, длиннейшие перья и прочее. На одном из столов сидел малый лет двадцати с пухлым и болезненным лицом, крошечными глазками, жирным лбом и бесконечными висками. Одет он был как следует, в серый нанковый кафтан с глянцем на воротнике и на желудке.

— Чего вам надобно? — спросил он меня, дернув кверху головою, как лошадь, которая не ожидала, что ее возьмут за морду.

— Здесь приказчик живет... или...

— Здесь главная господская контора, — перебил он меня. — Я вот дежурным сижу... Разве вы вывеску не видали? На то вывеска прибита.

— А где бы тут обсушиться? Самовар у кого-нибудь на деревне есть?

— Как не быть самоваров, — с важностью возразил малый в сером кафтане, — ступайте к отцу Тимофею, а не то в дворовую избу, а не то к Назару Тарасычу, а не то к Аграфене-птишнице.

— С кем ты это говоришь, болван ты этакой? спать не даешь, болван! — раздался голос из соседней комнаты.

— А вот господин какой-то зашел, спрашивает, где бы обсушиться.

— Какой там господин?

— А не знаю. С собакой и ружьем.

В соседней комнате заскрипела кровать. Дверь отворилась, и вошел человек лет пятидесяти, толстый, низкого росту, с бычачьей шеей, глазами навыкате, необыкновенно круглыми щеками и с лоском по всему лицу.

— Чего вам угодно? — спросил он меня.

— Обсушиться.

— Здесь не место.

— Я не знал, что здесь контора; а впрочем, я готов заплатить...

— Оно, пожалуй, можно и здесь, — возразил толстяк, — вот, не угодно ли сюда. (Он повел меня в другую комнату, только не в ту, из которой вышел.) Хорошо ли здесь вам будет?

— Хорошо... А нельзя ли чаю со сливками?

— Извольте, сейчас. Вы пока извольте раздеться и отдохнуть, а чай сею минутою будет готов.

— А чье это именье?

— Госпожи Лосняковой, Елены Николаевны.

Он вышел. Я оглянулся. Вдоль перегородки, отделявшей мою комнату от конторы, стоял огромный кожаный диван; два стула, тоже кожаных, с высочайшими спинками, торчали по обеим сторонам единственного окна, выходившего на улицу. На стенах, оклеенных зелеными обоями с розовыми разводами, висели три огромные картины, писанные масляными красками. На одной изображена была легавая собака с голубым ошейником и надписью: «Вот моя отрада»; у ног собаки текла река, а на противоположном берегу реки под сосною сидел заяц непомерной величины, с приподнятым ухом. На другой картине два старика ели арбуз; из-за арбуза виднелся в отдалении греческий портик с надписью: «Храм Удовлетворенья». На третьей картине представлена была полунагая женщина в лежачем положении en raccourci[1], с красными коленями и очень толстыми пятками. Собака моя, нимало не медля, с сверхъестественными усилиями залезла под диван и, по-видимому, нашла там много пыли, потому что расчихалась страшно. Я подошел к окну. Через улицу от господского дома до конторы, в косвенном направлении, лежали доски: предосторожность весьма полезная, потому что кругом, благодаря нашей черноземной почве и продолжительному дождю, грязь была страшная. Около господской усадьбы, стоявшей к улице задом, происходило, что обыкновенно происходит около господских усадеб; девки в полинялых ситцевых платьях шныряли взад и вперед; дворовые люди брели по грязи, останавливались и задумчиво чесали свои спины; привязанная лошадь десятского лениво махала хвостом и, высоко задравши морду, глодала забор; курицы кудахтали; чахоточные индейки беспрестанно перекликивались. На крылечке темного и гнилого строения, вероятно бани, сидел дюжий парень с гитарой и не без удали напевал известный романс:

Э — я фа пасатыню удаляюсь
Ата прекарасаных седешенеха мест...
и проч.

Толстяк вошел ко мне в комнату.

— Вот вам чай несут, — сказал он мне с приятной улыбкой.

Малый в сером кафтане, конторский дежурный, расположил на старом ломберном столе самовар, чайник, стакан с разбитым блюдечком, горшок сливок и связку болховских котёлок, твердых, как кремень. Толстяк вышел.

— Что это, — спросил я дежурного, — приказчик?

— Никак нет-с: был главным кассиром-с, а теперь в главные конторщики произведен.

— Да разве у вас нет приказчиков?

— Никак нет-с. Есть бурмистер, Михайла Викулов, а приказчика нету.

---

[1] в уменьшенном виде (*фр.*).

— Так управляющий есть?

— Как же, есть: немец, Линдамандол, Карло Карлыч — только он не распоряжается.

— Кто ж у вас распоряжается?

— Сама барыня.

— Вот как!.. Что ж, у вас в конторе много народу сидит?

Малый задумался.

— Шесть человек сидит.

— Кто да кто? — спросил я.

— А вот кто: сначала будет Василий Николаевич, главный кассир; а то Петр конторщик, Петров брат Иван конторщик, другой Иван конторщик; Коскенкин Наркизов, тоже конторщик, я вот, — да всех и не перечтешь.

— Чай, у вашей барыни дворни много?

— Нет, не то чтобы много...

— Однако сколько?

— Человек, пожалуй что, полтораста набежит.

Мы оба помолчали.

— Ну что ж, ты хорошо пишешь? — начал я опять.

Малый улыбнулся во весь рот, кивнул головой, сходил в контору и принес исписанный листок.

— Вот мое писанье, — промолвил он, не переставая улыбаться.

Я посмотрел; на четвертушке сероватой бумаги красивым и крупным почерком был написан следующий

ПРИКАЗ

ОТ ГЛАВНОЙ ГОСПОДСКОЙ ДОМОВОЙ АНАНЬЕВСКОЙ КОНТОРЫ БУРМИСТРУ МИХАЙЛЕ ВИКУЛОВУ, № 209

«Приказывается тебе немедленно по получении сего разыскать: кто в прошлую ночь, в пьяном виде и с неприличными песнями, прошел по Аглицкому саду и гувернантку мадам Энжени француженку разбудил и обеспокоил? и чего сторожа глядели, и кто сторожем в саду сидел и таковые беспорядки допустил? О всем вышепрописанном приказывается тебе в подробности разведать и немедленно конторе донести.

Главный конторщик *Николай Хвостов*».

К приказу была приложена огромная гербовая печать с надписью: «Печать главной господской ананьевской конторы», а внизу стояла приписка: «В точности исполнить, Елена Лоснякова».

— Это сама барыня приписала, что ли? — спросил я.

— Как же-с, сами: оне всегда сами. А то и приказ девствовать не может.

— Ну, что ж, вы бурмистру пошлете этот приказ?

— Нет-с. Сам придет да прочитает. То есть ему прочтут; он ведь грамоте у нас не знает. (Дежурный опять помолчал.) А что-с, — прибавил он, ухмыляясь, — ведь хорошо написано-с?

— Хорошо.

— Сочинял-то, признаться, не я. На то Коскенкин мастер.

— Как?.. Разве у вас приказы сперва сочиняются?

— А то как же-с? Не прямо же набело писать.

— А сколько ты жалованья получаешь? — спросил я.

— Тридцать пять рублев и пять рублев на сапоги.

— И ты доволен?

— Известно, доволен. В контору-то у нас не всякий попадает. Мне-то, признаться, сам бог велел: у меня дядюшка дворецким служит.

— И хорошо тебе?

— Хорошо-с. Правду сказать,— продолжал он со вздохом,— у купцов, например, то есть, нашему брату лучше. У купцов нашему брату оченно хорошо. Вот к нам вечор приехал купец из Венёва, — так мне его работник сказывал... Хорошо, неча сказать, хорошо.

— А что, разве купцы жалованья больше назначают?

— Сохрани бог! Да он тебя в шею прогонит, коли ты у него жалованья запросишь. Нет, ты у купца живи на веру да на страх. Он тебя и кормит, и поит, и одевает, и все. Угодишь ему — еще больше даст... Что твое жалованье! не надо его совсем... И живет-то купец по простоте, по-русскому, по-нашенскому: поедешь с ним в дорогу, — он пьет чай, и ты пей чай; что он кушает, то и ты кушай. Купец... как можно: купец не то, что барин. Купец не блажит; ну, осерчает — побьет, да и дело с концом. Не мозжит, не шпыняет... А с барином беда! Всё не по нем: и то нехорошо, и тем не угодил. Подашь ему стакан с водой или кушанье: «Ах, вода воняет! ах, кушанье воняет!» Вынесешь, за дверью постоишь да принесешь опять: «Ну вот, теперь хорошо, ну вот, теперь не воняет». А уж барыни, скажу вам, а уж барыни что!.. или вот еще барышни!..

— Федюшка! — раздался голос толстяка в конторе.

Дежурный проворно вышел. Я допил стакан чаю, лег на диван и заснул. Я спал часа два.

Проснувшись, я хотел было подняться, да лень одолела; я закрыл глаза, но не заснул опять. За перегородкой в конторе тихонько разговаривали. Я невольно стал прислушиваться.

— Тэк-с, тэк-с, Николай Еремеич, — говорил один голос, — тэк-с. Эвтово нельзя в расчет не принять-с; нельзя-с, точно... Гм! (Говорящий кашлянул.)

— Уж поверьте мне, Гаврила Антоныч, — возразил голос толстяка, — уж мне ли не знать здешних порядков, сами посудите.

— Кому же и знать, Николай Еремеич: вы здесь, можно сказать, первое лицо-с. Ну, так как же-с? — продолжал незнакомый мне голос. — Чем же мы порешим, Николай Еремеич? Позвольте полюбопытствовать.

— Да чем порешим, Гаврила Антоныч? От вас, так сказать, дело зависит: вы, кажется, не охотствуете.

— Помилуйте, Николай Еремеич, что вы-с? Наше дело торговое, купецкое; наше дело купить. Мы на том стоим, Николай Еремеич, можно сказать.

— Восемь рублей, — проговорил с расстановкою толстяк.

Послышался вздох.

— Николай Еремеич, больно много просить изволите.

— Нельзя, Гаврила Антоныч, иначе поступить; как перед господом богом говорю, нельзя.

Наступило молчание.

Я тихонько приподнялся и посмотрел сквозь трещину в перегородке. Толстяк сидел ко мне спиной. К нему лицом сидел купец, лет сорока, сухощавый и бледный, словно вымазанный постным маслом. Он беспрестанно шевелил у себя в бороде и очень проворно моргал глазами и губами подергивал.

— Удивительные, можно сказать, зеленя́ в нынешнем году-с, — заговорил он опять, — я все ехал да любовался. От самого Воронежа удивительные пошли, первый сорт-с, можно сказать.

— Точно, зеленя́ недурны, — отвечал главный конторщик, — да ведь вы знаете, Гаврила Антоныч, осень всклочет, а как весна захочет.

— Действительно так, Николай Еремеич: всё в божьей воле; совершенную истину изволите сказать. А никак ваш гость-то проснулся-с.

Толстяк обернулся... прислушался...

— Нет, спит. А впрочем, можно, того...

Он подошел к двери.

— Нет, спит, — повторил он и вернулся на место.

— Ну, так как же, Николай Еремеич? — начал опять купец. — Надо дельце-то покончить... Так уж и быть, Николай Еремеич, так уж и быть, — продолжал он, беспрерывно моргая, — две сереньких и беленькую вашей милости, а там (он кивнул головой на барский двор) шесть с полтиною. По рукам, что ли?

— Четыре сереньких, — отвечал приказчик.

— Ну, три!

— Четыре сереньких без беленькой.

— Три, Николай Еремеич.

— С половиной три и уж ни копейки меньше.

— Три, Николай Еремеич.

— И не говорите, Гаврила Антоныч.

— Экой несговорчивый какой, — пробормотал купец. — Этак я лучше сам с барыней покончу.

— Как хотите, — отвечал толстяк, — давно бы так. Что, в самом деле, вам беспокоиться?.. И гораздо лучше!

— Ну, полно, полно, Николай Еремеич. Уж сейчас и рассердился! Я ведь эфто так сказал.

— Нет, что ж в самом деле...

— Полно же, говорят... Говорят, пошутил. Ну, возьми свои три с половиной, что с тобой будешь делать.

— Четыре бы взять следовало, да я, дурак, поторопился, — проворчал толстяк.

— Так там, — в доме-то, шесть с половиною-с, Николай Еремеич, — за шесть с половиной хлеб отдается?

— Шесть с половиной, уж сказано.

— Ну, так по рукам, Николай Еремеич (купец ударил своими растопыренными пальцами по ладони конторщика). И с богом! (Купец встал.) Так я, батюшка Николай Еремеич, теперь пойду к барыне-с и об себе доложить велю-с, и так уж я и скажу: Николай Еремеич, дескать, за шесть с полтиною-с порешили-с.

— Так и скажите, Гаврила Антоныч.

— А теперь извольте получить.

Купец вручил приказчику небольшую пачку бумаги, поклонился, тряхнул головой, взял свою шляпу двумя пальчиками, передернул плечами, придал своему стану волнообразное движение и вышел, прилично поскрипывая сапожками. Николай Еремеич подошел к стене и, сколько я мог заметить, начал разбирать бумаги, врученные купцом. Из двери высунулась рыжая голова с густыми бакенбардами.

— Ну, что? — спросила голова, — все как следует?

— Все как следует.

— Сколько?

Толстяк с досадой махнул рукой и указал на мою комнату.

— А, хорошо!— возразила голова и скрылась.

Толстяк подошел к столу, сел, раскрыл книгу, достал счеты и начал откидывать и прикидывать костяшки, действуя не указательным, но третьим пальцем правой руки: оно приличнее.

Вошел дежурный.

— Что тебе?

— Сидор приехал из Голоплёк.

— А! ну, позови его. Постой, постой... Поди сперва посмотри, что тот, чужой-то барин, спит все или проснулся.

Дежурный осторожно вошел ко мне в комнату. Я положил голову на ягдташ, заменявший мне подушку, и закрыл глаза.

— Спит, — прошептал дежурный, вернувшись в контору.

Толстяк проворчал сквозь зубы.

— Ну, позови Сидора, — промолвил он наконец.

Я снова приподнялся. Вошел мужик огромного роста, лет тридцати, здоровый, краснощекий, с русыми волосами и небольшой курчавой бородой. Он помолился на образ, поклонился главному конторщику, взял свою шляпу в обе руки и выпрямился.

— Здравствуй, Сидор, — проговорил толстяк, постукивая счетами.

— Здравствуйте, Николай Еремеич.

— Ну что, какова дорога?

— Хороша, Николай Еремеич. Грязновата маленько. (Мужик говорил нескоро и негромко.)

— Жена здорова?

— Что ей деется!

Мужик вздохнул и ногу выставил. Николай Еремеич заложил перо за ухо и высморкался.

— Что ж, зачем приехал? — продолжал он спрашивать, укладывая клетчатый платок в карман.

— Да слышь, Николай Еремеич, с нас плотников требуют.

— Ну что ж, нет их у вас, что ли?

— Как им не быть у нас, Николай Еремеич: дача лесная — известно. Да пора-то рабочая, Николай Еремеич.

— Рабочая пора! То-то, вы охотники на чужих работать, а на свою госпожу работать не любите... Все едино!

— Работа-то все едино, точно, Николай Еремеич... да что...

— Ну?

— Плата больно... того...

— Мало чего нет! Вишь, как вы избаловались. Поди ты!

— Да и то сказать, Николай Еремеич, работы-то всего на неделю будет, а продержат месяц. То материалу не хватит, а то и в сад пошлют дорожки чистить.

— Мало ли чего нет! Сама барыня приказать изволила, так тут нам с тобой рассуждать нечего.

Сидор замолчал и начал переступать с ноги на ногу.

Николай Еремеич скрутил голову набок и усердно застучал костяшками.

— Наши... мужики... Николай Еремеич... — заговорил наконец Сидор, запинаясь на каждом слове, — приказали вашей милости... вот тут... будет... (Он запустил свою ручищу за пазуху армяка и начал вытаскивать оттуда свернутое полотенце с красными разводами.)

— Что ты, что ты, дурак, с ума сошел, что ли? — поспешно перебил его толстяк. — Ступай, ступай ко мне в избу, — продолжал он, почти выталкивая изумленного мужика, — там спроси жену... она тебе чаю даст, я сейчас приду, ступай. Да небось говорят, ступай.

Сидор вышел вон.

— Экой... медведь! — пробормотал ему вслед главный конторщик, покачал головой и снова принялся за счеты.

Вдруг крики: «Купря! Купря! Купрю не сшибешь!» — раздались на улице и на крыльце, и немного спустя вошел в контору человек низенького роста, чахоточный на вид, с необыкновенно длинным носом, большими неподвижными глазами и весьма горделивой осанкой. Одет он был в старенький, изорванный сюртук цвета аделаида, или, как у нас говорится, оделлоида, с плисовым воротником и крошечными пуговками. Он нес связку дров за плечами. Около него толпилось человек пять дворовых людей, и все кричали: «Купря! Купрю не сшибешь! В истопники Купрю произвели, в истопники!» Но человек в сюртуке с плисовым воротником не обращал ни малейшего внимания на буйство своих товарищей и нисколько не изменялся в лице. Мерными шагами дошел он до печки, сбросил свою ношу, приподнялся, достал из заднего кармана табакерку, вытаращил глаза и начал набивать себе в нос тертый донник, смешанный с золой.

При входе шумливой ватаги толстяк нахмурил было брови и поднялся с места; но, увидав в чем дело, улыбнулся и только велел не кричать: в соседней, дескать, комнате охотник спит.

— Какой охотник? — спросили человека два в один голос.

— Помещик.

— А!

— Пускай шумят, — заговорил, растопыря руки, человек с плисовым воротником, — мне что за дело! Лишь бы меня не трогали. В истопники меня произвели...

— В истопники! в истопники! — радостно подхватила толпа.

— Барыня приказала, — продолжал он, пожав плечами, — а вы погодите... вас еще в свинопасы произведут. А что я портной и хороший портной, у первых мастеров в Москве обучался и на енаралов шил... этого у меня никто не отнимет. А вы чего храбритесь?.. чего? Из господской власти вышли, что ли? Вы дармоеды, тунеядцы, больше ничего. Меня отпусти на волю — я с голоду не умру, я не пропаду; дай мне пашпорт — я оброк хороший взнесу и господ удоблетворю. А вы что? Пропадете, пропадете, словно мухи, вот и все!

— Вот и соврал, — перебил его парень, рябой и белобрысый, с красным галстухом и разорванными локтями, — ты и по пашпорту ходил, да от тебя копейки оброку господа не видали, и себе гроша не заработал: насилу ноги домой приволок, да с тех пор все в одном кафтанишке живешь.

— А что будешь делать, Константин Наркизыч! — возразил Куприян, — влюбился человек — и пропал, и погиб человек. Ты сперва с мое поживи, Константин Наркизыч, а тогда уже и осуждай меня.

— И в кого нашел влюбиться! в урода сущего!

— Нет, этого ты не говори, Константин Наркизыч.

— Да кого ты уверяешь? Ведь я ее видел; в прошлом году, в Москве, своими глазами видел.

— В прошлом году она действительно попортилась маленько, — заметил Куприян.

— Нет, господа, что, — заговорил презрительным и небрежным голосом человек высокого роста, худощавый, с лицом, усеянным прыщами, завитый и намасленный, должно быть, камердинер, — вот пускай нам Куприян Афанасьич свою песенку споет. Нут-ка, начните, Куприян Афанасьич!

— Да, да! — подхватили другие. — Ай да Александра! подкузьмила Купрю, неча сказать... Пой, Купря!.. Молодца, Александра! (Дворовые люди часто, для большей нежности, говоря о мужчине, употребляют женские окончания.) Пой!

— Здесь не место петь, — с твердостью возразил Куприян, — здесь господская контора.

— Да тебе-то что за дело? Чай, в конторщики сам метишь! — с грубым смехом отвечал Константин. — Должно быть!

— Все в господской власти состоит, — заметил бедняк.

— Вишь, вишь, куда метит, вишь, каков? у! у! а!

И все расхохотались, иные запрыгали. Громче всех заливался один мальчишка лет пятнадцати, вероятно, сын аристократа между дворней: он носил жилет с бронзовыми пуговицами, галстух лилового цвета и брюшко уже успел отрастить.

— А послушай-ка, признайся, Купря, — самодовольно заговорил Николай Еремеич, видимо, распотешенный и разнеженный, — ведь плохо в истопниках-то? Пустое, чай, дело вовсе?

— Да что, Николай Еремеич, — заговорил Куприян, — вот вы теперь главным у нас конторщиком, точно; спору в том, точно, нету; а ведь и вы под опалой находились и в мужицкой избе тоже пожили.

— Ты смотри у меня, однако, не забывайся, — с запальчивостью перебил его толстяк, — с тобой, дураком, шутят; тебе бы, дураку, чувствовать следовало и благодарить, что с тобой, дураком, занимаются.

— К слову пришлось, Николай Еремеич, извините...

— То-то же к слову.

Дверь растворилась, и вбежал казачок.

— Николай Еремеич, барыня вас к себе требует.

— Кто у барыни? — спросил он казачка.

— Аксинья Никитишна и купец из Венёва.

— Сею минутою явлюся. А вы, братцы, — продолжал он убедительным голосом, — ступайте-ка лучше отсюда вон с новопожалованным истопником-то: неравно немец забежит, как раз нажалуется.

Толстяк поправил у себя на голове волосы, кашлянул в руку, почти совершенно закрытую рукавом сюртука, застегнулся и отправился к барыне, широко расставляя на ходу ноги. Погодя немного и вся ватага поплелась за ним вместе с Купрей. Остался один мой старый знакомый, дежурный. Он принялся было чинить перья, да сидя и заснул. Несколько мух тотчас воспользовались счастливым случаем и облепили ему рот. Комар сел ему на лоб, правильно расставил свои ножки и медленно погрузил в его мягкое тело все свое жало. Прежняя рыжая голова с бакенбардами снова показалась из-за двери, поглядела, поглядела и вошла в контору вместе с своим довольно некрасивым туловищем.

— Федюшка! а Федюшка! вечно спишь! — проговорила голова.

Дежурный открыл глаза и встал со стула.

— Николай Еремеич к барыне пошел?

— К барыне пошел, Василий Николаич.

«А! а! — подумал я, — вот он — главный кассир».

Главный кассир начал ходить по комнате. Впрочем, он более крался, чем ходил, и таки вообще смахивал на кошку. На плечах его болтался старый черный фрак, с очень узкими фалдами; одну руку он держал на груди, а другой беспрестанно брался за свой высокий и тесный галстух из конского волоса и с напряжением вертел головой. Сапоги носил он козловые, без скрыпу, и выступал очень мягко.

— Сегодня Ягушкин помещик вас спрашивал, — прибавил дежурный.

— Гм, спрашивал? Что ж он такое говорил?

— Говорил, что, дескать, к Тютюреву вечером заедет и вас будет ждать. Нужно, дескать, мне с Васильем Николаичем об одном деле переговорить, а о каком деле — не сказывал: уж Василий Николаич, говорит, знает.

— Гм! — возразил главный кассир и подошел к окну.

— Что, Николай Еремеев в конторе? — раздался в сенях громкий голос, и человек высокого роста, видимо рассерженный, с лицом неправильным, но выразительным и смелым, довольно опрятно одетый, шагнул через порог.

— Нет его здесь? — спросил он, быстро глянув кругом.

— Николай Еремеич у барыни,— отвечал кассир.— Что вам надобно, скажите мне, Павел Андреич: вы мне можете сказать... Вы чего хотите?

— Чего я хочу? Вы хотите знать, чего я хочу? (Кассир болезненно кивнул головой.) Проучить я его хочу, брюхача негодного, наушника подлого... Я ему дам наушничать!

Павел бросился на стул.

— Что вы, что вы, Павел Андреич? Успокойтесь... Как вам не стыдно? Вы не забудьте, про кого вы говорите, Павел Андреич! — залепетал кассир.

— Про кого? А мне что за дело, что его в главные конторщики пожаловали! Вот, нечего сказать, нашли кого пожаловать! Вот уж точно, можно сказать, пустили ко̀зла в огород!

— Полноте, полноте, Павел Андреич, полноте! Бросьте это... что за пустяки такие?

— Ну, Лиса Патрикеевна, пошла хвостом вилять!.. Я его дождусь, — с сердцем проговорил Павел и ударил рукой по столу. — А, да вот он и жалует, — прибавил он, взглянув в окошко, — легок на помине. Милости просим! (Он встал.)

Николай Еремеев вошел в контору. Лицо его сияло удовольствием, но при виде Павла он несколько смутился.

— Здравствуйте, Николай Еремеич,— значительно проговорил Павел, медленно подвигаясь к нему навстречу, — здравствуйте.

Главный конторщик не отвечал ничего. В дверях показалось лицо купца.

— Что ж вы мне не изволите отвечать? — продолжал Павел. — Впрочем, нет... нет, — прибавил он, — этак не дело; криком да бранью ничего не возьмешь. Нет, вы мне лучше добром скажите, Николай Еремеич, за что вы меня преследуете? за что вы меня погубить хотите? Ну, говорите же, говорите.

— Здесь не место с вами объясняться, — не без волнения возразил главный конторщик, — да и не время. Только я, признаюсь, одному удивляюсь: с чего вы взяли, что я вас погубить желаю или преследую? Да и как наконец могу я вас преследовать? Вы не у меня в конторе состоите.

— Еще бы,— отвечал Павел,— этого бы только недоставало. Но зачем же вы притворяетесь, Николай Еремеич?.. Ведь вы меня понимаете.

— Нет, не понимаю.

— Нет, понимаете.

— Нет, ей-богу, не понимаю.

— Еще божитесь! Да уж коли на то пошло, скажите: ну, не боитесь вы бога! Ну, за что вы бедной девке жить не даете? Что вам надобно от нее?

— Вы о ком говорите, Павел Андреич? — с притворным изумлением спросил толстяк.

— Эка! не знает небось? Я об Татьяне говорю. Побойтесь бога, — за что мстите? Стыдитесь: вы человек женатый, дети у вас с меня уже ростом, а я не что другое... я жениться хочу: я по чести поступаю.

— Чем же я тут виноват, Павел Андреич? Барыня вам жениться не позволяет: ее господская воля! Я-то тут что?

— Вы что? А вы с этой старой ведьмой, с ключницей, не стакнулись небось? Небось не наушничаете, а? Скажите, не взводите на беззащитную девку всякую небылицу? Небось не по вашей милости ее из прачек в судомойки произвели! И бьют-то ее и в затрапезе держат не по вашей милости?.. Стыдитесь, стыдитесь, старый вы человек! Ведь вас паралич, того и гляди, разобьет... Богу отвечать придется.

— Ругайтесь, Павел Андреич, ругайтесь... Долго ли вам придется ругаться-то!

Павел вспыхнул.

— Что? грозить мне вздумал? — с сердцем заговорил он. — Ты думаешь, я тебя боюсь? Нет, брат, не на того наткнулся! Чего мне бояться?.. Я везде себе хлеб сыщу. Вот ты — другое дело! Тебе только здесь и жить, да наушничать, да воровать...

— Ведь вот как зазнался, — перебил его конторщик, который тоже начинал терять терпение, — фершел, просто фершел, лекаришка пустой; а послушай-ка его, — фу ты, какая важная особа!

— Да, фершел, а без этого фершела ваша милость теперь бы на кладбище гнила... И дернула же меня нелегкая его вылечить,— прибавил он сквозь зубы.

— Ты меня вылечил?.. Нет, ты меня отравить хотел; ты меня сабуром опоил, — подхватил конторщик.

— Что ж, коли на тебя, кроме сабура, ничего действовать не могло?

— Сабур врачебной управой запрещен, — продолжал Николай, — я еще на тебя пожалуюсь. Ты уморить меня хотел — вот что! Да господь не попустил.

— Полно вам, полно, господа... — начал было кассир.

— Отстань! — крикнул конторщик. — Он меня отравить хотел! Понимаешь ты эфто?

— Очень нужно мне... Слушай, Николай Еремеев, — заговорил Павел с отчаянием, — в последний раз тебя прошу... вынудил ты меня — невтерпеж мне становится. Оставь нас в покое, понимаешь? А то, ей-богу, несдобровать кому-нибудь из нас, я тебе говорю.

Толстяк расходился.

— Я тебя не боюсь, — закричал он, — слышишь ли ты, молокосос! Я и с отцом твоим справился, я и ему рога сломил, — тебе пример, смотри!

— Не напоминай мне про отца, Николай Еремеев, не напоминай!

— Вона! ты что мне за уставщик?

— Говорят тебе, не напоминай!

— А тебе говорят, не забывайся... Как ты там барыне, по-твоему, ни нужен, а коли из нас двух ей придется выбирать, — не удержишься ты, голубчик! Бунтовать никому не позволяется, смотри! (Павел дрожал от бешенства.) А девке Татьяне поделом... Погоди, не то ей еще будет!

Павел кинулся вперед с поднятыми руками, и конторщик тяжко покатился на пол.

— В кандалы его, в кандалы, — застонал Николай Еремеев...

Конца этой сцены я не берусь описывать; я и так боюсь, не оскорбил ли я чувства читателя.

В тот же день я вернулся домой. Неделю спустя я узнал, что госпожа Лоснякова оставила и Павла и Николая у себя в услужении, а девку Татьяну сослала: видно, не понадобилась.

БИРЮК

Я ехал с охоты вечером один, на беговых дрожках. До дому еще было верст восемь; моя добрая рысистая кобыла бодро бежала по пыльной дороге, изредка похрапывая и шевеля ушами; усталая собака, словно привязанная, ни на шаг не отставала от задних колес. Гроза надвигалась. Впереди огромная лиловая туча медленно поднималась из-за леса; надо мною и мне навстречу неслись длинные серые облака; ракиты тревожно шевелились и лепетали. Душный жар внезапно сменился влажным холодом; тени быстро густели. Я ударил вожжой по лошади, спустился в овраг, перебрался через сухой ручей, весь заросший лозниками, поднялся в гору и въехал в лес. Дорога вилась передо мною между густыми кустами орешника, уже залитыми мраком; я подвигался вперед с трудом. Дрожки прыгали по твердым корням столетних дубов и лип, беспрестанно пересекавшим глубокие продольные рытвины — следы тележных колес; лошадь моя начала спотыкаться. Сильный ветер внезапно загудел в вышине, деревья забушевали, крупные капли дождя резко застучали, зашлепали по листьям, сверкнула молния, и гроза разразилась. Дождь полил ручьями. Я поехал шагом и скоро принужден был остановиться: лошадь моя вязла, я не видел ни зги. Кое-как приютился я к широкому кусту. Сгорбившись и закутавши лицо, ожидал я терпеливо конца ненастья, как вдруг, при блеске молнии, на дороге почудилась мне высокая фигура. Я стал пристально глядеть в ту сторону — та же фигура словно выросла из земли подле моих дрожек.

— Кто это? — спросил звучный голос.

— А ты кто сам?

— Я здешний лесник.

Я назвал себя.

— А, знаю! Вы домой едете?

— Домой. Да видишь, какая гроза...

— Да, гроза, — отвечал голос.

Белая молния озарила лесника с головы до ног; трескучий и короткий удар грома раздался тотчас вслед за нею. Дождик хлынул с удвоенной силой.

— Не скоро пройдет, — продолжал лесник.

— Что делать!

— Я вас, пожалуй, в свою избу проведу, — отрывисто проговорил он.

— Сделай одолжение.

— Извольте сидеть.

Он подошел к голове лошади, взял ее за узду и сдернул с места. Мы тронулись. Я держался за подушку дрожек, которые колыхались, «как в море челнок», и кликал собаку. Бедная моя кобыла тяжко шлепала ногами по грязи, скользила, спотыкалась; лесник покачивался перед оглоблями направо и налево, словно привиденье. Мы ехали довольно долго; наконец мой проводник остановился. «Вот мы и дома, барин», — промолвил он спокойным голосом. Калитка заскрыпела, несколько щенков дружно залаяло. Я поднял голову и при свете молнии увидал небольшую избушку посреди обширного двора, обнесенного плетнем. Из одного окошечка тускло светил огонек. Лесник довел лошадь до крыльца и застучал в дверь. «Сичас, сичас!» — раздался тоненький голосок, послышался топот босых ног, засов заскрыпел, и девочка лет двенадцати, в рубашонке, подпоясанная покромкой, с фонарем в руке, показалась на пороге.

— Посвети барину, — сказал он ей, — а я ваши дрожки под навес поставлю.

Девочка глянула на меня и пошла в избу. Я отправился вслед за ней.

Изба лесника состояла из одной комнаты, закоптелой, низкой и пустой, без полатей и перегородок. Изорванный тулуп висел на стене. На лавке лежало одноствольное ружье, в углу валялась груда тряпок; два больших горшка стояли возле печки. Лучина горела на столе, печально вспыхивая и погасая. На самой середине избы висела люлька, привязанная к концу длинного шеста. Девочка погасила фонарь, присела на крошечную скамейку и начала правой рукой качать люльку, левой поправлять лучину. Я посмотрел кругом — сердце во мне заныло: не весело войти ночью в мужицкую избу. Ребенок в люльке дышал тяжело и скоро.

— Ты разве одна здесь? — спросил я девочку.

— Одна, — произнесла она едва внятно.

— Ты лесникова дочь?

— Лесникова, — прошептала она.

Дверь заскрыпела, и лесник шагнул, нагнув голову, через порог. Он поднял фонарь с полу, подошел к столу и зажег светильню.

— Чай, не привыкли к лучине? — проговорил он и тряхнул кудрями.

Я посмотрел на него. Редко мне случалось видеть такого молодца. Он был высокого роста, плечист и сложен на славу. Из-под мокрой замашной рубашки выпукло выставлялись его могучие мышцы. Черная курчавая борода закрывала до половины его су-

ровое и мужественное лицо; из-под сросшихся широких бровей смело глядели небольшие карие глаза. Он слегка уперся руками в бока и остановился передо мною.

Я поблагодарил его и спросил его имя.

— Меня зовут Фомой, — отвечал он, — а по прозвищу Бирюк[1].

— А, ты Бирюк?

Я с удвоенным любопытством посмотрел на него. От моего Ермолая и от других я часто слышал рассказы о леснике Бирюке, которого все окрестные мужики боялись как огня. По их словам, не бывало еще на свете такого мастера своего дела: «Вязанки хворосту не даст утащить; в какую бы ни было пору, хоть в самую полночь, нагрянет, как снег на голову, и ты не думай сопротивляться, — силен, дескать, и ловок как бес... И ничем его взять нельзя: ни вином, ни деньгами; ни на какую приманку не идет. Уж не раз добрые люди его сжить со свету собирались, да нет — не дается».

Вот как отзывались соседние мужики о Бирюке.

— Так ты Бирюк,— повторил я,— я, брат, слыхал про тебя. Говорят, ты никому спуску не даешь.

— Должность свою справляю, — отвечал он угрюмо, — даром господский хлеб есть не приходится.

Он достал из-за пояса топор, присел на пол и начал колоть лучину.

— Аль у тебя хозяйки нет? — спросил я его.

— Нет, — отвечал он и сильно махнул топором.

— Умерла, знать?

— Нет... да... умерла,— прибавил он и отвернулся.

Я замолчал; он поднял глаза и посмотрел на меня.

— С прохожим мещанином сбежала, — произнес он с жестокой улыбкой. Девочка потупилась; ребенок проснулся и закричал; девочка подошла к люльке. — На, дай ему, — проговорил Бирюк, сунув ей в руку запачканный рожок. — Вот и его бросила, — продолжал он вполголоса, указывая на ребенка. Он подошел к двери, остановился и обернулся.

— Вы, чай, барин, — начал он, — нашего хлеба есть не станете, а у меня окромя хлеба...

— Я не голоден.

— Ну, как знаете. Самовар бы я вам поставил, да чаю у меня нету... Пойду посмотрю, что ваша лошадь.

Он вышел и хлопнул дверью. Я в другой раз осмотрелся. Изба показалась мне еще печальнее прежнего. Горький запах остывшего дыма неприятно стеснял мне дыхание. Девочка не трогалась с места и не поднимала глаз; изредка поталкивала она люльку, робко наводила на плечо спускавшуюся рубашку; ее голые ноги висели, не шевелясь.

— Как тебя зовут? — спросил я.

— Улитой, — проговорила она, еще более понурив свое печальное личико.

---

[1] Бирюком называется в Орловской губернии человек одинокий и угрюмый.

Лесник вошел и сел на лавку.

— Гроза проходит, — заметил он после небольшого молчанья, — коли прикажете, я вас из лесу провожу.

Я встал. Бирюк взял ружье и осмотрел полку.

— Это зачем? — спросил я.

— А в лесу шалят... У Кобыльего Верху[1] дерево рубят, — прибавил он в ответ на мой вопрошающий взор.

— Будто отсюда слышно?

— Со двора слышно.

Мы вышли вместе. Дождик перестал. В отдалении еще толпились тяжелые громады туч, изредка вспыхивали длинные молнии; но над нашими головами уже виднелось кое-где темно-синее небо, звездочки мерцали сквозь жидкие, быстро летевшие облака. Очерки деревьев, обрызганных дождем и взволнованных ветром, начинали выступать из мрака. Мы стали прислушиваться. Лесник снял шапку и потупился. «Во... вот,— проговорил он вдруг и протянул руку, — вишь какую ночку выбрал». Я ничего не слышал, кроме шума листьев. Бирюк вывел лошадь из-под навеса. «А этак я, пожалуй, — прибавил он вслух, — и прозеваю его». — «Я с тобой пойду... хочешь?» — «Ладно, — отвечал он и попятил лошадь назад, — мы его духом поймаем, а там я вас провожу. Пойдемте».

Мы пошли: Бирюк впереди, я за ним. Бог его знает, как он узнавал дорогу, но он останавливался только изредка, и то для того, чтобы прислушиваться к стуку топора. «Вишь, — бормотал он сквозь зубы, — слышите? слышите?» — «Да где?» Бирюк пожимал плечами. Мы спустились в овраг, ветер затих на мгновенье — мерные удары ясно достигли до моего слуха. Бирюк глянул на меня и качнул головой. Мы пошли далее по мокрому папоротнику и крапиве. Глухой и продолжительный гул раздался.

— Повалил... — пробормотал Бирюк.

Между тем небо продолжало расчищаться; в лесу чуть-чуть светлело. Мы выбрались наконец из оврага. «Подождите здесь», — шепнул мне лесник, нагнулся и, подняв ружье кверху, исчез между кустами. Я стал прислушиваться с напряжением. Сквозь постоянный шум ветра чудились мне невдалеке слабые звуки; топор осторожно стучал по сучьям, колеса скрыпели, лошадь фыркала... «Куда? стой!» — загремел вдруг железный голос Бирюка. Другой голос закричал жалобно, по-заячьи... Началась борьба. «Вре-ешь, вре-ешь, — твердил, задыхаясь, Бирюк, — не уйдешь...» Я бросился в направлении шума и прибежал, спотыкаясь на каждом шагу, на место битвы. У срубленного дерева, на земле, копошился лесник; он держал под собою вора и закручивал ему кушаком руки на спину. Я подошел. Бирюк поднялся и поставил его на ноги. Я увидел мужика, мокрого, в лохмотьях, с длинной растрепанной бородой. Дрянная лошаденка, до половины закрытая угловатой рогожкой, стояла тут же вместе с тележным ходом. Лесник не говорил ни слова; мужик тоже молчал и только головой потряхивал.

[1] «Верхом» называется в Орловской губернии овраг.

— Отпусти его, — шепнул я на ухо Бирюку, — я заплачу за дерево.

Бирюк молча взял лошадь за холку левой рукой: правой он держал вора за пояс: «Ну, поворачивайся, ворона!» — промолвил он сурово. «Топорик-то вон возьмите», — пробормотал мужик. «Зачем ему пропадать!» — сказал лесник и поднял топор. Мы отправились. Я шел позади... Дождик начал опять накрапывать и скоро полил ручьями. С трудом добрались мы до избы. Бирюк бросил пойманную лошаденку посреди двора, ввел мужика в комнату, ослабил узел кушака и посадил его в угол. Девочка, которая заснула было возле печки, вскочила и с молчаливым испугом стала глядеть на нас. Я сел на лавку.

— Эк его, какой полил, — заметил лесник, — переждать придется. Не хотите ли прилечь?

— Спасибо.

— Я бы его, для вашей милости, в чуланчик запер, — продолжал он, указывая на мужика, — да вишь, засов...

— Оставь его тут, не трогай, — перебил я Бирюка.

Мужик глянул на меня исподлобья. Я внутренно дал себе слово, во что бы то ни стало, освободить бедняка. Он сидел неподвижно на лавке. При свете фонаря я мог разглядеть его испитое, морщинистое лицо, нависшие желтые брови, беспокойные глаза, худые члены... Девочка улеглась на полу у самых его ног и опять заснула. Бирюк сидел возле стола, опершись головою на руки. Кузнечик кричал в углу... дождик стучал по крыше и скользил по окнам; мы все молчали.

— Фома Кузьмич, — заговорил вдруг мужик голосом глухим и разбитым, — а, Фома Кузьмич.

— Чего тебе?

— Отпусти.

Бирюк не отвечал.

— Отпусти... с голодухи... отпусти.

— Знаю я вас, — угрюмо возразил лесник, — ваша вся слобода такая — вор на воре.

— Отпусти,— твердил мужик,— приказчик... разорены, во как... отпусти!

— Разорены!.. Воровать никому не след.

— Отпусти, Фома Кузьмич... не погуби. Ваш-то, сам знаешь, заест, во как.

Бирюк отвернулся. Мужика подергивало, словно лихорадка его колотила. Он встряхивал головой и дышал неровно.

— Отпусти, — повторял он с унылым отчаянием, — отпусти, ей-богу, отпусти! Я заплачу, во как, ей-богу. Ей-богу, с голодухи... детки пищат, сам знаешь. Круто, во как приходится.

— А ты все-таки воровать не ходи.

— Лошаденку, — продолжал мужик, — лошаденку-то, хоть ее-то... один живот и есть... отпусти!

— Говорят, нельзя. Я тоже человек подневольный: с меня взыщут. Вас баловать тоже не приходится.

— Отпусти! Нужда, Фома Кузьмич, нужда, как есть того... отпусти!

— Знаю я вас!

— Да отпусти!

— Э, да что с тобой толковать; сиди смирно, а то у меня, знаешь? Не видишь, что ли, барина?

Бедняк потупился... Бирюк зевнул и положил голову на стол. Дождик все не переставал. Я ждал, что будет.

Мужик внезапно выпрямился. Глаза у него загорелись, и на лице выступила краска. «Ну на, ешь, на, подавись, на, — начал он, прищурив глаза и опустив углы губ, — на, душегубец окаянный: пей христианскую кровь, пей...»

Лесник обернулся.

— Тебе говорю, тебе, азиат, кровопийца, тебе!

— Пьян ты, что ли, что ругаться вздумал? — заговорил с изумлением лесник. — С ума сошел, что ли?

— Пьян!.. не на твои ли деньги, душегубец окаянный, зверь, зверь, зверь!

— Ах ты... да я тебя!..

— А мне что? Все едино — пропадать; куда я без лошади пойду? Пришиби — один конец; что с голоду, что так — все едино. Пропадай всё: жена, дети — околевай всё... А до тебя, погоди, доберемся!

Бирюк приподнялся.

— Бей, бей, — подхватил мужик свирепым голосом, — бей, на, на, бей... (Девочка торопливо вскочила с полу и уставилась на него.) Бей! бей!

— Молчать! — загремел лесник и шагнул два раза.

— Полно, полно, Фома, — закричал я, — оставь его... бог с ним.

— Не стану я молчать, — продолжал несчастный. — Все едино — околевать-то. Душегубец ты, зверь, погибели на тебя нету... Да постой, недолго тебе царствовать! затянут тебе глотку, постой!

Бирюк схватил его за плечо... Я бросился на помощь мужику...

— Не троньте, барин! — крикнул на меня лесник.

Я бы не побоялся его угрозы и уже протянул было руку; но, к крайнему моему изумлению, он одним поворотом сдернул с локтей мужика кушак, схватил его за шиворот, нахлобучил ему шапку на глаза, растворил дверь и вытолкнул его вон.

— Убирайся к черту с своей лошадью, — закричал он ему вслед, — да смотри, в другой раз у меня!..

Он вернулся в избу и стал копаться в углу.

— Ну, Бирюк, — промолвил я наконец, — удивил ты меня: ты, я вижу, славный малый.

— Э, полноте, барин, — перебил он меня с досадой, — не извольте только сказывать. Да уж я лучше вас провожу, — прибавил он, — знать, дождика-то вам не переждать...

На дворе застучали колеса мужицкой телеги.

— Вишь, поплелся! — пробормотал он, — да я его!..

Через полчаса он простился со мной на опушке леса.

ДВА ПОМЕЩИКА

Я уже имел честь представить вам, благосклонные читатели, некоторых моих господ соседей; позвольте же мне теперь, кстати (для нашего брата писателя всё кстати), познакомить вас еще с двумя помещиками, у которых я часто охотился, с людьми весьма почтенными, благонамеренными и пользующимися всеобщим уважением нескольких уездов.

Сперва опишу вам отставного генерал-майора Вячеслава Илларионовича Хвалынского. Представьте себе человека высокого и когда-то стройного, теперь же несколько обрюзглого, но вовсе не дряхлого, даже не устарелого, человека в зрелом возрасте, в самой, как говорится, поре. Правда, некогда правильные и теперь еще приятные черты лица его немного изменились, щеки повисли, частые морщины лучеобразно расположились около глаз, иных зубов уже нет, как сказал Саади, по уверению Пушкина; русые волосы, по крайней мере все те, которые остались в целости, превратились в лиловые благодаря составу, купленному на Роменской конной ярмарке у жида, выдававшего себя за армянина; но Вячеслав Илларионович выступает бойко, смеется звонко, позвякивает шпорами, крутит усы, наконец называет себя старым кавалеристом, между тем как известно, что настоящие старики сами никогда себя не называют стариками. Носит он обыкновенно сюртук, застегнутый доверху, высокий галстух с накрахмаленными воротничками и панталоны серые с искрой, военного покроя; шляпу же надевает прямо на лоб, оставляя весь затылок наружи. Человек он очень добрый, но с понятиями и привычками довольно странными. Например: он никак не может обращаться с дворянами небогатыми или нечиновными, как с равными себе людьми. Разговаривая с ними, он обыкновенно глядит на них сбоку, сильно опираясь щекою в твердый и белый воротник, или вдруг возьмет да озарит их ясным и неподвижным взором, помолчит и двинет всею кожей под волосами на голове; даже слова иначе произносит и не говорит, например: «Благодарю, Павел Васильич», или: «Пожалуйте сюда, Михайло Иваныч», а: «Боллдарю, Палл Асилич», или: «Па-ажалте сюда, Михал Ваныч». С людьми же, стоящими на низших ступенях общества, он обходится еще страннее: вовсе на них не глядит и, прежде чем объяснит им свое желание или отдаст приказ, несколько раз сряду, с озабоченным и мечтательным видом, повторит: «Как тебя зовут?.. как тебя зовут?», ударяя необыкновенно резко на первом слове «как», а остальные произнося очень быстро, что придает всей поговорке довольно близкое сходство с криком самца-перепела. Хлопотун он и жила страшный, а хозяин плохой: взял к себе в управители отставного вахмистра, малоросса, необыкновенно глупого человека. Впрочем, в деле хозяйничества никто у нас еще не перещеголял одного петербургского важного чиновника, который, усмотрев из донесений своего приказчика, что овины у него в имении часто подвергаются пожарам, отчего много хлеба пропадает, — отдал строжайший приказ: вперед до тех пор не сажать снопов в овин, пока огонь совершен-

но не погаснет. Тот же самый сановник вздумал было засеять все свои поля маком, вследствие весьма, по-видимому, простого расчета: мак, дескать, дороже ржи, следовательно, сеять мак выгоднее. Он же приказал своим крепостным бабам носить кокошники по высланному из Петербурга образцу; и действительно, до сих пор в имениях его бабы носят кокошники... только сверху кичек... Но возвратимся к Вячеславу Илларионовичу. Вячеслав Илларионович ужасный охотник до прекрасного пола и, как только увидит у себя в уездном городе на бульваре хорошенькую особу, немедленно пустится за нею вслед, но тотчас же и захромает, — вот что замечательное обстоятельство. В карты играть он любит, но только с людьми звания низшего; они-то ему: «Ваше превосходительство», а он-то их пушит и распекает, сколько душе его угодно. Когда ж ему случится играть с губернатором или с каким-нибудь чиновным лицом — удивительная происходит в нем перемена: и улыбается-то он, и головой кивает, и в глаза-то им глядит — медом так от него и несет... Даже проигрывает и не жалуется. Читает Вячеслав Илларионыч мало, при чтении беспрестанно поводит усами и бровями, сперва усами, потом бровями, словно волну снизу вверх по лицу пускает. Особенно замечательно это волнообразное движение на лице Вячеслава Илларионыча, когда ему случается (при гостях, разумеется) пробегать столбцы «Journal des Débats». На выборах играет он роль довольно значительную, но от почетного звания предводителя по скупости отказывается. «Господа, — говорит он обыкновенно приступающим к нему дворянам, и говорит голосом, исполненным покровительства и самостоятельности, — много благодарен за честь; но я решился посвятить свой досуг уединению». И, сказавши эти слова, поведет головой несколько раз направо и налево, а потом с достоинством наляжет подбородком и щеками на галстух. Состоял он в молодые годы адъютантом у какого-то значительного лица, которого иначе и не называет как по имени и по отчеству; говорят, будто бы он принимал на себя не одни адьютантские обязанности, будто бы, например, облачившись в полную парадную форму и даже застегнув крючки, парил своего начальника в бане — да не всякому слуху можно верить. Впрочем, и сам генерал Хвалынский о своем служебном поприще не любит говорить, что вообще довольно странно; на войне он тоже, кажется, не бывал. Живет генерал Хвалынский в небольшом домике, один; супружеского счастья он в своей жизни не испытал и потому до сих пор еще считается женихом, и даже выгодным женихом. Зато ключница у него, женщина лет тридцати пяти, черноглазая, чернобровая, полная, свежая и с усами, по буднишним дням ходит в накрахмаленных платьях, а по воскресеньям и кисейные рукава надевает. Хорош бывает Вячеслав Илларионович на больших званых обедах, даваемых помещиками в честь губернаторов и других властей: тут он, можно сказать, совершенно в своей тарелке. Сидит он обыкновенно в таких случаях если не по правую руку губернатора, то и не в далеком от него расстоянии; в начале обеда более придерживается чувства собственного достоинства и, закинувшись назад, но не оборачивая головы, сбоку

пускает взор вниз по круглым затылкам и стоячим воротникам гостей; зато к концу стола развеселяется, начинает улыбаться во все стороны (в направлении губернатора он с начала обеда улыбался), а иногда даже предлагает тост в честь прекрасного пола, украшения нашей планеты, по его словам. Также недурен генерал Хвалынский на всех торжественных и публичных актах, экзаменах, собраньях и выставках; под благословение тоже подходить мастер. На разъездах, переправах и в других тому подобных местах люди Вячеслава Илларионыча не шумят и не кричат; напротив, раздвигая народ или вызывая карету, говорят приятным горловым баритоном: «Позвольте, позвольте, дайте генералу Хвалынскому пройти», или: «Генерала Хвалынского экипаж...» Экипаж, правда, у Хвалынского формы довольно старинной; на лакеях ливрея довольно потертая (о том, что она серая с красными выпушками, кажется, едва ли нужно упомянуть); лошади тоже довольно пожили и послужили на своем веку, но на щегольство Вячеслав Илларионыч притязаний не имеет и не считает даже званию своему приличным пускать пыль в глаза. Особенным даром слова Хвалынский не владеет или, может быть, не имеет случая выказать свое красноречие, потому что не только спора, но вообще возраженья не терпит и всяких длинных разговоров, особенно с молодыми людьми, тщательно избегает. Оно действительно вернее: а то с нынешним народом беда: как раз из повиновения выйдет и уважение потеряет. Перед лицами высшими Хвалынский большей частью безмолвствует, а к лицам низшим, которых, по-видимому, презирает, но с которыми только и знается, держит речи отрывистые и резкие, беспрестанно употребляя выраженья, подобные следующим: «Это, однако, вы пус-тя-ки говорите»; или: «Я наконец вынужденным нахожусь, милосвый сдарь мой, вам поставить на вид»; или: «Наконец вы должны, однако же, знать, с кем имеете дело», и пр. Особенно боятся его почтмейстеры, непременные заседатели и станционные смотрители. Дома он у себя никого не принимает и живет, как слышно, скрягой. Со всем тем он прекрасный помещик. «Старый служака, человек бескорыстный, с правилами, vieux grognard»[1], — говорят про него соседи. Один прокурор губернский позволяет себе улыбаться, когда при нем упоминают об отличных и солидных качествах генерала Хвалынского, — да чего не делает зависть!..

А впрочем, перейдем теперь к другому помещику.

Мардарий Аполлоныч Стегунов ни в чем не походил на Хвалынского; он едва ли где-нибудь служил и никогда красавцем не почитался. Мардарий Аполлоныч старичок низенький, пухленький, лысый, с двойным подбородком, мягкими ручками и порядочным брюшком. Он большой хлебосол и балагур; живет, как говорится, в свое удовольствие; зиму и лето ходит в полосатом шлафроке на вате. В одном он только сошелся с генералом Хвалынским: он тоже холостяк. У него пятьсот душ. Мардарий Аполлоныч занимается своим именьем довольно поверхностно; купил, чтобы не отстать от века, лет десять тому назад, у Бутенопа в Москве мо-

[1] старый ворчун (*фр.*).

лотильную машину, запер ее в сарай, да и успокоился. Разве в хороший летний день велит заложить беговые дрожки и съездит в поле на хлеба посмотреть да васильков нарвать. Живет Мардарий Аполлоныч совершенно на старый лад. И дом у него старинной постройки: в передней, как следует, пахнет квасом, сальными свечами и кожей; тут же направо буфет с трубками и утиральниками; в столовой фамильные портреты, мухи, большой горшок ерани и кислые фортопьяны; в гостиной три дивана, три стола, два зеркала и сиплые часы, с почерневшей эмалью и бронзовыми, резными стрелками; в кабинете стол с бумагами, ширмы синеватого цвета с наклеенными картинками, вырезанными из разных сочинений прошедшего столетия, шкапы с вонючими книгами, пауками и черной пылью, пухлое кресло, итальянское окно да наглухо заколоченная дверь в сад... Словом, все как водится. Людей у Мардария Аполлоныча множество, и все одеты по-старинному: в длинные синие кафтаны с высокими воротниками, панталоны мутного колорита и коротенькие желтоватые жилетцы. Гостям они говорят: «батюшка». Хозяйством у него заведывает бурмистр из мужиков, с бородой во весь тулуп; домом — старуха, повязанная коричневым платком, сморщенная и скупая. На конюшне у Мардария Аполлоныча стоит тридцать разнокалиберных лошадей; выезжает он в домоделанной коляске в полтораста пуд. Гостей принимает он очень радушно и угощает на славу, то есть: благодаря одуряющим свойствам русской кухни, лишает их вплоть до самого вечера всякой возможности заняться чем-нибудь, кроме преферанса. Сам же никогда ничем не занимается и даже «Сонник» перестал читать. Но таких помещиков у нас на Руси еще довольно много; спрашивается: с какой стати я заговорил о нем и зачем?.. А вот позвольте вместо ответа рассказать вам одно из моих посещений у Мардария Аполлоныча.

Приехал я к нему летом, часов в семь вечера. У него только что отошла всенощная, и священник, молодой человек, по-видимому, весьма робкий и недавно вышедший из семинарии, сидел в гостиной возле двери, на самом кра́юшке стула. Мардарий Аполлоныч, по обыкновению, чрезвычайно ласково меня принял: он непритворно радовался каждому гостю, да и человек он был вообще предобрый. Священник встал и взялся за шляпу.

— Погоди, погоди, батюшка, — заговорил Мардарий Аполлоныч, не выпуская моей руки, — не уходи... Я велел тебе водки принести.

— Я не пью-с, — с замешательством пробормотал священник и покраснел до ушей.

— Что за пустяки! Как в вашем званье не пить! — отвечал Мардарий Аполлоныч. — Мишка! Юшка! водки батюшке!

Юшка, высокий и худощавый старик лет восьмидесяти, вошел с рюмкой водки на темном крашеном подносе, испещренном пятнами телесного цвета.

Священник начал отказываться.

— Пей, батюшка, не ломайся, нехорошо, — заметил помещик с укоризной.

Бедный молодой человек повиновался.

— Ну, теперь, батюшка, можешь идти.

Священник начал кланяться.

— Ну, хорошо, хорошо, ступай... Прекрасный человек, — продолжал Мардарий Аполлоныч, глядя ему вслед, — очень я им доволен; одно — молод еще. Всё проповеди держит, да вот вина не пьет. Но вы-то как, мой батюшка?.. Что вы, как вы? Пойдемте-ка на балкон — вишь, вечер какой славный.

Мы вышли на балкон, сели и начали разговаривать. Мардарий Аполлоныч взглянул вниз и вдруг пришел в ужасное волненье.

— Чьи это куры? чьи это куры? — закричал он. — Чьи это куры по саду ходят?.. Юшка! Юшка! поди узнай сейчас, чьи это куры по саду ходят?.. Чьи это куры? Сколько раз я запрещал, сколько раз говорил!

Юшка побежал.

— Что за беспорядки! — твердил Мардарий Аполлоныч, — это ужас!

Несчастные куры, как теперь помню, две крапчатые и одна белая с хохлом, преспокойно продолжали ходить под яблонями, изредка выражая свои чувства продолжительным крехтаньем, как вдруг Юшка, без шапки, с палкой в руке, и трое других совершеннолетних дворовых, все вместе дружно ринулись на них. Пошла потеха. Курицы кричали, хлопали крыльями, прыгали, оглушительно кудахтали; дворовые люди бегали, спотыкались, падали; барин с балкона кричал как исступленный: «Лови, лови! лови, лови! лови, лови, лови!.. Чьи это куры, чьи это куры?» Наконец одному дворовому человеку удалось поймать хохлатую курицу, придавив ее грудью к земле, и в то же самое время через плетень сада, с улицы, перескочила девочка лет одиннадцати, вся растрепанная и с хворостиной в руке.

— А, вот чьи куры! — с торжеством воскликнул помещик. — Ермила-кучера куры! Вон он свою Наталку загнать их выслал... Небось Параши не выслал, — присовокупил помещик вполголоса и значительно ухмыльнулся. — Эй, Юшка! брось куриц-то: поймай-ка мне Наталку.

Но прежде чем запыхавшийся Юшка успел добежать до перепуганной девчонки — откуда не возьмись ключница, схватила ее за руку и несколько раз шлепнула бедняжку по спине...

— Вот тэк, э вот тэк, — подхватил помещик, — те, те, те! те, те, те!.. А кур-то отбери, Авдотья, — прибавил он громким голосом и с светлым лицом обратился ко мне: — Какова, батюшка, травля была, ась? Вспотел даже, посмотрите.

И Мардарий Аполлоныч расхохотался.

Мы остались на балконе. Вечер был действительно необыкновенно хорош.

Нам подали чай.

— Скажите-ка, — начал я, — Мардарий Аполлоныч, ваши это дворы выселены, вон там, на дороге, за оврагом?

— Мои... а что?

— Как же это вы, Мардарий Аполлоныч? Ведь это грешно.

Избенки отведены мужикам скверные, тесные; деревца кругом не увидишь: сáжалки даже нету; колодезь один, да и тот никуда не годится. Неужели вы другого места найти не могли?.. И, говорят, вы у них даже старые конопляники отняли?

— А что будешь делать с размежеваньем? — отвечал мне Мардарий Аполлоныч. — У меня это размежевание вот где сидит. (Он указал на свой затылок.) И никакой пользы я от этого размежевания не предвижу. А что я конопляники у них отнял и сáжалки, что ли, там у них не выкопал, — уж про это, батюшка, я сам знаю. Я человек простой — по-старому поступаю. По-моему: коли барин — так барин, а коли мужик — так мужик... Вот что.

На такой ясный и убедительный довод отвечать, разумеется, было нечего.

— Да притом, — продолжал он, — и мужики-то плохие, опальные. Особенно там две семьи; еще батюшка покойный, дай бог ему царство небесное, их не жаловал, больно не жаловал. А у меня, скáжу вам, такая примета: коли отец вор, то и сын вор; уж там как хотите... О, кровь, кровь — великое дело! Я, признаться вам откровенно, из тех-то двух семей и без очереди в солдаты отдавал, и так рассовывал — кой-куды; да не переводятся, что будешь делать? Плодущи, проклятые.

Между тем воздух затих совершенно. Лишь изредка ветер набегал струями и, в последний раз замирая около дома, донес до нашего слуха звук мерных и частых ударов, раздававшихся в направлении конюшни. Мардарий Аполлоныч только что донес к губам налитое блюдечко и уже расширил было ноздри, без чего, как известно, ни один коренной русак не втягивает в себя чая, — но остановился, прислушался, кивнул головой, хлебнул и, ставя блюдечко на стол, произнес с добрейшей улыбкой и как бы невольно вторя ударам: «Чюки-чюки-чюк! Чюки-чюк! Чюки-чюк!»

— Это что такое? — спросил я с изумлением.

— А там, по моему приказу, шалунишку наказывают... Васю-буфетчика изволите знать?

— Какого Васю?

— Да вот что намедни за обедом нам служил. Еще с такими большими бакенбардами ходит.

Самое лютое негодование не устояло бы против ясного и кроткого взора Мардария Аполлоныча.

— Что вы, молодой человек, что вы? — заговорил он, качая головой. — Что я, злодей, что ли, что вы на меня так уставились? Любяй да наказует: вы сами знаете.

Через четверть часа я простился с Мардарием Аполлонычем. Проезжая через деревню, увидел я буфетчика Васю. Он шел по улице и грыз орехи. Я велел кучеру остановить лошадей и подозвал его.

— Что, брат, тебя сегодня наказали? — спросил я его.

— А вы почем знаете? — отвечал Вася.

— Мне твой барин сказывал.

— Сам барин?

— За что ж он тебя велел наказать?

— А поделом, батюшка, поделом. У нас по пустякам не наказывают; такого заведенья у нас нету — ни, ни. У нас барин не такой; у нас барин... такого барина в целой губернии не сыщешь.

— Пошел! — сказал я кучеру. «Вот она, старая-то Русь!» — думал я на возвратном пути.

ЛЕБЕДЯНЬ

Одна из главных выгод охоты, любезные мои читатели, состоит в том, что она заставляет вас беспрестанно переезжать с места на место, что для человека незанятого весьма приятно. Правда, иногда (особенно в дождливое время) не слишком весело скитаться по проселочным дорогам, брать «целиком», останавливать всякого встречного мужика вопросом: «Эй, любезный! как бы нам проехать в Мордо́вку?», а в Мордовке выпытывать у тупоумной бабы (работники-то все в поле): далеко ли до постоялых двориков на большой дороге, и как до них добраться, и, проехав верст десять, вместо постоялых двориков очутиться в помещичьем сильно разоренном сельце Худобубнове, к крайнему изумлению целого стада свиней, погруженных по уши в темно-бурую грязь на самой середине улицы и нисколько не ожидавших, что их обеспокоят. Не весело также переправляться через животрепещущие мостики, спускаться в овраги, перебираться вброд через болотистые ручьи; не весело ехать, целые сутки ехать по зеленоватому морю больших дорог или, чего боже сохрани, загрязнуть на несколько ча́сов перед пестрым версто́вым столбом с цифрами: 22 на одной стороне и 23 на другой; не весело по неделям питаться яйцами, молоком и хваленым ржаным хлебом... Но все эти неудобства и неудачи выкупаются другого рода выгодами и удовольствиями. Впрочем, приступим к самому рассказу.

Вследствие всего вышесказанного мне не для чего толковать читателю, каким образом, лет пять тому назад, я попал в Лебедянь в самый развал ярмарки. Наш брат охотник может в одно прекрасное утро выехать из своего более или менее родового поместья с намереньем вернуться на другой же день вечером и понемногу, понемногу, не переставая стрелять по бекасам, достигнуть наконец благословенных берегов Печоры; притом всякий охотник до ружья и до собаки — страстный почитатель благороднейшего животного в мире: лошади. Итак, я прибыл в Лебедянь, остановился в гостинице, переоделся и отправился на ярмарку. (Половой, длинный и сухопарый малый лет двадцати, со сладким носовым тенором, уже успел мне сообщить, что их сиятельство, князь Н., ремонтер ***го полка, остановился у них в трактире, что много других господ наехало, что по вечерам цыгане поют и пана Твардовского дают на театре, что кони, дескать, в цене, — впрочем, хорошие приведены кони.)

На ярмарочной площади бесконечными рядами тянулись телеги, за телегами лошади всех возможных родов: рысистые, заводские, битюки, возовые, ямские и простые крестьянские. Иные,

сытые и гладкие, подобранные по мастям, покрытые разноцветными попонами, коротко привязанные к высоким кряквам, боязливо косились назад, на слишком знакомые им кнуты своих владельцев-барышников; помещичьи кони, высланные степными дворянами за сто, за двести верст, под надзором какого-нибудь дряхлого кучера и двух или трех крепкоголовых конюхов, махали своими длинными шеями, топали ногами, грызли со скуки надолбы; саврасые вятки плотно прижимались друг к дружке; в величавой неподвижности, словно львы, стояли широкозадые рысаки с волнистыми хвостами и косматыми лапами, серые в яблоках, вороные, гнедые. Знатоки почтительно останавливались перед ними. В улицах, образованных телегами, толпились люди всякого звания, возраста и вида: барышники, в синих кафтанах и высоких шапках, лукаво высматривали и выжидали покупщиков; лупоглазые, кудрявые цыганы метались взад и вперед как угорелые, глядели лошадям в зубы, поднимали им ноги и хвосты, кричали, бранились, служили посредниками, метали жребий или увивались около какого-нибудь ремонтера в фуражке и военной шинели с бобром. Дюжий казак торчал верхом на тощем мерине с оленьей шеей и продавал его «со всим», то есть с седлом и уздечкой. Мужики, в изорванных под мышками тулупах, отчаянно продирались сквозь толпу, наваливались десятками на телегу, запряженную лошадью, которую следовало «спробовать», или, где-нибудь в стороне, при помощи увертливого цыгана, торговались до изнеможения, сто раз сряду хлопали друг друга по рукам, настаивая каждый на своей цене, между тем как предмет их спора, дрянная лошаденка, покрытая покоробленной рогожей, только что глазами помаргивала, как будто дело шло не о ней... И в самом деле, не все ли ей равно, кто ее бить будет! Широколобые помещики с крашеными усами и выражением достоинства на лице, в конфедератках и камлотовых чуйках, надетых на один рукав, снисходительно заговаривали с пузатыми купцами в пуховых шляпах и зеленых перчатках. Офицеры различных полков толкались тут же; необыкновенно длинный кирасир, немецкого происхождения, хладнокровно спрашивал у хромого барышника: сколько он желает получить за сию рыжую лошадь? Белокурый гусарчик, лет девятнадцати, подбирал пристяжную к поджарому иноходцу; ямщик в низкой шляпе, обвитой павлиньим пером, в буром армяке и с кожаными рукавицами, засунутыми за узкий зелененький кушак, искал коренника. Кучера заплетали лошадям своим хвосты, мочили гривы и давали почтительные советы господам. Окончившие сделку спешили в трактир или в кабак, смотря по состоянию... И все это возилось, кричало, копошилось, ссорилось и мирилось, бранилось и смеялось в грязи по колени. Мне хотелось купить тройку сносных лошадей для своей брички: мои начинали отказываться. Я нашел двух, а третью не успел подобрать. После обеда, которого описывать я не берусь (уже Эней знал, как неприятно припоминать минувшее горе), отправился я в так называемую кофейную, куда каждый вечер собирались ремонтеры, заводчики и другие приезжие. В биллиардной комнате, затопленной свинцовыми волнами табачного дыма, нахо-

дилось человек двадцать. Тут были развязные молодые помещики в венгерках и серых панталонах, с длинными висками и намасленными усиками, благородно и смело взиравшие кругом; другие дворяне в казакинах, с необыкновенно короткими шеями и заплывшими глазками, тут же мучительно сопели; купчики сидели в стороне, как говорится, «на чуку»; офицеры свободно разговаривали друг с другом. На биллиарде играл князь Н., молодой человек лет двадцати двух, с веселым и несколько презрительным лицом, в сюртуке нараспашку, красной шелковой рубахе и широких бархатных шароварах; играл он с отставным поручиком Виктором Хлопаковым.

Отставной поручик Виктор Хлопаков, маленький, смугленький и худенький человек лет тридцати, с черными волосиками, карими глазами и тупым вздернутым носом, прилежно посещает выборы и ярмарки. Он подпрыгивает на ходу, ухарски разводит округленными руками, шапку носит набекрень и заворачивает рукава своего военного сюртука, подбитого сизым коленкором. Господин Хлопаков обладает уменьем подделываться к богатым петербургским шалунам, курит, пьет и в карты играет с ними, говорит им «ты». За что они его жалуют, понять довольно мудрено. Он не умен, он даже не смешон: в шуты он тоже не годится. Правда, с ним обращаются дружески-небрежно, как с добрым, но пустым малым; якшаются с ним в течение двух-трех недель, а потом вдруг и не кланяются с ним, и он сам уж не кланяется. Особенность поручика Хлопакова состоит в том, что он в продолжение года, иногда двух, употребляет постоянно одно и то же выражение, кстати и некстати, выражение нисколько не забавное, но которое, бог знает почему, всех смешит. Лет восемь тому назад он на каждом шагу говорил: «Мое вам почитание, покорнейше благодарствую», и тогдашние его покровители всякий раз помирали со смеху и заставляли его повторять «мое почитание»; потом он стал употреблять довольно сложное выражение: «Нет, уж это вы того, кескесэ, — это вышло выходит», и с тем же блистательным успехом; года два спустя придумал новую прибаутку: «Не ву горяче па, человек божий, обшит бараньей кожей» и т. д. И что же! эти, как видите, вовсе незатейливые словечки его кормят, поят и одевают. (Именье он свое давным-давно промотал и живет единственно на счет приятелей.) Заметьте, что решительно никаких других любезностей за ним не водится; правда, он выкуривает сто трубок Жукова в день, а играя на биллиарде, поднимает правую ногу выше головы и, прицеливаясь, неистово ерзает кием по руке, — ну, да ведь до таких достоинств не всякий охотник. Пьет он тоже хорошо... да на Руси этим отличиться мудрено... Словом, успех его — совершенная для меня загадка... Одно разве: осторожен он, сору из избы не выносит, ни о ком дурного словечка не скажет...

«Ну, — подумал я при виде Хлопакова, — какая-то его нынешняя поговорка?»

Князь сделал белого.

— Тридцать и никого, — возопил чахоточный маркер с темным лицом и свинцом под глазами.

Князь с треском положил желтого в крайнюю лузу.

— Эк! — одобрительно крякнул всем животом толстенький купец, сидевший в уголку за шатким столиком на одной ножке, крякнул и оробел. Но, к счастью, никто его не заметил. Он отдохнул и погладил бородку.

— Тридцать шесть и очень мало! — закричал маркер в нос.

— Что, каково, брат? — спросил князь Хлопакова.

— Что ж? известно, рррракалиооон, как есть рррракалиооон!

Князь прыснул со смеху.

— Как, как? повтори!

— Рррракалиооон! — самодовольно повторил отставной поручик.

«Вот оно, слово-то!» — подумал я.

Князь положил красного в лузу.

— Эх! не так, князь, не так,— залепетал вдруг белокурый офицерик с покрасневшими глазками, крошечным носиком и младенчески заспанным лицом. — Не так играете... надо было... не так!

— Как же? — спросил его князь через плечо.

— Надо было... того... триплетом.

— В самом деле? — пробормотал князь сквозь зубы.

— А что, князь, сегодня вечером к цыганам? — поспешно подхватил сконфуженный молодой человек. — Стешка петь будет... Ильюшка...

Князь не отвечал ему.

— Рррракалиооон, братец, — проговорил Хлопаков, лукаво прищурив левый глаз.

И князь расхохотался.

— Тридцать девять и никого, — провозгласил маркер.

— Никого... посмотри-ка, как я вот этого желтого...

Хлопаков заерзал кием по руке, прицелился и скиксовал.

— Э, рракалиоон, — закричал он с досадой.

Князь опять рассмеялся.

— Как, как, как?

Но Хлопаков своего слова повторить не захотел: надо же пококетничать.

— Стикс изволили дать, — заметил маркер. — Позвольте помелить... Сорок и очень мало!

— Да, господа, — заговорил князь, обращаясь ко всему собранию и не глядя, впрочем, ни на кого в особенности, — вы знаете, сегодня в театре Вержембицкую вызывать.

— Как же, как же, непременно! — воскликнуло наперерыв несколько господ, удивительно польщенных возможностью отвечать на княжескую речь. — Вержембицкую...

— Вержембицкая отличная актриса, гораздо лучше Сопняковой, — пропищал из угла плюгавенький человек с усиками и в очках. Несчастный! он втайне сильно вздыхал по Сопняковой, а князь не удостоил его даже взглядом.

— Че-о-эк, э, трубку! — произнес в галстух какой-то господин высокого роста, с правильным лицом и благороднейшей осанкой — по всем признакам шулер.

Человек побежал за трубкой и, вернувшись, доложил его сиятельству, что, дескать, ямщик Баклага их спрашивают-с.

— А! ну, вели ему подождать да водки ему поднеси.

— Слушаю-с.

Баклагой, как мне потом сказали, прозывался молодой, красивый и чрезвычайно избалованный ямщик; князь его любил, дарил ему лошадей, гонялся с ним, проводил с ним целые ночи... Этого самого князя, бывшего шалуна и мота, вы бы теперь не узнали... Как он раздушен, затянут, горд! Как занят службой, а главное — как рассудителен!

Однако табачный дым начинал выедать мне глаза. В последний раз выслушав восклицание Хлопакова и хохот князя, я отправился в свой нумер, где на волосяном, узком и продавленном диване, с высокой выгнутой спинкой, мой человек уже постлал мне постель.

На другой день пошел я смотреть лошадей по дворам и начал с известного барышника Ситникова. Через калитку вошел я на двор, посыпанный песочком. Перед настежь раскрытою дверью конюшни стоял сам хозяин, человек уже не молодой, высокий и толстый, в заячьем тулупчике, с поднятым и подвернутым воротником. Увидав меня, он медленно двинулся ко мне навстречу, подержал обеими руками шапку над головой и нараспев произнес:

— А, наше вам почтение. Чай, лошадок угодно посмотреть?

— Да, пришел лошадок посмотреть.

— А каких именно, смею спросить?

— Покажите, что у вас есть.

— С нашим удовольствием.

Мы вошли в конюшню. Несколько белых шавок поднялось с сена и подбежало к нам, виляя хвостами; длиннобородый старый козел с неудовольствием отошел в сторону; три конюха, в крепких, но засаленных тулупах, молча нам поклонились. Направо и налево, в искусственно возвышенных стойлах, стояло около тридцати лошадей, выхоленных и вычищенных на славу. По перекладинам перелетывали и ворковали голуби.

— Вам, то есть, для чего требуется лошадка: для езды или для завода? — спросил меня Ситников.

— И для езды и для завода.

— Понимяем-с, понимяем-с, понимяем-с, — с расстановкою произнес барышник. — Петя, покажи господину Горностая.

Мы вышли на двор.

— Да не прикажете ли лавочку из избы вынести?.. Не требуется?.. Как угодно.

Копыта загремели по доскам, щелкнул кнут, и Петя, малый лет сорока, рябой и смуглый, выскочил из конюшни вместе с серым, довольно статным жеребцом, дал ему подняться на дыбы, пробежал с ним раза два кругом двора и ловко осадил его на показном месте. Горностай вытянулся, со свистом фыркнул, закинул хвост, повел мордой и покосился на нас.

«Ученая птица!» — подумал я.

— Дай волю, дай волю, — проговорил Ситников и уставился на меня.

— Как, по-вашему, будет-с? — спросил он наконец.

— Лошадь недурна, — передние ноги не совсем надежны.

— Ноги отличные! — с убеждением возразил Ситников: — а зад-то... извольте посмотреть... печь печью, хоть выспись.

— Бабки длинны.

— Что за длинны — помилосердуйте! Пробеги-ка, Петя, пробеги, да рысью, рысью, рысью... не давай скакать.

Петя опять пробежал по двору с Горностаем. Мы все помолчали.

— Ну, поставь его на место, — проговорил Ситников, — да Сокола нам подай.

Сокол, вороной, как жук, жеребец голландской породы, со свислым задом и поджарый, оказался немного получше Горностая. Он принадлежал к числу лошадей, о которых говорят охотники, что «они секут и рубят, и в полон берут», то есть на ходу вывертывают и выкидывают передними ногами направо и налево, а вперед мало подвигаются. Купцы средних лет подлюбливают таких лошадей: побежка их напоминает ухарскую походку бойкого полового; они хороши в одиночку, для гулянья после обеда: выступая фертом и скрутив шею, усердно везут они аляповатые дрожки, нагруженные наевшимся до онеменья кучером, придавленным купцом, страдающим изжогой, и рыхлой купчихой в голубом шелковом салопе и лиловом платочке на голове. Я отказался и от Сокола. Ситников показал мне еще несколько лошадей... Одна наконец, серый в яблоках жеребец воейковской породы, мне понравилась. Я не мог удержаться и с удовольствием потрепал ее по холке. Ситников тотчас прикинулся равнодушным.

— А что, он едет хорошо? — спросил я. (О рысаке не говорят: бежит.)

— Едет, — спокойно ответил барышник.

— Нельзя ли посмотреть?..

— Отчего же, можно-с. Эй, Кузя, Догоняя в дрожки заложить.

Кузя, наездник, мастер своего дела, проехал раза три мимо нас по улице. Хорошо бежит лошадь, не сбивается, задом не подбрасывает, ногу выносит свободно, хвост отделяет и «держит», редкомах.

— А что вы за него просите?

Ситников заломил цену небывалую. Мы начали торговаться тут же на улице, как вдруг из-за угла с громом вылетела мастерски подобранная ямская тройка и лихо остановилась перед воротами Ситникова дома. На охотницкой, щегольской тележке сидел князь Н.; возле него торчал Хлопаков. Баклага правил лошадьми... и как правил! сквозь сережку бы проехал, разбойник! Гнедые пристяжные, маленькие, живые, черноглазые, черноногие, так и горят, так и поджимаются; свистни только — пропали! Караковая коренная стоит себе, закинув шею, словно лебедь, грудь вперед, ноги как стрелы, знай головой помахивает да гордо щурится... Хорошо! Хоть бы царю Ивану Васильевичу в светлый праздник прокатиться!

— Ваше сиятельство! милости просим! — закричал Ситников.

Князь соскочил с телеги. Хлопаков медленно слез с другой стороны.

— Здравствуй, брат... Есть лошади?

— Как не быть для вашего сиятельства! Пожалуйте, войдите... Петя, Павлина подай! да Похвального чтоб готовили. А с вами, батюшка, — продолжал он, обращаясь ко мне, — мы в другое время покончим... Фомка, лавку его сиятельству.

Из особенной, мною сперва не замеченной, конюшни вывели Павлина. Могучий темно-гнедой конь так и взвился всеми ногами на воздух. Ситников даже голову отвернул и зажмурился.

— У, рракалион! — провозгласил Хлопаков. — Жэм-cá.

Князь засмеялся.

Павлина остановили не без труда; он таки повозил конюха по двору; наконец его прижали к стене. Он храпел, вздрагивал и поджимался, а Ситников еще дразнил его, замахиваясь на него кнутом.

— Куда глядишь? вот я те! у! — говорил барышник с ласковой угрозой, сам невольно любуясь своим конем.

— Сколько? — спросил князь.

— Для вашего сиятельства пять тысяч.

— Три.

— Нельзя-с, ваше сиятельство, помилуйте...

— Говорят, три, рракалион, — подхватил Хлопаков.

Я не дождался конца сделки и ушел. У крайнего угла улицы заметил я на воротах сероватого домика приклеенный большой лист бумаги. Наверху был нарисован пером конь с хвостом в виде трубы и нескончаемой шеей, а под копытами коня стояли следующие слова, написанные старинным почерком.

«Здесь продаются разных мастей лошади, приведенные на Лебедянскую ярмарку с известного степного завода Анастасея Иваныча Чернобая, тамбовского помещика. Лошади сии отличных статей; выезжены в совершенстве и кроткого нрава. Господа покупатели благоволят спросить самого Анастасея Иваныча; буде же Анастасей Иваныч в отсутствии, то спросить кучера Назара Кубышкина. Господа покупатели, милости просим почтить старичка!»

Я остановился. Дай, думаю, посмотрю лошадей известного степного заводчика г-на Чернобая.

Я хотел было войти в калитку, но, против обыкновения, нашел ее запертой. Я постучался.

— Кто там?.. Покупатель? — пропищал женский голос.

— Покупатель.

— Сейчас, батюшка, сейчас.

Калитка растворилась. Я увидал бабу лет пятидесяти, простоволосую, в сапогах и в тулупе нараспашку.

— Извольте, кормилец, войти, а я сейчас пойду Анастасею Иванычу доложу... Назар, а Назар!

— Чего? — прошамшил из конюшни голос семидесятилетнего старца.

— Лощадок приготовь; покупатель пришел.

Старуха побежала в дом.

— Покупатель, покупатель, — проворчал ей в ответ Назар. — Я им еще не всем хвосты подмыл.

«О, Аркадия!» — подумал я.

— Здравствуй, батюшка, милости просим, — медленно раздался за моей спиной сочный и приятный голос. Я оглянулся: передо мною, в синей долгополой шинели, стоял старик среднего роста, с белыми волосами, любезной улыбкой и прекрасными голубыми глазами.

— Лошадок тебе? Изволь, батюшка, изволь... Да не хочешь ли ко мне сперва чайку зайти напиться?

Я отказался и поблагодарил.

— Ну, как тебе угодно. Ты меня, батюшка, извини: ведь я по старине. (Г-н Чернобай говорил не спеша и на о́.) У меня всё по простоте, знаешь... Назар, а Назар, — прибавил он протяжно и не возвышая голоса.

Назар, сморщенный старичишка, с ястребиным носиком и клиновидной бородкой, показался на пороге конюшни.

— Каких тебе, батюшка, лошадей требуется? — продолжал г-н Чернобай.

— Не слишком дорогих, езжалых, в кибитку.

— Изволь... и такие есть, изволь... Назар, Назар, покажи барину серенького меринка, знаешь, что с краю-то стоит, да гнедую с лысиной, а не то — другую гнедую, что от Красотки, знаешь?

Назар вернулся в конюшню.

— Да ты на недоуздках так их и выведи! — закричал ему вслед г-н Чернобай. — У меня, батюшка, — продолжал он, ясно и кротко глядя мне в лицо, — не то, что у барышников, чтоб им пусто было! У них там имбири разные пойдут, соль, барда[1], бог с ними совсем!.. А у меня, изволишь видеть, всё на ладони, без хитростей.

Вывели лошадей. Не понравились они мне.

— Ну, поставь их с богом на место, — проговорил Анастасей Иваныч. — Других нам покажи.

Показали других. Я наконец выбрал одну, подешевле. Начали мы торговаться. Г-н Чернобай не горячился, говорил так рассудительно, с такою важностью призывал господа бога во свидетели, что я не мог не «почтить старичка»: дал задаток.

— Ну, теперь, — промолвил Анастасей Иваныч, — позволь мне, по старому обычаю, тебе лошадку из полы в полу передать... Будешь за нее меня благодарить... Ведь свеженькая! словно орешек... нетронутая... степняч-ок! Во всякую упряжь ходит.

Он перекрестился, положил полу своей шинели себе на руку, взял недоуздок и передал мне лошадь.

— Владей с богом теперь... А чайку все не хочешь?

— Нет, покорно вас благодарю: мне домой пора.

— Как угодно... А мой кучерок теперь за тобой лошадку поведет?

---

[1] От барды и соли лошадь скоро тучнеет.

— Да, теперь, если позволите.

— Изволь, голубчик, изволь... Василий, а Василий, ступай с барином; лошадку сведи и деньги получи. Ну, прощай, батюшка, с богом.

— Прощайте, Анастасей Иваныч.

Привели мне лошадь на дом. На другой же день она оказалась запаленной и хромой. Вздумал я было ее заложить: пятится моя лошадь назад, а ударишь ее кнутом — зартачится, побрыкает, да и ляжет. Я тотчас отправился к г-ну Чернобаю. Спрашиваю:

— Дома?

— Дома.

— Что ж это вы,— говорю,— ведь вы мне запаленную лошадь продали.

— Запаленную?.. Сохрани бог!

— Да она еще и хромая, притом и с норовом.

— Хромая? Не знаю, видно, твой кучерок ее как-нибудь попортил... а я, как перед богом...

— Вы, по-настоящему, Анастасей Иваныч, ее назад взять должны.

— Нет, батюшка, не прогневайся: уж коли со двора долой — кончено. Прежде бы изволил смотреть.

Я понял, в чем дело, покорился своей участи, рассмеялся и ушел. К счастью, я за урок не слишком дорого заплатил.

Дня через два я уехал, а через неделю опять завернул в Лебедянь на возвратном пути. В кофейной я нашел почти те же лица и опять застал князя Н. за биллиардом. Но в судьбе господина Хлопакова уже успела произойти обычная перемена. Белокурый офицерик сменил его в милостях князя. Бедный отставной поручик попытался еще раз при мне пустить в ход свое словечко — авось, дескать, понравится по-прежнему, — но князь не только не улыбнулся, даже нахмурился и пожал плечом. Господин Хлопаков потупился, съежился, пробрался в уголок и начал втихомолку набивать себе трубочку...

ТАТЬЯНА БОРИСОВНА И ЕЕ ПЛЕМЯННИК

Дайте мне руку, любезный читатель, и поедемте вместе со мной. Погода прекрасная; кротко синеет майское небо; гладкие молодые листья ракит блестят, словно вымытые; широкая, ровная дорога вся покрыта той мелкой травой с красноватым стебельком, которую так охотно щиплют овцы, направо и налево, по длинным скатам пологих холмов, тихо зыблется зеленая рожь; жидкими пятнами скользят по ней тени небольших тучек. В отдаленье темнеют леса, сверкают пруды, желтеют деревни; жаворонки сотнями поднимаются, поют, падают стремглав, вытянув шейки торчат на глыбочках; грачи на дороге останавливаются, глядят на вас, приникают к земле, дают вам проехать и, подпрыгнув раза два, тяжко отлетают в сторону; на горе за оврагом мужик пашет; пегий же-

ребенок, с куцым хвостиком и взъерошенной гривкой, бежит на неверных ножках вслед за матерью: слышится его тонкое ржанье. Мы въезжаем в березовую рощу; крепкий, свежий запах приятно стесняет дыхание. Вот околица. Кучер слезает, лошади фыркают, пристяжные оглядываются, коренная помахивает хвостом и прислоняет голову к дуге... со скрыпом отворяется воротище. Кучер садится... Трогай! перед нами деревня. Миновав дворов пять, мы сворачиваем вправо, спускаемся в лощинку, въезжаем на плотину. За небольшим прудом, из-за круглых вершин яблонь и сиреней, виднеется тесовая крыша, некогда красная, с двумя трубами; кучер берет вдоль забора налево и при визгливом и сиплом лае трех престарелых шавок въезжает в настежь раскрытые ворота, лихо мчится кругом по широкому двору мимо конюшни и сарая, молодецки кланяется старухе ключнице, шагнувшей боком через высокий порог в раскрытую дверь кладовой, и останавливается наконец перед крылечком темного домика с светлыми окнами... Мы у Татьяны Борисовны. Да вот и она сама отворяет форточку и кивает нам головой... Здравствуйте, матушка!

Татьяна Борисовна — женщина лет пятидесяти, с большими серыми глазами навыкате, несколько тупым носом, румяными щеками и двойным подбородком. Лицо ее дышит приветом и лаской. Она когда-то была замужем, но скоро овдовела. Татьяна Борисовна весьма замечательная женщина. Живет она безвыездно в своем маленьком поместье, с соседями мало знается, принимает и любит одних молодых людей. Родилась она от весьма бедных помещиков и не получила никакого воспитания, то есть не говорит по-французски; в Москве даже никогда не бывала — и, несмотря на все эти недостатки, так просто и хорошо себя держит, так свободно чувствует и мыслит, так мало заражена обыкновенными недугами мелкопоместной барыни, что поистине невозможно ей не удивляться... И в самом деле: женщина круглый год живет в деревне, в глуши — и не сплетничает, не пищит, не приседает, не волнуется, не давится, не дрожит от любопытства... чудеса! Ходит она обыкновенно в сером тафтяном платье и белом чепце с висячими лиловыми лентами; любит покушать, но без излишества; варенье, сушенье и соленье предоставляет ключнице. Чем же она занимается целый день? — спросите вы... Читает? — Нет, не читает; да и, правду сказать, книги не для нее печатаются... Если нет у ней гостя, сидит себе моя Татьяна Борисовна под окном и чулок вяжет — зимой; летом в сад ходит, цветы сажает и поливает, с котятами играет по целым часам, голубей кормит... Хозяйством она мало занимается. Но если заедет к ней гость, молодой какой-нибудь сосед, которого она жалует, — Татьяна Борисовна вся оживится; усадит его, напоит чаем, слушает его рассказы, смеется, изредка его по щеке потреплет, но сама говорит мало; в беде, в горе утешит, добрый совет подаст. Сколько людей поверили ей свои домашние, задушевные тайны, плакали у ней на руках! Бывало, сядет она против гостя, обопрется тихонько на локоть и с таким участием смотрит ему в глаза, так дружелюбно улыбается, что гостю невольно в голову придет мысль: «Какая же

ты славная женщина, Татьяна Борисовна! Дай-ка я тебе расскажу, что у меня на сердце». В ее небольших, уютных комнатках хорошо, тепло человеку; у ней всегда в доме прекрасная погода, если можно так выразиться. Удивительная женщина Татьяна Борисовна, а никто ей не удивляется: ее здравый смысл, твердость и свобода, горячее участие в чужих бедах и радостях, словом, все ее достоинства точно родились с ней, никаких трудов и хлопот ей не стоили... Ее иначе и вообразить невозможно; стало быть, и не за что ее благодарить. Особенно любит она глядеть на игры и шалости молодежи; сложит руки под грудью, закинет голову, прищурит глаза и сидит, улыбаясь, да вдруг вздохнет и скажет: «Ах вы, детки мои, детки!..» Так, бывало, и хочется подойти к ней, взять ее за руку и сказать: «Послушайте, Татьяна Борисовна, вы себе цены не знаете, ведь вы, при всей вашей простоте и неучености, — необыкновенное существо!» Одно имя ее звучит чем-то знакомым, приветным, охотно произносится, возбуждает дружелюбную улыбку. Сколько раз мне, например, случалось спросить у встречного мужика: как, братец, проехать, положим, в Грачовку? «А вы, батюшка, ступайте сперва на Вязовое, а оттоле на Татьяну Борисовну, а от Татьяны Борисовны всяк вам укажет». И при имени Татьяны Борисовны мужик как-то особенно головой тряхнет. Прислугу она держит небольшую, по состоянью. Домом, прачечной, кладовой и кухней заведывает у нее ключница Агафья, бывшая ее няня, добрейшее, слезливое и беззубое существо; две здоровые девки, с крепкими сизыми щеками, вроде антоновских яблок, состоят под ее начальством. Должность камердинера, дворецкого и буфетчика занимает семидесятилетний слуга Поликарп, чудак необыкновенный, человек начитанный, отставной скрипач и поклонник Виотти, личный враг Наполеона, или, как он говорит, Бонапартишки, и страстный охотник до соловьев. Он их всегда держит пять или шесть у себя в комнате; ранней весной по целым дням сидит возле клеток, выжидая первого «рокотанья», и, дождавшись, закроет лицо руками и застонет: «Ох, жалко, жалко!» — и в три ручья зарыдает. К Поликарпу на подмогу приставлен его же внук, Вася, мальчик лет двенадцати, кудрявый и быстроглазый; Поликарп любит его без памяти и ворчит на него с утра до вечера. Он же занимается и его воспитанием. «Вася, — говорит, — скажи: Бонапартишка разбойник». — «А что дашь, тятя?» — «Что дам?.. ничего я тебе не дам... Ведь ты кто? Русский ты?» — «Я амчанин, тятя: в Амченске[1] родился». — «О, глупая голова! да Амченск-то где?» — «А я почем знаю?» — «В России Амченск, глупый». — «Так что ж что в России?» — «Как что? Бонапартишку-то его светлейшество покойный князь Михайло Илларионович Голенищев-Кутузов Смоленский, с божиею помощью, из российских пределов выгнать изволил. По эвтому случаю и песня сочинена: Бонапарту не до пляски, растерял свои подвязки... Понимаешь: отечество освободил твое». —

[1] В простонародье город Мценск называется Амченском, а жители амчанами. Амчане ребята бойкие; недаром у нас недругу сулят «амчанина на двор».

«А мне что за дело?» — «Ах ты, глупый мальчик, глупый! Ведь если бы светлейший князь Михайло Илларионович не выгнал Бонапартишки, ведь тебя бы теперь какой-нибудь мусье палкой по маковке колотил. Подошел бы этак к тебе, сказал бы: коман ву порте ву?[1] — да и стук, стук». — «А я бы его в пузо кулаком».— «А он бы тебе: бонжур, бонжур, вене иси[2],— да за хохол, за хохол». — «А я бы его по ногам, по ногам, по цибулястым-то». — «Оно точно, ноги у них цибулястые... Ну, а как он бы руки тебе стал вязать?» — «А я бы не дался; Михея-кучера на помощь бы позвал». — «А что, Вася, ведь французу с Михеем не сладить?» — «Где сладить! Михей-то во как здоров!» — «Ну, и что ж бы вы его?» — «Мы бы его по спине, да по спине». —«А он бы пардон закричал: пардон, пардон, севуплей!»[3] — «А мы бы ему: нет тебе севуплея, француз ты этакой!..» — «Молодец, Вася!.. Ну, так кричи же: разбойник Бонапартишка!» — «А ты мне сахару дай!» — «Экой!..»

С помещицами Татьяна Борисовна мало водится; они неохотно к ней ездят, и она не умеет их занимать, засыпает под шумок их речей, вздрагивает, силится раскрыть глаза и снова засыпает. Татьяна Борисовна вообще не любит женщин. У одного из ее приятелей, хорошего и смирного молодого человека, была сестра, старая девица лет тридцати восьми с половиной, существо добрейшее, но исковерканное, натянутое и восторженное. Брат ей часто рассказывал о своей соседке. В одно прекрасное утро моя старая девица, не говоря худого слова, велела оседлать себе лошадь и отправилась к Татьяне Борисовне. В длинном своем платье, со шляпой на голове, зеленым вуалем и распущенными кудрями, вошла она в переднюю и, минуя оторопелого Васю, принявшего ее за русалку, вбежала в гостиную. Татьяна Борисовна испугалась, хотела было приподняться, да ноги подкосились. «Татьяна Борисовна, — заговорила умоляющим голосом гостья, — извините мою смелость; я сестра вашего приятеля Алексея Николаевича К***, и столько наслышалась от него об вас, что решилась познакомиться с вами». — «Много чести», — пробормотала изумленная хозяйка. Гостья сбросила с себя шляпу, тряхнула кудрями, уселась подле Татьяны Борисовны, взяла ее за руку... «Итак, вот она, — начала она голосом задумчивым и тронутым, — вот это доброе, ясное, благородное, святое существо! Вот она, эта простая и вместе с тем глубокая женщина! Как я рада, как я рада! Как мы будем любить друг друга! Я отдохну наконец... Я ее себе именно такою воображала», — прибавила она шепотом, упираясь глазами в глаза Татьяны Борисовны. «Не правда ли, вы не сердитесь на меня, добрая моя, хорошая моя?» — «Помилуйте, я очень рада... Не хотите ли вы чаю?» Гостья снисходительно улыбнулась. «Wie wahr, wie unreflektiert»[4],— прошептала она словно про себя.— Позвольте обнять вас, моя милая!»

---

[1] Как вы поживаете? (от *фр.* comment vous portez-vous?)
[2] Здравствуйте, здравствуйте, идите сюда (от *фр.* bonjour, bonjour, venez ici).
[3] Простите, простите, пожалуйста! (от *фр.* pardon, pardon, s'il vous plaît!)
[4] Как правдива, как непосредственна (*нем.*).

Старая девица высидела у Татьяны Борисовны три часа, не умолкая ни на мгновенье. Она старалась растолковать новой своей знакомой собственное ее значенье. Тотчас после ухода нежданной гостьи бедная помещица отправилась в баню, напилась липового чаю и легла в постель. Но на другой же день старая девица вернулась, просидела четыре часа и удалилась с обещаньем посещать Татьяну Борисовну ежедневно. Она, изволите видеть, вздумала окончательно развить, довоспитать такую, как она выражалась, богатую природу и, вероятно, уходила бы ее наконец совершенно, если бы, во-первых, недели через две не разочаровалась «вполне» насчет приятельницы своего брата, а во-вторых, если бы не влюбилась в молодого проезжего студента, с которым тотчас же вступила в деятельную и жаркую переписку; в посланиях своих она, как водится, благословляла его на святую и прекрасную жизнь, приносила «всю себя» в жертву, требовала одного имени сестры, вдавалась в описания природы, упоминала о Гёте, Шиллере, Беттине и немецкой философии — и довела наконец бедного юношу до мрачного отчаяния. Но молодость взяла свое: в одно прекрасное утро проснулся он с такой остервенелой ненавистью к своей «сестре и лучшему другу», что едва сгоряча не прибил своего камердинера и долгое время чуть не кусался при малейшем намеке на возвышенную и бескорыстную любовь... Но с тех пор Татьяна Борисовна стала еще более прежнего избегать сближения с своими соседками.

Увы! ничто не прочно на земле. Все, что я вам рассказал о житье-бытье моей доброй помещицы, — дело прошедшее; тишина, господствовавшая в ее доме, нарушена навеки. У ней теперь, вот уж более года, живет племянник, художник из Петербурга. Вот как это случилось.

Лет восемь тому назад проживал у Татьяны Борисовны мальчик лет двенадцати, круглый сирота, сын ее покойного брата, Андрюша. У Андрюши были большие светлые, влажные глаза, маленький ротик, правильный нос и прекрасный возвышенный лоб. Он говорил тихим и сладким голосом, держал себя опрятно и чинно, ласкался и прислуживался к гостям, с сиротливой чувствительностию целовал ручку у тетушки. Бывало, не успеете вы показаться — глядь, уж он несет вам кресла. Шалостей за ним не водилось никаких: не стукнет, бывало; сидит себе в уголку за книжечкой, и так скромно и смирно, даже к спинке стула не прислоняется. Гость войдет — мой Андрюша приподнимется, прилично улыбнется и покраснеет; гость выйдет — он сядет опять, достанет из кармашика щеточку с зеркальцем и волосики себе причешет. С самых ранних лет почувствовал он охоту к рисованью. Попадался ли ему клочок бумаги, он тотчас выпрашивал у Агафьи-ключницы ножницы, тщательно выкраивал из бумажки правильный четвероугольник, проводил кругом каемочку и принимался за работу: нарисует глаз с огромным зрачком, или греческий нос, или дом с трубой и дымом в виде винта, собаку «en face», похожую на скамью, деревцо с двумя голубками и подпишет: «Рисовал Андрей Беловзоров, такого-то числа, такого-то года,

село Малые Брыки». С особенным усердием трудился он недели за две до именин Татьяны Борисовны: являлся первый с поздравлением и подносил свиток, повязанный розовой ленточкой. Татьяна Борисовна целовала племянника в лоб и распутывала узелок: свиток раскрывался и представлял любопытному взору зрителя круглый, бойко оттушеванный храм с колоннами и алтарем посередине; на алтаре пылало сердце и лежал венок, а вверху, на извилистой бандероле, четкими буквами стояло: «Тетушке и благодетельнице Татьяне Борисовне Богдановой от почтительного и любящего племянника, в знак глубочайшей привязанности». Татьяна Борисовна снова его целовала и дарила ему целковый. Большой, однако, привязанности она к нему не чувствовала: подобострастие Андрюши ей не совсем нравилось. Между тем Андрюша подрастал; Татьяна Борисовна начинала беспокоиться о его будущности. Неожиданный случай вывел ее из затруднения...

А именно: однажды, лет восемь тому назад, заехал к ней некто г. Беневоленский, Петр Михайлыч, коллежский советник и кавалер. Г-н Беневоленский некогда состоял на службе в ближайшем уездном городе и прилежно посещал Татьяну Борисовну; потом переехал в Петербург, вступил в министерство, достиг довольно важного места и в одну из частых своих поездок по казенной надобности вспомнил о своей старинной знакомой и завернул к ней, с намерением отдохнуть дня два от забот служебных «на лоне сельской тишины». Татьяна Борисовна приняла его с обыкновенным своим радушием, и г. Беневоленский... Но прежде чем мы приступим к продолжению рассказа, позвольте, любезный читатель, познакомить вас с этим новым лицом.

Г-н Беневоленский был человек толстоватый, среднего роста, мягкий на вид, с коротенькими ножками и пухленькими ручками; носил он просторный и чрезвычайно опрятный фрак, высокий и широкий галстух, белое, как снег, белье, золотую цепочку на шелковом жилете, перстень с камеем на указательном пальце и белокурый парик; говорил убедительно и кротко, выступал без шуму, приятно улыбался, приятно поводил глазами, приятно погружал подбородок в галстух: вообще приятный был человек. Сердцем его тоже господь наделил добрейшим: плакал он и восторгался легко; сверх того, пылал бескорыстной страстью к искусству, и уж подлинно бескорыстной, потому что именно в искусстве г. Беневоленский, коли правду сказать, решительно ничего не смыслил. Даже удивительно, откуда, в силу каких таинственных и непонятных законов взялась у него эта страсть? Кажется, человек он был положительный, даже дюжинный... Впрочем, у нас на Руси таких людей довольно много.

Любовь к художеству и художникам придает этим людям приторность неизъяснимую; знаться с ними, с ними разговаривать — мучительно: настоящие дубины, вымазанные медом. Они, например, никогда не называют Рафаэля — Рафаэлем, Корреджио — Корреджием: «Божественный Санцио, неподражаемый де Аллегрис», — говорят они, и говорят непременно на о́. Всякий доморощенный, самолюбивый, перехитренный и посредственный та-

лант величают они гением, или, правильнее, «хэнием»; синее небо Италии, южный лимон, душистые пары берегов Брениты не сходят у них с языка. «Эх, Ваня, Ваня», или: «Эх, Саша, Саша, — с чувством говорят они друг другу, — на юг бы нам, на юг... ведь мы с тобою греки душою, древние греки!» Наблюдать их можно на выставках, перед иными произведениями иных российских живописцев. (Должно заметить, что по большей части все эти господа патриоты страшные.) То отступят они шага на два и закинут голову, то снова придвинутся к картине; глазки их покрываются маслянистою влагой... «Фу ты, боже мой, — говорят они наконец разбитым от волнения голосом, — души-то, души-то что! эка, сердца-то, сердца! эка души-то напустил! тьма души!.. А задумано-то как! мастерски задумано!» А что у них самих в гостиных за картины! Что за художники ходят к ним по вечерам, пьют у них чай, слушают их разговоры! Какие они им подносят перспективные виды собственных комнат с щеткой на правом плане, грядкой сору на вылощенном полу, желтым самоваром на столе возле окна и самим хозяином, в халате и ермолке, с ярким бликом света на щеке! Что за длинноволосые питомцы муз, с лихорадочно-презрительной улыбкой, их посещают! Что за бледно-зеленые барышни взвизгивают у них за фортопьянами! Ибо у нас уже так на Руси заведено: одному искусству человек предаваться не может — подавай ему все. И потому нисколько не удивительно, что эти господа любители также оказывают сильное покровительство русской литературе, особенно драматической... «Джакобы Саназары» писаны для них: тысячи раз изображенная борьба непризнанного таланта с людьми, с целым миром потрясает их до дна души...

На другой же день после приезда г. Беневоленского Татьяна Борисовна, за чаем, велела племяннику показать гостю свои рисунки. «А он у вас рисует?» — не без удивления произнес г. Беневоленский и с участием обратился к Андрюше. «Как же, рисует, — сказала Татьяна Борисовна. — Такой охотник! ведь один, без учителя». — «Ах, покажите, покажите», — подхватил г. Беневоленский. Андрюша, краснея и улыбаясь, поднес гостю свою тетрадку. Г-н Беневоленский начал, с видом знатока, ее перелистывать. «Хорошо, молодой человек, — промолвил он наконец, — хорошо, очень хорошо». И он погладил Андрюшу по головке. Андрюша на лету поцеловал ему руку. «Скажите, какой талант!.. Поздравляю вас, Татьяна Борисовна, поздравляю». — «Да что, Петр Михайлыч, здесь учителя не могу ему сыскать. Из города — дорог; у соседей, у Артамоновых, есть живописец и, говорят, отличный, да барыня ему запрещает чужим людям уроки давать. Говорит, вкус себе испортит». — «Гм, — произнес г. Беневоленский, задумался и поглядел исподлобья на Андрюшу. — Ну, мы об этом потолкуем», — прибавил он вдруг и потер себе руки. В тот же день он попросил у Татьяны Борисовны позволения поговорить с ней наедине. Они заперлись. Через полчаса кликнули Андрюшу. Андрюша вошел. Г-н Беневоленский стоял у окна с легкой краской на лице и сияющими глазами. Татьяна Борисовна сидела

в углу и утирала слезы. «Ну, Андрюша, — заговорила она наконец,— благодари Петра Михайлыча; он берет тебя на свое попеченье, увозит тебя в Петербург». Андрюша так и замер на месте. «Вы мне скажите откровенно, — начал г. Беневоленский голосом, исполненным достоинства и снисходительности, — желаете ли вы быть художником, молодой человек, чувствуете ли вы священное призвание к искусству?» — «Я желаю быть художником, Петр Михайлыч»,— трепетно подтвердил Андрюша. «В таком случае я очень рад. Вам, конечно, — продолжал г. Беневоленский, — тяжко будет расстаться с вашей почтенной тетушкой; вы должны чувствовать к ней живейшую благодарность». — «Я обожаю мою тетушку», — прервал его Андрюша и заморгал глазами. «Конечно, конечно, это весьма понятно и делает вам много чести; но зато, вообразите, какую радость со временем... ваши успехи...» — «Обними меня, Андрюша», — пробормотала добрая помещица. Андрюша бросился ей на шею. «Ну, а теперь поблагодари своего благодетеля...» Андрюша обнял живот г. Беневоленского, поднялся на цыпочки и достал-таки его руку, которую благодетель, правда, принимал, но не слишком спешил принять... Надо ж потешить, удовлетворить ребенка, ну и себя можно побаловать. Дня через два г. Беневоленский уехал и увез своего нового питомца.

В течение первых трех лет разлуки Андрюша писал довольно часто, прилагал иногда к письмам рисунки. Г-н Беневоленский изредка прибавлял также несколько слов от себя, большей частью одобрительных; потом письма реже стали, реже, наконец совсем прекратились. Целый год безмолвствовал племянник; Татьяна Борисовна начинала уже беспокоиться, как вдруг получила записочку следующего содержания:

«Любезная тетушка!

Четвертого дня Петра Михайлыча, моего покровителя, не стало. Жестокий удар паралича лишил меня сей последней опоры. Конечно, мне уже теперь двадцатый год пошел; в течение семи лет я сделал значительные успехи; я сильно надеюсь на свой талант и могу посредством его жить; я не унываю, но все-таки, если можете, пришлите мне, на первый случай, 250 рублей ассигнациями. Целую ваши ручки и остаюсь» и т. д.

Татьяна Борисовна отправила к племяннику 250 рублей. Через два месяца он потребовал еще; она собрала последнее и выслала еще. Не прошло шести недель после вторичной присылки, он попросил в третий раз, будто на краски для портрета, заказанного ему княгиней Тертерешеневой. Татьяна Борисовна отказала. «В таком случае,— написал он ей,— я намерен приехать к вам в деревню для поправления моего здоровья». И действительно, в мае месяце того же года Андрюша вернулся в Малые Брыки.

Татьяна Борисовна сначала его не узнала. По письму его она ждала человека болезненного и худого, а увидела малого плечистого, толстого, с лицом широким и красным, с курчавыми и жирными волосами. Тоненький и бледненький Андрюша превратился в дюжего Андрея Иванова Беловзорова. Не одна наружность в

нем изменилась. Щепетильную застенчивость, осторожность и опрятность прежних лет заменило небрежное молодечество, неряшество нестерпимое; он на ходу качался вправо и влево, бросался в кресла, обрушался на стол, разваливался, зевал во все горло; с теткой, с людьми обращался дерзко. Я, дескать, художник, вольный казак! Знай наших! Бывало, по целым дням кисти в руки не берет; найдет на него так называемое вдохновенье — ломается словно с похмелья, тяжело, неловко, шумно; грубой краской разгорятся щеки, глаза посоловеют; пустится толковать о своем таланте, о своих успехах, о том, как он развивается, идет вперед... На деле же оказалось, что способностей его чуть-чуть хватало на сносные портретики. Невежда он был круглый, ничего не читал, да и на что художнику читать? Природа, свобода, поэзия — вот его стихии. Знай потряхивай кудрями да заливайся соловьем, да затягивайся Жуковым взасос! Хороша русская удаль, да немногим она к лицу; а бездарные Полежаевы второй руки невыносимы. Зажился наш Андрей Иваныч у тетушки: даровой хлеб, видно, по вкусу пришелся. На гостей нагонял он тоску смертельную. Сядет, бывало, за фортопьяны (у Татьяны Борисовны и фортопьяны водились) и начнет одним пальцем отыскивать «Тройку удалую»; аккорды берет, стучит по клавишам; по целым часам мучительно завывает романсы Варламова: «У-единенная сосна», или: «Нет, доктор, нет, не приходи», а у самого глаза заплыли жиром и щеки лоснятся, как барабан... А то вдруг грянет: «Уймитесь, волнения страсти»... Татьяна Борисовна так и вздрогнет.

— Удивительное дело,— заметила она мне однажды,— какие нынче всё песни сочиняют, отчаянные какие-то; в мое время иначе сочиняли: и печальные песни были, а всё приятно было слушать... Например:

Приди, приди ко мне на луг,
Где жду тебя напрасно;
Приди, приди ко мне на луг,
Где слезы лью всечасно...
Увы, придешь ко мне на луг,
Но будет поздно, милый друг!

Татьяна Борисовна лукаво улыбнулась.

«Я стра-ажду, я стра-ажду»,— завыл в соседней комнате племянник.

— Полно тебе, Андрюша.

«Душа изнывает в разлу-уке»,— продолжал неугомонный певец.

Татьяна Борисовна покачала головой.

— Ох, уж эти мне художники!..

С того времени прошел год. Беловзоров до сих пор живет у тетушки и все собирается в Петербург. Он в деревне стал поперек себя толще. Тетка — кто бы мог это подумать — в нем души не чает, а окрестные девицы в него влюбляются...

Много прежних знакомых перестало ездить к Татьяне Борисовне.

СМЕРТЬ

У меня есть сосед, молодой хозяин и молодой охотник. В одно прекрасное июльское утро заехал я к нему верхом с предложением отправиться вместе на тетеревов. Он согласился. «Только,— говорит,— поедемте по моим мелочам, к Зуше; я кстати посмотрю Чаплыгино; вы знаете, мой дубовый лес? у меня его рубят».— «Поедемте». Он велел оседлать лошадь, надел зеленый сюртучок с бронзовыми пуговицами, изображавшими кабаньи головы, вышитый гарусом ягдташ, серебряную флягу, накинул на плечо новенькое французское ружье, не без удовольствия повертелся перед зеркалом и кликнул свою собаку Эсперанс, подаренную ему кузиной, старой девицей с отличным сердцем, но без волос. Мы отправились. Мой сосед взял с собою десятского Архипа, толстого и приземистого мужика с четвероугольным лицом и допотопно развитыми скулами, да недавно нанятого управителя из остзейских губерний, юношу лет девятнадцати, худого, белокурого, подслеповатого, со свислыми плечами и длинной шеей, г. Готлиба фон-дер-Кока. Мой сосед сам недавно вступил во владение имением. Оно досталось ему в наследство от тетки, статской советницы Кардон-Катаевой, необыкновенно толстой женщины, которая, даже лежа в постеле, продолжительно и жалобно кряхтела. Мы въехали в «мелочá». «Вы меня здесь подождите на полянке»,— промолвил Ардалион Михайлыч (мой сосед), обратившись к своим спутникам. Немец поклонился, слез с лошади, достал из кармана книжку, кажется, роман Иоганны Шопенгауэр, и присел под кустик; Архип остался на солнце и в течение часа не шевельнулся. Мы покружили по кустам и не нашли ни одного выводка. Ардалион Михайлыч объявил, что он намерен отправиться в лес. Мне самому в тот день что-то не верилось в успех охоты: я тоже поплелся вслед за ним. Мы вернулись на полянку. Немец заметил страницу, встал, положил книгу в карман и сел, не без труда, на свою куцую, бракованную кобылу, которая визжала и подбрыкивала от малейшего прикосновения; Архип встрепенулся, задергал разом обоими поводьями, заболтал ногами и сдвинул наконец с места свою ошеломленную и придавленную лошаденку. Мы поехали.

Лес Ардалиона Михайлыча с детства был мне знаком. Вместе с моим французским гувернером m-r Désiré Fleury, добрейшим человеком (который, впрочем, чуть было навсегда не испортил моего здоровья, заставляя меня по вечерам пить лекарство Леруа), часто хаживал я в Чаплыгино. Весь этот лес состоял из каких-нибудь двух- или трехсот огромных дубов и ясеней. Их статные, могучие стволы великолепно чернели на золотисто-прозрачной зелени орешников и рябин; поднимаясь выше, стройно рисовались на ясной лазури и там уже раскидывали шатром свои широкие узловатые сучья; ястреба, кобчики, пустельги со свистом носились над неподвижными верхушками, пестрые дятлы крепко стучали по толстой коре; звучный напев черного дрозда внезапно раздавался в густой листве вслед за переливчатым криком иволги;

внизу, в кустах, чирикали и пели малиновки, чижи и пеночки; зяблики проворно бегали по дорожкам; беляк прокрадывался вдоль опушки, осторожно «костыляя»; красно-бурая белка резво прыгала от дерева к дереву и вдруг садилась, поднявши хвост над головой. В траве, около высоких муравейников, под легкой тенью вырезных красивых листьев папоротника, цвели фиалки и ландыши, росли сыроежки, волвянки, грузди, дубовики, красные мухоморы; на лужайках, между широкими кустами, алела земляника... А что за тень в лесу была! В самый жар, в полдень — ночь настоящая: тишина, запах, свежесть... Весело проводил я время в Чаплыгине, и оттого, признаюсь, не без грустного чувства въехал я теперь в слишком знакомый мне лес. Губительная, бесснежная зима 40-го года не пощадила старых моих друзей — дубов и ясеней; засохшие, обнаженные, кое-где покрытые чахоточной зеленью, печально высились они над молодой рощей, которая «сменила их, не заменив»...[1] Иные, еще обросшие листьями внизу, словно с упреком и отчаянием поднимали кверху свои безжизненные, обломанные ветви; у других из листвы, еще довольно густой, хотя не обильной, не избыточной по-прежнему, торчали толстые, сухие, мертвые сучья; с иных уже кора долой спадала; иные наконец вовсе повалились и гнили, словно трупы, на земле. Кто бы мог это предвидеть — тени, в Чаплыгине тени нигде нельзя было найти! Что, думал я, глядя на умирающие деревья: чай, стыдно и горько вам?.. Вспомнился мне Кольцов:

Где ж девалася
Речь высокая,
Сила гордая,
Доблесть царская?
Где ж теперь твоя
Мочь зеленая?..

— Как же это, Ардалион Михайлыч, — начал я, — отчего ж эти деревья на другой же год не срубили? Ведь за них теперь против прежнего десятой доли не дадут.

Он только плечами пожал.

— Спросили бы тетушку, — а купцы приходили, деньги приносили, приставали.

— Mein Gott! Mein Gott! — восклицал на каждом шагу фон-дер-Кок. — Што са шалость! што са шалость!

— Какая шалость? — с улыбкой заметил мой сосед.

— То ист как шалко, я скасать хотеллл. (Известно, что все немцы, одолевшие наконец нашу букву «люди», удивительно на нее напирают.)

---

[1] В 40-м году, при жесточайших морозах, до самого конца декабря не выпало снегу; зеленя все вымерзли, и много прекрасных дубовых лесов погубила эта безжалостная зима. Заменить их трудно: производительная сила земли, видимо, скудеет; на «заказанных» (с образами обойденных) пустырях, вместо прежних благородных деревьев, сами собою вырастают березы да осины; а иначе разводить рощи у нас не умеют.

Особенно возбуждали его сожаление лежавшие на земле дубы — и действительно: иной бы мельник дорого за них заплатил. Зато десятский Архип сохранял спокойствие невозмутимое и не горевал нисколько; напротив, он даже не без удовольствия через них перескакивал и кнутиком по ним постегивал.

Мы пробирались на место рубки, как вдруг, вслед за шумом упавшего дерева, раздался крик и говор, и через несколько мгновений нам навстречу из чащи выскочил молодой мужик, бледный и растрепанный.

— Что такое? куда ты бежишь? — спросил его Ардалион Михайлыч.

Он тотчас остановился.

— Ах батюшка, Ардалион Михайлыч, беда!

— Что такое?

— Максима, батюшка, деревом пришибло.

— Каким это образом?.. Подрядчика Максима?

— Подрядчика, батюшка. Стали мы ясень рубить, а он стоит да смотрит... Стоял, стоял, да и пойди за водой к колодцу: слышь, пить захотелось. Как вдруг ясень затрещит да прямо на него. Мы кричим ему: беги, беги, беги... Ему бы в сторону броситься, а он возьми да прямо и побеги... заробел, знать. Ясень-то его верхними сучьями и накрыл. И отчего так скоро повалился, — господь его знает... Разве сердцевина гнила была.

— Ну, и убило Максима?

— Убило, батюшка.

— До смерти?

— Нет, батюшка, еще жив, — да что: ноги и руки ему перешибло. Я вот за Селиверстычем бежал, за лекарем.

Ардалион Михайлыч приказал десятскому скакать в деревню за Селиверстычем, а сам крупной рысью поехал вперед на ссечки... Я за ним.

Мы нашли бедного Максима на земле. Человек десять мужиков стояло около него. Мы слезли с лошадей. Он почти не стонал, изредка раскрывал и расширял глаза, словно с удивлением глядел кругом и покусывал посиневшие губы... Подбородок у него дрожал, волосы прилипли ко лбу, грудь поднималась неровно: он умирал. Легкая тень молодой липы тихо скользила по его лицу.

Мы нагнулись к нему. Он узнал Ардалиона Михайлыча.

— Батюшка, — заговорил он едва внятно, — за попом... послать... прикажите... Господь... меня наказал... ноги, руки, все перебито... сегодня... воскресенье... а я... а я... вот... ребят-то не распустил.

Он помолчал. Дыханье ему спирало.

— Да деньги мои... жене... жене дайте... за вычетом... вот Онисим знает... кому я... что должен...

— Мы за лекарем послали, Максим, — заговорил мой сосед, — может быть, ты еще и не умрешь.

Он раскрыл было глаза и с усилием поднял брови и веки.

— Нет, умру. Вот... вот подступает, вот она, вот... Простите мне, ребята, коли в чем...

— Бог тебя простит, Максим Андреич, — глухо заговорили мужики в один голос и шапки сняли, — прости ты нас.

Он вдруг отчаянно потряс головой, тоскливо выпятил грудь и опустился опять.

— Нельзя же ему, однако, тут умирать, — воскликнул Ардалион Михайлыч, — ребята, давайте-ка вон с телеги рогожку, снесемте его в больницу.

Человека два бросились к телеге.

— Я у Ефима... сычовского... — залепетал умирающий, — лошадь вчера купил... задаток дал... так лошадь-то моя... жене ее... тоже...

Стали его класть на рогожу... Он затрепетал весь, как застреленная птица, и выпрямился.

— Умер, — пробормотали мужики.

Мы молча сели на лошадей и отъехали.

Смерть бедного Максима заставила меня призадуматься. Удивительно умирает русский мужик! Состоянье его перед кончиной нельзя назвать ни равнодушием, ни тупостью; он умирает, словно обряд совершает: холодно и просто.

Несколько лет тому назад у другого моего соседа в деревне мужик в овине обгорел. (Он так бы и остался в овине, да заезжий мещанин его полуживого вытащил: окунулся в кадку с водой, да с разбега и вышиб дверь под пылавшим навесом.) Я зашел к нему в избу. Темно в избе, душно, дымно. Спрашиваю: где больной? «А вон, батюшка, на лежанке», — отвечает мне нараспев подгорюнившаяся баба. Подхожу — лежит мужик, тулупом покрылся, дышит тяжко. «Что, как ты себя чувствуешь?» Завозился больной на печи, подняться хочет, а весь в ранах, при смерти. «Лежи, лежи, лежи... Ну, что? как?» — «Вестимо, плохо», — говорит. «Больно тебе?» Молчит. «Не нужно ли чего?» Молчит. «Не прислать ли тебе чаю, что ли?» — «Не надо». Я отошел от него, присел на лавку. Сижу четверть часа, сижу полчаса — гробовое молчание в избе. В углу, за столом под образами, прячется девочка лет пяти, хлеб ест. Мать изредка грозится на нее. В сенях ходят, стучат, разговаривают: братнина жена капусту рубит. «А, Аксинья!» — проговорил наконец больной. «Чего?» — «Квасу дай». Подала ему Аксинья квасу. Опять молчанье. Спрашиваю шепотом: «Причастили его?» — «Причастили». Ну, стало быть, и все в порядке: ждет смерти, да и только. Я не вытерпел и вышел...

А то, помнится, завернул я однажды в больницу села Красногорья, к знакомому мне фельдшеру Капитону, страстному охотнику.

Больница эта состояла из бывшего господского флигеля; устроила ее сама помещица, то есть велела прибить над дверью голубую доску с надписью белыми буквами: «Красногорская больница», и сама вручила Капитону красивый альбом для записывания имен больных. На первом листке этого альбома один из лизоблюдов и прислужников благодетельной помещицы начертал следующие стишки:

Dans cex beaux lieux, où gêgne l'allegnesse,
Ce temple fut ouvert par la Beauté;
De vos seigneurs admirez la tendresse,
Bons habitants de Krasnogorié![1] —

а другой господин внизу приписал:

Et moi aussi j'aime la nature!

Jean Kobyliatnikoff[2]

Фельдшер купил на свои деньги шесть кроватей и пустился, благословясь, лечить народ божий. Кроме его, при больнице состояло два человека: подверженный сумасшествию резчик Павел и сухорукая баба Меликитриса, занимавшая должность кухарки. Они оба приготовляли лекарства, сушили и настаивали травы; они же укрощали горячечных больных. Сумасшедший резчик был на вид угрюм и скуп на слова; по ночам пел песню «о прекрасной Венере» и к каждому проезжему подходил с просьбой позволить ему жениться на какой-то девке Маланье, давно уже умершей. Сухорукая баба била его и заставляла стеречь индюшек. Вот, сижу я однажды у фельдшера Капитона. Начали мы было разговаривать о последней нашей охоте, как вдруг на двор въехала телега, запряженная необыкновенно толстой сивой лошадью, какие бывают только у мельников. В телеге сидел плотный мужик в новом армяке, с разноцветной бородой. «А, Василий Дмитрич, — закричал из окна Капитон, — милости просим... Лыбовшинский мельник», — шепнул он мне. Мужик, покряхтывая, слез с телеги, вошел в фельдшерову комнату, поискал глазами образа и перекрестился. «Ну что, Василий Дмитрич, что новенького?.. Да вы, должно быть, нездоровы: лицо у вас нехорошо». — «Да, Капитон Тимофеич, неладно что-то».—«Что с вами?»—«Да вот что, Капитон Тимофеич. Недавно купил я в городе жернова; ну, привез их домой, да как стал их с телеги-то выкладывать, понатужился, знать, что ли, в череве-то у меня так екнуло, словно оборвалось что... да вот с тех пор все и нездоровится. Сегодня даже больно неладно». — «Гм, — промолвил Капитон и понюхал табаку, — значит, грыжа. А давно с вами это приключилось?» — «Да десятый денек пошел». — «Десятый? (Фельдшер потянул в себя сквозь зубы воздух и головой покачал.) Позволь-ка себя пощупать. Ну, Василий Дмитрич, — проговорил он наконец, — жаль мне тебя, сердечного, а ведь дело-то твое неладно; ты болен не на шутку; оставайся-ка здесь у меня; я с своей стороны все старание приложу, а впрочем, ни за что не ручаюсь». — «Будто так худо?» — пробормотал изумленный мельник. «Да, Василий Дмитрич, худо; пришли бы вы ко мне деньками двумя пораньше — и ничего бы, как рукой бы снял; а теперь у вас воспаление, вон что; того и гляди, антонов огонь сделается». — «Да быть не может, Капитон Тимофеич». — «Уж я вам говорю». — «Да как же это! (Фельдшер

---

[1] В прекрасных местах, где царствует веселье, //Сама красота воздвигла этот храм; //Восхищайтесь щедростью ваших господ,// Добрые обитатели Красногорья! (*фр.*)

[2] И я тоже люблю природу!
Иван Кобылятников (фр.)

плечами пожал.) И умирать мне из-за этакой дряни?» — «Этого я не говорю... а только оставайтесь здесь». Мужик подумал, подумал, посмотрел на пол, потом на нас взглянул, почесал в затылке да за шапку. «Куда же вы, Василий Дмитрич?» — «Куда? вестимо куда — домой, коли так плохо. Распорядиться следует, коли так». — «Да вы себе беды наделаете, Василий Дмитрич, помилуйте; я и так удивляюсь, как вы доехали? останьтесь». — «Нет, брат Капитон Тимофеич, уж умирать, так дома умирать; а то что ж я здесь умру, — у меня дома и господь знает что приключится». — «Еще неизвестно, Василий Дмитрич, как дело-то пойдет... Конечно, опасно, очень опасно, спору нет... да оттого-то и следует вам остаться». (Мужик головой покачал.) «Нет, Капитон Тимофеич, не останусь... а лекарствицо разве пропишите».— «Лекарство одно не поможет».— «Не останусь, говорят».— «Ну, как хочешь... чур, потом не пенять!»

Фельдшер вырвал страничку из альбома и, прописав рецепт, посоветовал, что еще делать. Мужик взял бумажку, дал Капитону полтинник, вышел из комнаты и сел на телегу. «Ну, прощайте, Капитон Тимофеич, не поминайте лихом да сироток не забывайте, коли что...» — «Эй, останься, Василий!» Мужик только головой тряхнул, ударил вожжой по лошади и съехал со двора. Я вышел на улицу и поглядел ему вслед. Дорога была грязная и ухабистая; мельник ехал осторожно, не торопясь, ловко правил лошадью и со встречными раскланивался... На четвертый день он умер.

Вообще удивительно умирают русские люди. Много покойников приходит мне теперь на память. Вспоминаю я тебя, старинный мой приятель, недоучившийся студент Авенир Сорокоумов, прекрасный, благороднейший человек! Вижу снова твое чахоточное зеленоватое лицо, твои жидкие русые волосики, твою кроткую улыбку, твой восторженный взгляд, твои длинные члены; слышу твой слабый, ласковый голос. Жил ты у великороссийского помещика Гура Крупяникова, учил его детей Фофу и Зёзю русской грамоте, географии и истории, терпеливо сносил тяжелые шутки самого Гура, грубые любезности дворецкого, пошлые шалости злых мальчишек, не без горькой улыбки, но и без ропота исполнял прихотливые требования скучающей барыни; зато, бывало, как ты отдыхал, как ты блаженствовал вечером, после ужина, когда, отделавшись наконец от всех обязанностей и занятий, ты садился перед окном, задумчиво закуривал трубку или с жадностью перелистывал изуродованный и засаленный нумер толстого журнала, занесенный из города землемером, таким же бездомным горемыкою, как ты! Как нравились тебе тогда всякие стихи и всякие повести, как легко навертывались слезы на твои глаза, с каким удовольствием ты смеялся, какою искреннею любовью к людям, каким благородным сочувствием ко всему доброму и прекрасному проникалась твоя младенчески чистая душа! Должно сказать правду: не отличался ты излишним остроумием; природа не одарила тебя ни памятью, ни прилежанием; в университете считался ты одним из самых плохих студентов; на лекциях ты спал, на экзаменах — молчал торжественно; но у кого сияли радостью глаза,

у кого захватывало дыхание от успеха, от удачи товарища? У Авенира... Кто слепо веровал в высокое призвание друзей своих, кто превозносил их с гордостью, защищал их с ожесточением? Кто не знал ни зависти, ни самолюбия, кто бескорыстно жертвовал собою, кто охотно подчинялся людям, не стоившим развязать ремень от сапог его?.. Все ты, все ты, наш добрый Авенир! Помню: с сокрушенным сердцем расставался ты с товарищами, уезжая на «кондицию»; злые предчувствия тебя мучили... И точно: в деревне плохо тебе пришлось; в деревне тебе некого было благоговейно выслушивать, некому удивляться, некого любить... И степняки, и образованные помещики обходились с тобою как с учителем: одни — грубо, другие — небрежно. Притом же ты и фигурой не брал; робел, краснел, потел, заикался... Даже здоровья твоего не поправил сельский воздух: истаял ты, как свечка, бедняк! Правда: комнатка твоя выходила в сад; черемухи, яблони, липы сыпали тебе на стол, на чернильницу, на книги свои легкие цветки; на стене висела голубая шелковая подушечка для часов, подаренная тебе в прощальный час добренькой чувствительной немочкой, гувернанткой с белокурыми кудрями и синими глазками; иногда заезжал к тебе старый друг из Москвы и приводил тебя в восторг чужими или даже своими стихами; но одиночество, но невыносимое рабство учительского звания, невозможность освобождения, но бесконечные осени и зимы, но болезнь неотступная... Бедный бедный Авенир!

Я посетил Сорокоумова незадолго до его смерти. Он уже почти ходить не мог. Помещик Гур Крупяников не выгонял его из дому, но жалованье перестал ему выдавать и другого учителя нанял Зёзе... Фофу отдали в кадетский корпус. Авенир сидел возле окна в старых вольтеровских креслах. Погода была чудная. Светлое осеннее небо весело синело над темно-бурою грядой обнаженных лип; кое-где шевелились и лепетали на них последние, яркозолотые листья. Прохваченная морозом земля потела и оттаивала на солнце; его косые румяные лучи били вскользь по бледной траве; в воздухе чудился легкий треск; ясно и внятно звучали в саду голоса работников. На Авенире был ветхий бухарский халат; зеленый шейный платок бросал мертвенный оттенок на его страшно исхудавшее лицо. Он весьма мне обрадовался, протянул руку, заговорил и закашлялся. Я дал ему успокоиться, подсел к нему... На коленях у Авенира лежала тетрадка стихотворений Кольцова, тщательно переписанных; он с улыбкой постучал по ней рукой. «Вот поэт,» — пролепетал он, с усилием сдерживая кашель, и пустился было декламировать едва слышным голосом:

Аль у сокола
Крылья связаны?
Аль пути ему
Все заказаны?

Я остановил его: лекарь запретил ему разговаривать. Я знал, чем ему угодить. Сорокоумов никогда, как говорится, не «следил» за наукой, но любопытствовал знать, что, дескать, до чего дошли

теперь великие умы? Бывало, поймает товарища где-нибудь в углу и начнет его расспрашивать: слушает, удивляется, верит ему на слово и уж так потом за ним и повторяет. Особенно немецкая философия его сильно занимала. Я начал толковать ему о Гегеле (дела давно минувших дней, как видите). Авенир качал утвердительно головой, поднимал брови, улыбался, шептал: «Понимаю, понимаю!.. а! хорошо, хорошо!..» Детская любознательность умирающего, бесприютного и заброшенного бедняка, признаюсь, до слез меня трогала. Должно заметить, что Авенир, в противность всем чахоточным, нисколько не обманывал себя насчет своей болезни... и что ж? — он не вздыхал, не сокрушался, даже ни разу не намекнул на свое положение...

Собравшись с силами, заговорил он о Москве, о товарищах, о Пушкине, о театре, о русской литературе; вспоминал наши пирушки, жаркие прения нашего кружка, с сожалением произнес имена двух-трех умерших приятелей...

— Помнишь Дашу? — прибавил он наконец, — вот золотая была душа! вот было сердце! И как она меня любила!.. Что с ней теперь? Чай, иссохла, исчахла, бедняжка?

Я не посмел разочаровать больного — и в самом деле, зачем ему было знать, что Даша его теперь поперек себя толще, водится с купцами — братьями Кондачковыми, белится и румянится, пищит и бранится.

Однако, подумал я, глядя на его изнеможенное лицо, нельзя ли его вытащить отсюда? Может быть, еще есть возможность его вылечить... Но Авенир не дал мне докончить мое предложение.

— Нет, брат, спасибо, — промолвил он, — все равно где умереть. Я ведь до зимы не доживу... К чему понапрасну людей беспокоить? Я к здешнему дому привык. Правда, господа-то здешние...

— Злые, что ли? — подхватил я.

— Нет, не злые: деревяшки какие-то. А впрочем, я не могу на них пожаловаться. Соседи есть: у помещика Касаткина дочь, образованная, любезная, добрейшая девица... не гордая...

Сорокоумов опять раскашлялся.

— Все бы ничего, — продолжал он, отдохнувши, — кабы трубочку выкурить позволили... А уж я так не умру, выкурю трубочку! — прибавил он, лукаво подмигнув глазом. — Слава богу, пожил довольно; с хорошими людьми знался...

— Да ты бы хоть к родным написал, — перебил я его.

— Что к родным писать? Помочь — они мне не помогут; умру — узнают. Да что об этом говорить... Расскажи-ка мне лучше, что ты за границей видел?

Я начал рассказывать. Он так и впился в меня. К вечеру я уехал, а дней через десять получил следующее письмо от г. Крупяникова:

«Сим честь имею известить вас, милостивый государь мой, что приятель ваш, у меня в доме проживавший студент, г. Авенир Сорокоумов, четвертого дня в два часа пополудни скончался и се-

годня на мой счет в приходской моей церкви похоронен. Просил он меня переслать к вам приложенные при сем книги и тетради. Денег у него оказалось 22 рубля с полтиной, которые, вместе с прочими его вещами, доставятся по принадлежности родственникам. Скончался ваш друг в совершенной памяти, и можно сказать, с таковою же бесчувственностию, не изъявляя никаких знаков сожаления, даже когда мы целым семейством с ним прощались. Супруга моя Клеопатра Александровна вам кланяется. Смерть вашего приятеля не могла не подействовать на ее нервы; что же до меня касается, то я, слава богу, здоров и честь имею пребыть

Вашим покорнейшим слугою.

Г. Крупяников».

Много других еще примеров в голову приходит, — да всего не перескажешь. Ограничусь одним.

Старушка помещица при мне умирала. Священник стал читать над ней отходную, да вдруг заметил, что больная-то действительно отходит, и поскорее подал ей крест. Помещица с неудовольствием отодвинулась. «Куда спешишь, батюшка, — проговорила она коснеющим языком, — успеешь...» Она приложилась, засунула было руку под подушку и испустила последний вздох. Под подушкой лежал целковый: она хотела заплатить священнику за свою собственную отходную...

Да, удивительно умирают русские люди!

ПЕВЦЫ

Небольшое сельцо Колотовка, принадлежавшее некогда помещице, за лихой и бойкий нрав прозванной в околотке Стрыганихой (настоящее имя ее осталось неизвестным), а ныне состоящее за каким-то петербургским немцем, лежит на скате голого холма, сверху донизу рассеченного страшным оврагом, который, зияя как бездна, вьется, разрытый и размытый, по самой середине улицы и пуще реки, — через реку можно по крайней мере навести мост, — разделяет обе стороны бедной деревушки. Несколько тощих ракит боязливо спускаются по песчаным его бокам; на самом дне, сухом и желтом, как медь, лежат огромные плиты глинистого камня. Невеселый вид, нечего сказать, — а между тем всем окрестным жителям хорошо известна дорога в Колотовку: они ездят туда охотно и часто.

У самой головы оврага, в нескольких шагах от той точки, где он начинается узкой трещиной, стоит небольшая четвероугольная избушка, стоит одна, отдельно от других. Она крыта соломой, с трубой; одно окно, словно зоркий глаз, обращено к оврагу и в зимние вечера, освещенное изнутри, далеко виднеется в тусклом тумане мороза и не одному проезжему мужичку мерцает путеводной звездою. Над дверью избушки прибита голубая дощечка:

эта избушка — кабак, прозванный «Притынным»[1]. В этом кабаке вино продается, вероятно, не дешевле положенной цены, но посещается он гораздо прилежнее, чем все окрестные заведения такого же рода. Причиной этому целовальник Николай Иваныч.

Николай Иваныч — некогда стройный, кудрявый и румяный парень, теперь же необычайно толстый, уже поседевший мужчина с заплывшим лицом, хитро-добродушными глазками и жирным лбом, перетянутым морщинами, словно нитками, — уже более двадцати лет проживает в Колотовке. Николай Иваныч человек расторопный и сметливый, как бóльшая часть целовальников. Не отличаясь ни особенной любезностью, ни говорливостью, он обладает даром привлекать и удерживать у себя гостей, которым как-то весело сидеть перед его стойкой, под спокойным и приветливым, хотя зорким взглядом флегматического хозяина. У него много здравого смысла; ему хорошо знаком и помещичий быт, и крестьянский, и мещанский; в трудных случаях он мог бы подать неглупый совет, но, как человек осторожный и эгоист, предпочитает оставаться в стороне и разве только отдаленными, словно без всякого намерения произнесенными намеками наводит своих посетителей — и то любимых им посетителей — на путь истины. Он знает толк во всем, что важно или занимательно для русского человека: в лошадях и в скотине, в лесе, в кирпичах, в посуде, в красном товаре и в кожевенном, в песнях и в плясках. Когда у него нет посещения, он обыкновенно сидит, как мешок, на земле перед дверью своей избы, подвернув под себя свои тонкие ножки, и перекидывается ласковыми словцами со всеми прохожими. Много видал он на своем веку, пережил не один десяток мелких дворян, заезжавших к нему за «очищенным», знает всё, что делается на сто верст кругом, и никогда не пробалтывается, не показывает даже виду, что ему и то известно, чего не подозревает самый проницательный становой. Знай себе помалчивает, да посмеивается, да стаканчиками пошевеливает. Его соседи уважают: штатский генерал Щерепетенко, первый по чину владелец в уезде, всякий раз снисходительно ему кланяется, когда проезжает мимо его домика. Николай Иваныч человек со влиянием: он известного конокрада заставил возвратить лошадь, которую тот свел со двора у одного из его знакомых, образумил мужиков соседней деревни, не хотевших принять нового управляющего, и т. д. Впрочем, не должно думать, чтобы он это делал из любви к справедливости, из усердия к ближним — нет! Он просто старается предупредить все то, что может как-нибудь нарушить его спокойствие. Николай Иваныч женат, и дети у него есть. Жена его, бойкая, востроносая и быстроглазая мещанка, в последнее время тоже несколько отяжелела телом, подобно своему мужу. Он во всем на нее полагается, и деньги у ней под ключом. Пьяницы-крикуны ее боятся; она их не любит: выгоды от них мало, а шуму много; молчаливые, угрюмые ей скорее по сердцу. Дети Николая Ива-

---

[1] Притынным называется всякое место, куда охотно сходятся, всякое приютное место.

ныча еще малы; первые все перемерли, но оставшиеся пошли в родителей: весело глядеть на умные личики этих здоровых ребят.

Был невыносимо жаркий июльский день, когда я, медленно передвигая ноги, вместе с моей собакой поднимался вдоль Колотовского оврага в направлении Притынного кабачка. Солнце разгоралось на небе, как бы свирепея; парило и пекло неотступно; воздух был весь пропитан душной пылью. Покрытые лоском грачи и вороны, разинув носы, жалобно глядели на проходящих, словно прося их участья; одни воробьи не горевали и, распуша перышки, еще яростнее прежнего чирикали и дрались по заборам, дружно взлетали с пыльной дороги, серыми тучками носились над зелеными конопляниками. Жажда меня мучила. Воды не было близко: в Колотовке, как и во многих других степных деревнях, мужики, за неименьем ключей и колодцев, пьют какую-то жидкую грязцу из пруда... Но кто же назовет это отвратительное пойло водою? Я хотел спросить у Николая Иваныча стакан пива или квасу.

Признаться сказать, ни в какое время года Колотовка не представляет отрадного зрелища; но особенно грустное чувство возбуждает она, когда июльское сверкающее солнце своими неумолимыми лучами затопляет и бурые полуразметанные крыши домов, и этот глубокий овраг, и выжженный, запыленный выгон, по которому безнадежно скитаются худые, длинноногие курицы, и серый осиновый сруб с дырами вместо окон, остаток прежнего барского дома, кругом заросший крапивой, бурьяном и полынью, и покрытый гусиным пухом, черный, словно раскаленный пруд, с каймой из полувысохшей грязи и сбитой набок плотиной, возле которой на мелко истоптанной, пепеловидной земле овцы, едва дыша и чихая от жара, печально теснятся друг к дружке и с унылым терпеньем наклоняют головы как можно ниже, как будто выжидая, когда ж пройдет наконец этот невыносимый зной. Усталыми шагами приближался я к жилищу Николая Иваныча, возбуждая, как водится, в ребятишках изумление, доходившее до напряженно-бессмысленного созерцания, в собаках — негодование, выражавшееся лаем, до того хриплым и злобным, что, казалось, у них отрывалась вся внутренность, и они сами потом кашляли и задыхались, — как вдруг на пороге кабачка показался мужчина высокого роста, без шапки, во фризовой шинели, низко подпоясанной голубым кушачком. На вид он казался дворовым; густые седые волосы в беспорядке вздымались над сухим и сморщенным его лицом. Он звал кого-то, торопливо действуя руками, которые, очевидно, размахивались гораздо далее, чем он сам того желал. Заметно было, что он уже успел выпить.

— Иди, иди же! — залепетал он, с усилием поднимая густые брови, — иди, Моргач, иди! Экой ты, братец, ползешь, право слово. Это нехорошо, братец. Тут ждут тебя, а ты вот ползешь... Иди.

— Ну, иду, иду, — раздался дребезжащий голос, и из-за избы направо показался человек низенький, толстый и хромой. На нем была довольно опрятная суконная чуйка, вдетая на один рукав;

высокая остроконечная шапка, прямо надвинутая на брови, придавала его круглому, пухлому лицу выражение лукавое и насмешливое. Его маленькие желтые глазки так и бегали, с тонких губ не сходила сдержанная, напряженная улыбка, а нос, острый и длинный, нахально выдвигался вперед, как руль. — Иду, любезный, — продолжал он, ковыляя в направлении питейного заведенья, — зачем ты меня зовешь?.. Кто меня ждет?

— Зачем я тебя зову? — сказал с укоризной человек во фризовой шинели. — Экой ты, Моргач, чудной, братец: тебя зовут в кабак, а ты еще спрашиваешь, зачем. А ждут тебя всё люди добрые: Турок-Яшка, да Дикий-Барин, да рядчик с Жиздры. Яшка-то с рядчиком об заклад побились: осьмуху пива поставили — кто кого одолеет, лучше споет то есть... понимаешь?

— Яшка петь будет? — с живостью проговорил человек, прозванный Моргачом. — И ты не врешь, Обалдуй?

— Я не вру, — с достоинством отвечал Обалдуй, — а ты брешешь. Стало быть, будет петь, коли об заклад побился, божья коровка ты этакая, плут ты этакой, Моргач!

— Ну, пойдем, простота, — возразил Моргач.

— Ну, поцелуй же меня по крайней мере, душа ты моя, —залепетал Обалдуй, широко раскрыв объятия.

— Вишь, Езоп изнеженный, — презрительно ответил Моргач, отталкивая его локтем, и оба, нагнувшись, вошли в низенькую дверь.

Слышанный мною разговор сильно возбудил мое любопытство. Уже не раз доходили до меня слухи об Яшке-Турке как о лучшем певце в околотке, и вдруг мне представился случай услышать его в состязании с другим мастером. Я удвоил шаги и вошел в заведение.

Вероятно, не многие из моих читателей имели случай заглядывать в деревенские кабаки; но наш брат, охотник, куда не заходит! Устройство их чрезвычайно просто. Они состоят обыкновенно из темных сеней и белой избы, разделенной надвое перегородкой, за которую никто из посетителей не имеет права заходить. В этой перегородке, над широким дубовым столом, проделано большое продольное отверстие. На этом столе, или стойке, продается вино. Запечатанные штофы разной величины рядком стоят на полках, прямо против отверстия. В передней части избы, предоставленной посетителям, находятся лавки, две-три пустые бочки, угловой стол. Деревенские кабаки большей частью довольно темны, и почти никогда не увидите вы на их бревенчатых стенах каких-нибудь ярко раскрашенных лубочных картин, без которых редкая изба обходится.

Когда я вошел в Притынный кабачок, в нем уже собралось довольно многочисленное общество.

За стойкой, как водится, почти во всю ширину отверстия, стоял Николай Иваныч, в пестрой ситцевой рубахе, и, с ленивой усмешкой на пухлых щеках, наливал своей полной и белой рукой два стакана вина вошедшим приятелям, Моргачу и Обалдую; а за ним, в углу, возле окна, виднелась его востроглазая жена. Посере-

дине комнаты стоял Яшка-Турок, худой и стройный человек лет двадцати трех, одетый в долгополый нанковый кафтан голубого цвета. Он смотрел удалым фабричным малым и, казалось, не мог похвастаться отличным здоровьем. Его впалые щеки, большие беспокойные серые глаза, прямой нос с тонкими, подвижными ноздрями, белый покатый лоб с закинутыми назад светло-русыми кудрями, крупные, но красивые, выразительные губы — все его лицо изобличало человека впечатлительного и страстного. Он был в большом волненье: мигал глазами, неровно дышал, руки его дрожали, как в лихорадке, — да у него и точно была лихорадка, та тревожная, внезапная лихорадка, которая так знакома всем людям, говорящим или поющим перед собранием. Подле него стоял мужчина лет сорока, широкоплечий, широкоскулый, с низким лбом, узкими татарскими глазами, коротким и плоским носом, четвероугольным подбородком и черными блестящими волосами, жесткими, как щетина. Выражение его смуглого с свинцовым отливом лица, особенно его бледных губ, можно было бы назвать почти свирепым, если б оно не было так спокойно-задумчиво. Он почти не шевелился и только медленно поглядывал кругом, как бык из-под ярма. Одет он был в какой-то поношенный сюртук с медными гладкими пуговицами; старый черный шелковый платок окутывал его огромную шею. Звали его Диким-Барином. Прямо против него, на лавке под образами, сидел соперник Яшки — рядчик из Жиздры. Это был невысокого роста плотный мужчина лет тридцати, рябой и курчавый, с тупым вздернутым носом, живыми карими глазами и жидкой бородкой. Он бойко поглядывал кругом, подсунув под себя руки, беспечно болтал и постукивал ногами, обутыми в щегольские сапоги с оторочкой. На нем был новый тонкий армяк из серого сукна с плисовым воротником, от которого резко отделялся край алой рубахи, плотно застегнутой вокруг горла. В противоположном углу, направо от двери, сидел за столом какой-то мужичок в узкой изношенной свите, с огромной дырой на плече. Солнечный свет струился жидким желтоватым потоком сквозь запыленные стекла двух небольших окошек и, казалось, не мог победить обычной темноты комнаты: все предметы были освещены скупо, словно пятнами. Зато в ней было почти прохладно, и чувство духоты и зноя, словно бремя, свалилось у меня с плеч, как только я переступил порог.

Мой приход — я это мог заметить — сначала несколько смутил гостей Николая Иваныча; но, увидев, что он поклонился мне, как знакомому человеку, они успокоились и уже более не обращали на меня внимания. Я спросил себе пива и сел в уголок, возле мужичка в изорванной свите.

— Ну, что ж! — возопил вдруг Обалдуй, выпив духом стакан вина и сопровождая свое восклицание теми странными размахиваниями рук, без которых он, по-видимому, не произносил ни одного слова. — Чего еще ждать? Начинать так начинать. А? Яша?..

— Начинать, начинать, — одобрительно подхватил Николай Иваныч.

— Начнем, пожалуй, — хладнокровно и с самоуверенной улыбкой промолвил рядчик, — я готов.

— И я готов, — с волнением произнес Яков.

— Ну, начинайте, ребятки, начинайте, — пропищал Моргач.

Но несмотря на единодушно изъявленное желание, никто не начинал; рядчик даже не приподнялся с лавки, — все словно ждали чего-то.

— Начинай! — угрюмо и резко проговорил Дикий-Барин.

Яков вздрогнул. Рядчик встал, осунул кушак и откашлялся.

— А кому начать? — спросил он слегка изменившимся голосом у Дикого-Барина, который все продолжал стоять неподвижно посередине комнаты, широко расставив толстые ноги и почти по локоть засунув могучие руки в карманы шаровар.

— Тебе, тебе, рядчик, — залепетал Обалдуй, — тебе, братец.

Дикий-Барин посмотрел на него исподлобья. Обалдуй слабо пискнул, замялся, глянул куда-то в потолок, повел плечами и умолк.

— Жеребий кинуть,— с расстановкой произнес Дикий-Барин, — да осьмуху на стойку.

Николай Иваныч нагнулся, достал, кряхтя, с полу осьмуху и поставил ее на стол.

Дикий-Барин глянул на Якова и промолвил: «Ну!»

Яков зарылся у себя в карманах, достал грош и наметил его зубом. Рядчик вынул из-под полы кафтана новый кожаный кошелек, не торопясь распутал шнурок и, насыпав множество мелочи на руку, выбрал новенький грош. Обалдуй подставил свой затасканный картуз с обломанным и отставшим козырьком; Яков кинул в него свой грош, рядчик — свой.

— Тебе выбирать, — проговорил Дикий-Барин, обратившись к Моргачу.

Моргач самодовольно усмехнулся, взял картуз в обе руки и начал его встряхивать.

Мгновенно воцарилась глубокая тишина: гроши слабо звякали, ударяясь друг о друга. Я внимательно поглядел кругом: все лица выражали напряженное ожидание; сам Дикий-Барин прищурился; мой сосед, мужичок в изорванной свитке, и тот даже с любопытством вытянул шею. Моргач запустил руку в картуз и достал рядчиков грош; все вздохнули. Яков покраснел, а рядчик провел рукой по волосам.

— Ведь я же говорил, что тебе, — воскликнул Обалдуй, — я ведь говорил.

— Ну, ну, не «циркай»![1] — презрительно заметил Дикий-Барин.— Начинай,— продолжал он, качнув головой на рядчика.

— Какую же мне песню петь? — спросил рядчик, приходя в волненье.

— Какую хочешь, — отвечал Моргач. — Какую вздумается, ту и пой.

---

[1] Циркают ястреба, когда они чего-нибудь испугаются.

— Конечно, какую хочешь, — прибавил Николай Иваныч, медленно складывая руки на груди. — В этом тебе указу нету. Пой какую хочешь; да только пой хорошо; а мы уж потом решим по совести.

— Разумеется, по совести, — подхватил Обалдуй и полизал край пустого стакана.

— Дайте, братцы, откашляться маленько, — заговорил рядчик, перебирая пальцами вдоль воротника кафтана.

— Ну, ну, не прохлаждайся — начинай! — решил Дикий-Барин и потупился.

Рядчик подумал немного, встряхнул головой и выступил вперед. Яков впился в него глазами...

Но прежде, чем я приступлю к описанию самого состязания, считаю не лишним сказать несколько слов о каждом из действующих лиц моего рассказа. Жизнь некоторых из них была уже мне известна, когда я встретился с ними в Притынном кабачке; о других я собрал сведения впоследствии.

Начнем с Обалдуя. Настоящее имя этого человека было Евграф Иванов; но никто во всем околотке не звал его иначе как Обалдуем, и он сам величал себя тем же прозвищем: так хорошо оно к нему пристало. И действительно, оно как нельзя лучше шло к его незначительным, вечно встревоженным чертам. Это был загулявший, холостой дворовый человек, от которого собственные господа давным-давно отступились и который, не имея никакой должности, не получая ни гроша жалованья, находил, однако, средство каждый день покутить на чужой счет. У него было множество знакомых, которые поили его вином и чаем, сами не зная зачем, потому что он не только не был в обществе забавен, но даже, напротив, надоедал всем своей бессмысленной болтовней, несносной навязчивостью, лихорадочными телодвижениями и беспрестанным неестественным хохотом. Он не умел ни петь, ни плясать; отроду не сказал не только умного, даже путного слова: все «лотошил» да врал что ни попало — прямой Обалдуй! И между тем ни одной попойки на сорок верст кругом не обходилось без того, чтобы его долговязая фигура не вертелась тут же между гостями, — так уж к нему привыкли и переносили его присутствие как неизбежное зло. Правда, обходились с ним презрительно, но укрощать его нелепые порывы умел один Дикий-Барин.

Моргач нисколько не походил на Обалдуя. К нему тоже шло названье Моргача, хотя он глазами не моргал более других людей; известное дело: русский народ на прозвища мастер. Несмотря на мое старанье выведать пообстоятельнее прошедшее этого человека, в жизни его остались для меня — и, вероятно, для многих других — темные пятна, места, как выражаются книжники, покрытые глубоким мраком неизвестности. Я узнал только, что он некогда был кучером у старой бездетной барыни, бежал со вверенной ему тройкой лошадей, пропадал целый год и, должно быть, убедившись на деле в невыгодах и бедствиях бродячей жизни, вернулся сам, но уже хромой, бросился в ноги своей госпоже и, в течение нескольких лет примерным поведеньем загладив свое преступленье,

понемногу вошел к ней в милость, заслужил наконец ее полную доверенность, попал в приказчики, а по смерти барыни, неизвестно каким образом, оказался отпущенным на волю, приписался в мещане, начал снимать у соседей бакши, разбогател и живет теперь припеваючи. Это человек опытный, себе на уме, не злой и не добрый, а более расчетливый; это тертый калач, который знает людей и умеет ими пользоваться. Он осторожен и в то же время предприимчив, как лисица; болтлив, как старая женщина, и никогда не проговаривается, а всякого другого заставит высказаться; впрочем, не прикидывается простачком, как это делают иные хитрецы того же десятка, да ему и трудно было бы притворяться: я никогда не видывал более проницательных и умных глаз, как его крошечные, лукавые «гляделки»[1]. Они никогда не смотрят просто — всё высматривают да подсматривают. Моргач иногда по целым неделям обдумывает какое-нибудь, по-видимому, простое предприятие, а то вдруг решится на отчаянно смелое дело; кажется, тут ему и голову сломить... смотришь — все удалось, все как по маслу пошло. Он счастлив и верит в свое счастье, верит приметам. Он вообще очень суеверен. Его не любят, потому что ему самому ни до кого дела нет, но уважают. Все его семейство состоит из одного сынишки, в котором он души не чает и который, воспитанный таким отцом, вероятно, пойдет далеко. «А Моргачонок в отца вышел», — уже и теперь говорят о нем вполголоса старики, сидя на завалинках и толкуя меж собой в летние вечера; и все понимают, что это значит, и уже не прибавляют ни слова.

Об Якове-Турке и рядчике нечего долго распространяться. Яков, прозванный Турком, потому что действительно происходил от пленной турчанки, был по душе — художник во всех смыслах этого слова, а по званию — черпальщик на бумажной фабрике у купца; что же касается до рядчика, судьба которого, признаюсь, мне осталась неизвестной, то он показался мне изворотливым и бойким городским мещанином. Но о Диком-Барине стоит поговорить несколько поподробнее.

Первое впечатление, которое производил на вас вид этого человека, было чувство какой-то грубой, тяжелой, но неотразимой силы. Сложен он был неуклюже, «сбитнем», как говорят у нас, но от него так и несло несокрушимым здоровьем, и — странное дело — его медвежеватая фигура не была лишена какой-то своеобразной грации, происходившей, может быть, от совершенно спокойной уверенности в собственном могуществе. Трудно было решить с первого разу, к какому сословию принадлежал этот Геркулес; он не походил ни на дворового, ни на мещанина, ни на обеднявшего подьячего в отставке, ни на мелкопоместного разорившегося дворянина — псаря и драчуна: он был уж точно сам по себе. Никто не знал, откуда он свалился к нам в уезд; поговаривали, что происходил он от однодворцев и состоял будто где-то прежде на службе; но ничего положительного об этом не знали; да и от кого было и узнавать, — не от него же самого: не было человека

[1] Орловцы называют глаза гляделками, так же как рот едалом.

более молчаливого и угрюмого. Также никто не мог положительно сказать, чем он живет; он никаким ремеслом не занимался, ни к кому не ездил, не знался почти ни с кем, а деньги у него водились; правда, небольшие, но водились. Вел он себя не то что скромно, — в нем вообще не было ничего скромного, — но тихо; он жил, словно никого вокруг себя не замечал и решительно ни в ком не нуждался. Дикий-Барин (так его прозвали; настоящее же его имя было Перевлесов) пользовался огромным влиянием во всем округе; ему повиновались тотчас и с охотой, хотя он не только не имел никакого права приказывать кому бы то ни было, но даже сам не изъявлял малейшего притязания на послушание людей, с которыми случайно сталкивался. Он говорил — ему покорялись; сила всегда свое возьмет. Он почти не пил вина, не знался с женщинами и страстно любил пение. В этом человеке было много загадочного; казалось, какие-то громадные силы угрюмо покоились в нем, как бы зная, что, раз поднявшись, что сорвавшись раз на волю, они должны разрушить и себя и все, до чего ни коснутся; и я жестоко ошибаюсь, если в жизни этого человека не случилось уже подобного взрыва, если он, наученный опытом и едва спасшись от гибели, неумолимо не держал теперь самого себя в ежовых рукавицах. Особенно поражала меня в нем смесь какой-то врожденной, природной свирепости и такого же врожденного благородства, — смесь, которой я не встречал ни в ком другом.

Итак, рядчик выступил вперед, закрыл до половины глаза и запел высочайшим фальцетом. Голос у него был довольно приятный и сладкий, хотя несколько сиплый; он играл и вилял этим голосом, как юлою, беспрестанно заливался и переливался сверху вниз и беспрестанно возвращался к верхним нотам, которые выдерживал и вытягивал с особенным стараньем, умолкал и потом вдруг подхватывал прежний напев с какой-то залихватской, заносистой удалью. Его переходы были иногда довольно смелы, иногда довольно забавны: знатоку они бы много доставили удовольствия; немец пришел бы от них в негодование. Это был русский tenore di grazia, ténor léger[1]. Пел он веселую, плясовую песню, слова которой, сколько я мог уловить сквозь бесконечные украшения, прибавленные согласные и восклицания, были следующие:

Распашу я, молода-молоденька,
Землицы маленько;
Я посею, молода-молоденька,
Цветика аленька.

Он пел; все слушали его с большим вниманьем. Он, видимо, чувствовал, что имеет дело с людьми сведущими, и потому, как говорится, просто лез из кожи. Действительно, в наших краях знают толк в пении, и недаром село Сергиевское, на большой орловской дороге, славится во всей России своим особенно приятным и согласным напевом. Долго рядчик пел, не возбуждая слиш-

[1] лирический тенор (*ит.* и *фр.*).

ком сильного сочувствия в своих слушателях; ему недоставало поддержки, хора; наконец, при одном особенно удачном переходе, заставившем улыбнуться самого Дикого-Барина, Обалдуй не выдержал и вскрикнул от удовольствия. Все встрепенулись. Обалдуй с Моргачом начали вполголоса подхватывать, подтягивать, покрикивать: «Лихо!.. Забирай, шельмец!.. Забирай, вытягивай, аспид! Вытягивай еще! Накаливай еще, собака ты этакая, пес!.. Погуби Ирод твою душу!» и пр. Николай Иваныч из-за стойки одобрительно закачал головой направо и налево. Обалдуй наконец затопал, засеменил ногами и задергал плечиком, а у Якова глаза так и разгорелись, как уголья, и он весь дрожал как лист и беспорядочно улыбался. Один Дикий-Барин не изменился в лице и по-прежнему не двигался с места; но взгляд его, устремленный на рядчика, несколько смягчился, хотя выражение губ оставалось презрительным. Ободренный знаками всеобщего удовольствия, рядчик совсем завихрился, и уж такие начал отделывать завитушки, так защелкал и забарабанил языком, так неистово заиграл горлом, что, когда наконец, утомленный, бледный и облитый горячим потом, он пустил, перекинувшись назад всем телом, последний замирающий возглас, — общий, слитный крик ответил ему неистовым взрывом. Обалдуй бросился ему на шею и начал душить его своими длинными, костлявыми руками; на жирном лице Николая Иваныча выступила краска, и он словно помолодел; Яков как сумасшедший закричал: «Молодец, молодец!» Даже мой сосед, мужик в изорванной свите, не вытерпел и, ударив кулаком по столу, воскликнул: «А-га! хорошо, черт побери, хорошо!» — и с решительностью плюнул в сторону.

— Ну, брат, потешил! — кричал Обалдуй, не выпуская изнеможенного рядчика из своих объятий, — потешил, нечего сказать! Выиграл, брат, выиграл! Поздравляю — осьмуха твоя! Яшке до тебя далеко... Уж я тебе говорю: далеко... А ты мне верь! (И он снова прижал рядчика к своей груди.)

— Да пусти же его; пусти, неотвязная... — с досадой заговорил Моргач, — дай ему присесть на лавку-то; вишь, он устал... Экой ты фофан, братец, право, фофан! Что пристал, словно банный лист?

— Ну что ж, пусть садится, а я за его здоровье выпью, — сказал Обалдуй и подошел к стойке. — На твой счет, брат, — прибавил он, обращаясь к рядчику.

Тот кивнул головой, сел на лавку, достал из шапки полотенце и начал утирать лицо; а Обалдуй с торопливой жадностью выпил стакан, и, по привычке горьких пьяниц, крякая, принял грустно-озабоченный вид.

— Хорошо поешь, брат, хорошо, — ласково заметил Николай Иваныч. — А теперь за тобой очередь, Яша: смотри, не сробей. Посмотрим, кто кого, посмотрим... А хорошо поет рядчик, ей-богу хорошо.

— Очинна хорошо, — заметила Николай Иванычева жена и с улыбкой поглядела на Якова.

— Хорошо-га! — повторил вполголоса мой сосед.

— А, заворотень-полеха![1] — завопил вдруг Обалдуй и, подойдя к мужичку с дырой на плече, уставился на него пальцем, запрыгал и залился дребезжащим хохотом. — Полеха! полеха! Га, баде паняй[2], заворотень! Зачем пожаловал, заворотень? — кричал он сквозь смех.

Бедный мужик смутился и уже собрался было встать да уйти поскорей, как вдруг раздался медный голос Дикого-Барина:

— Да что ж это за несносное животное такое? — произнес он, скрыпнув зубами.

— Я ничего, — забормотал Обалдуй, — я ничего... я так...

— Ну, хорошо, молчать же! — возразил Дикий-Барин. — Яков, начинай!

Яков взялся рукой за горло.

— Что, брат, того... что-то... Гм... Не знаю, право, что-то того...

— Ну, полно, не робей. Стыдись!.. чего вертишься?.. Пой, как бог тебе велит.

И Дикий-Барин потупился, выжидая.

Яков помолчал, взглянул кругом и закрылся рукой. Все так и впились в него глазами, особенно рядчик, у которого на лице, сквозь обычную самоуверенность и торжество успеха, проступило невольное, легкое беспокойство. Он прислонился к стене и опять положил под себя обе руки, но уже не болтал ногами. Когда же наконец Яков открыл свое лицо — оно было бледно, как у мертвого; глаза едва мерцали сквозь опущенные ресницы. Он глубоко вздохнул и запел... Первый звук его голоса был слаб и неровен и, казалось, не выходил из его груди, но принесся откуда-то издалека, словно залетел случайно в комнату. Странно подействовал этот трепещущий, звенящий звук на всех нас; мы взглянули друг на друга, а жена Николая Иваныча так и выпрямилась. За этим первым звуком последовал другой, более твердый и протяжный, но все еще видимо дрожащий, как струна, когда, внезапно прозвенев под сильным пальцем, она колеблется последним, быстро замирающим колебаньем, за вторым — третий, и, понемногу разгорячаясь и расширяясь, полилась заунывная песня. «Не одна во поле дороженька пролегала», — пел он, и всем нам сладко становилось и жутко. Я, признаюсь, редко слыхивал подобный голос: он был слегка разбит и звенел, как надтреснутый; он даже сначала отзывался чем-то болезненным; но в нем была и неподдельная глубокая страсть, и молодость, и сила, и сладость, и какая-то увлекательно-беспечная, грустная скорбь. Русская, правдивая, горячая душа звучала и дышала в нем и так и хватала вас за сердце, хватала прямо за его русские струны. Песнь росла, разливалась. Яковом, видимо, овладевало упоение: он уже не робел, он

---

[1] Полехами называются обитатели Южного Полесья, длинной лесной полосы, начинающейся на границе Болховского и Жиздринского уездов. Они отличаются многими особенностями в образе жизни, нравах и языке. Заворотнями же их зовут за подозрительный и тугой нрав.

[2] Полехи прибавляют почти к каждому слову восклицания: «га!» и «баде!». «Паняй» вместо погоняй.

отдавался весь своему счастью; голос его не трепетал более — он дрожал, но той едва заметной внутренней дрожью страсти, которая стрелой вонзается в душу слушателя, и беспрестанно крепчал, твердел и расширялся. Помнится, я видел однажды, вечером, во время отлива, на плоском песчаном берегу моря, грозно и тяжко шумевшего вдали, большую белую чайку: она сидела неподвижно, подставив шелковистую грудь алому сиянью зари, и только изредка медленно расширяла свои длинные крылья навстречу знакомому морю, навстречу низкому, багровому солнцу: я вспомнил о ней, слушая Якова. Он пел, совершенно позабыв и своего соперника, и всех нас, но, видимо, поднимаемый, как бодрый пловец волнами, нашим молчаливым, страстным участьем. Он пел, и от каждого звука его голоса веяло чем-то родным и необозримо широким, словно знакомая степь раскрывалась перед вами, уходя в бесконечную даль. У меня, я чувствовал, закипали на сердце и поднимались к глазам слезы; глухие, сдержанные рыданья внезапно поразили меня... Я оглянулся — жена целовальника плакала, припав грудью к окну. Яков бросил на нее быстрый взгляд и залился еще звонче, еще слаще прежнего; Николай Иваныч потупился, Моргач отвернулся; Обалдуй, весь разнеженный, стоял, глупо разинув рот; серый мужичок тихонько всхлипывал в уголку, с горьким шепотом покачивая головой; и по железному лицу Дикого-Барина, из-под совершенно надвинувшихся бровей, медленно прокатилась тяжелая слеза; рядчик поднес сжатый кулак ко лбу и не шевелился... Не знаю, чем бы разрешилось всеобщее томленье, если б Яков вдруг не кончил на высоком, необыкновенно тонком звуке — словно голос у него оборвался. Никто не крикнул, даже не шевельнулся; все как будто ждали, не будет ли он еще петь; но он раскрыл глаза, словно удивленный нашим молчаньем, вопрошающим взором обвел всех кругом и увидал, что победа была его...

— Яша, — проговорил Дикий-Барин, положил ему руку на плечо и — смолк.

Мы все стояли как оцепенелые. Рядчик тихо встал и подошел к Якову. «Ты... твоя... ты выиграл», — произнес он наконец с трудом и бросился вон из комнаты.

Его быстрое, решительное движение как будто нарушило очарованье: все вдруг заговорили шумно, радостно. Обалдуй подпрыгнул кверху, залепетал, замахал руками, как мельница крыльями; Моргач, ковыляя, подошел к Якову и стал с ним целоваться; Николай Иваныч приподнялся и торжественно объявил, что прибавляет от себя еще осьмуху пива; Дикий-Барин посмеивался каким-то добрым смехом, которого я никак не ожидал встретить на его лице; серый мужичок то и дело твердил в своем уголку, утирая обоими рукавами глаза, щеки, нос и бороду: «А хорошо, ей-богу хорошо, ну, вот будь я собачий сын, хорошо!», а жена Николая Иваныча, вся раскрасневшаяся, быстро встала и удалилась. Яков наслаждался своей победой, как дитя; все его лицо преобразилось; особенно его глаза так и засияли счастьем. Его потащили к стойке; он подозвал к ней расплакавшегося серого мужичка, послал целовальникова сынишку за рядчиком, которого, однако, тот не

сыскал, и начался пир. «Ты еще нам споешь, ты до вечера нам петь будешь», — твердил Обалдуй, высоко поднимая руки.

Я еще раз взглянул на Якова и вышел. Я не хотел остаться — я боялся испортить свое впечатление. Но зной был нестерпим по-прежнему. Он как будто висел над самой землей густым тяжелым слоем; на темно-синем небе, казалось, крутились какие-то мелкие, светлые огоньки сквозь тончайшую, почти черную пыль. Все молчало; было что-то безнадежное, придавленное в этом глубоком молчании обессиленной природы. Я добрался до сеновала и лег на только что скошенную, но уже почти высохшую траву. Долго я не мог задремать; долго звучал у меня в ушах неотразимый голос Якова... Наконец жара и усталость взяли, однако ж, свое, и я заснул мертвым сном. Когда я проснулся, — все уже потемнело; вокруг разбросанная трава сильно пахла и чуть-чуть отсырела; сквозь тонкие жерди полураскрытой крыши слабо мигали бледные звездочки. Я вышел. Заря уже давно погасла, и едва белел на небосклоне ее последний след; но в недавно раскаленном воздухе сквозь ночную свежесть чувствовалась еще теплота, и грудь все еще жаждала холодного дуновенья. Ветра не было, не было и туч; небо стояло кругом все чистое и прозрачно-темное, тихо мерцая бесчисленными, но чуть видными звездами. По деревне мелькали огоньки; из недалекого, ярко освещенного кабака несся нестройный, смутный гам, среди которого, мне казалось, я узнавал голос Якова. Ярый смех по временам поднимался оттуда взрывом. Я подошел к окошку и приложился лицом к стеклу. Я увидел невеселую, хотя пеструю и живую картину: всё было пьяно — всё, начиная с Якова. С обнаженной грудью сидел он на лавке и, напевая осиплым голосом какую-то плясовую, уличную песню, лениво перебирал и щипал струны гитары. Мокрые волосы клочьями висели над его страшно побледневшим лицом. Посередине кабака Обалдуй, совершенно «развинченный» и без кафтана, выплясывал вперепрыжку перед мужиком в сероватом армяке; мужичок, в свою очередь, с трудом топотал и шаркал ослабевшими ногами и, бессмысленно улыбаясь сквозь взъерошенную бороду, изредка помахивал одной рукой, как бы желая сказать: «Куда ни шло!» Ничего не могло быть смешней его лица; как он ни вздергивал кверху свои брови, отяжелевшие веки не хотели подняться, а так и лежали на едва заметных, посоловелых, но сладчайших глазках. Он находился в том милом состоянии окончательно подгулявшего человека, когда всякий прохожий, заглянув ему в лицо, непременно скажет: «Хорош, брат, хорош!» Моргач, весь красный как рак и широко раздув ноздри, язвительно посмеивался из угла; один Николай Иваныч, как и следует истинному целовальнику, сохранял свое неизменное хладнокровие. В комнату набралось много новых лиц; но Дикого-Барина я в ней не видал.

Я отвернулся и быстрыми шагами стал спускаться с холма, на котором лежит Колотовка. У подошвы этого холма расстилается широкая равнина; затопленная мглистыми волнами вечернего тумана, она казалась еще необъятней и как будто сливалась с потемневшим небом. Я сходил большими шагами по дороге вдоль

оврага, как вдруг где-то далеко в равнине раздался звонкий голос мальчика. «Антропка! Антропка-а-а!..» — кричал он с упорным и слезливым отчаянием, долго, долго вытягивая последний слог.

Он умолкал на несколько мгновений и снова принимался кричать. Голос его звонко разносился в неподвижном, чутко дремлющем воздухе. Тридцать раз, по крайней мере, прокричал он имя Антропки, как вдруг с противоположного конца поляны, словно с другого света, принесся едва слышный ответ:

— Чего-о-о-о-о?

Голос мальчика тотчас с радостным озлоблением закричал:

— Иди сюда, черт леши-и-и-ий!

— Заче-е-е-ем? — ответил тот спустя долгое время.

— А затем, что тебя тятя высечь хочи-и-и-т, — поспешно прокричал первый голос.

Второй голос более не откликнулся, и мальчик снова принялся взывать к Антропке. Возгласы его, более и более редкие и слабые, долетали еще до моего слуха, когда уже стало совсем темно и я огибал край леса, окружающего мою деревеньку и лежащего в четырех верстах от Колотовки...

«Антропка-а-а!» — все еще чудилось в воздухе, наполненном тенями ночи.

ПЕТР ПЕТРОВИЧ КАРАТАЕВ

Лет пять тому назад, осенью, на дороге из Москвы в Тулу, пришлось мне просидеть почти целый день в почтовом доме за недостатком лошадей. Я возвращался с охоты и имел неосторожность отправить свою тройку вперед. Смотритель, человек уже старый, угрюмый, с волосами, нависшими над самым носом, с маленькими заспанными глазами, на все мои жалобы и просьбы отвечал отрывистым ворчаньем, в сердцах хлопал дверью, как будто сам проклинал свою должность, и, выходя на крыльцо, бранил ямщиков, которые медленно брели по грязи с пудовыми дугами на руках или сидели на лавке, позевывая и почесываясь, и не обращали особенного внимания на гневные восклицания своего начальника. Я раза три уже принимался пить чай, несколько раз напрасно пытался заснуть, прочел все надписи на окнах и на стенах: скука меня томила страшная. С холодным и безнадежным отчаянием глядел я на приподнятые оглобли своего тарантаса, как вдруг зазвенел колокольчик и небольшая телега, запряженная тройкой измученных лошадей, остановилась перед крыльцом. Приезжий соскочил с телеги и с криком «живее лошадей!» вошел в комнату. Пока он, с обычным странным изумлением, выслушивал ответ смотрителя, что лошадей-де нету, я успел, со всем жадным любопытством скучающего человека, окинуть взором с ног до головы моего нового товарища. На вид ему было лет под тридцать. Оспа оставила неизгладимые следы на его лице, сухом и желтоватом, с неприятным медным отблеском; иссиня-черные длинные волосы лежали сзади кольцами на воротнике, спереди закручива-

лись в ухарские виски; небольшие опухшие глазки глядели — и только; на верхней губе торчало несколько волосков. Одет он был забубенным помещиком, посетителем конных ярмарок, в пестрый, довольно засаленный архалук, полинявший шелковый галстук лилового цвета, жилет с медными пуговками и серые панталоны с огромными раструбами, из-под которых едва выглядывали кончики нечищеных сапог. От него сильно несло табаком и водкой; на красных и толстых его пальцах, почти закрытых рукавами архалука, виднелись серебряные и тульские кольца. Такие фигуры встречаются на Руси не дюжинами, а сотнями; знакомство с ними, надобно правду сказать, не доставляет никакого удовольствия; но, несмотря на предубеждение, с которым я глядел на приезжего, я не мог не заметить беспечно доброго и страстного выраженья его лица.

— Вот и они ждут здесь более часу-с, — промолвил смотритель, указывая на меня.

«Более часу!» — Злодей смеялся надо мной.

— Да им, может быть, не так нужно, — отвечал приезжий.

— Уж этого-с мы не можем знать-с, — угрюмо сказал смотритель.

— Так неужели нельзя никак? Нет лошадей решительно?

— Нельзя-с. Ни одной лошади не имеется.

— Ну, так велите же мне самовар поставить. Подождем, делать нечего.

Приезжий сел на лавку, бросил картуз на стол и провел рукой по волосам.

— А вы уж пили чай? — спросил он меня.

— Пил.

— А еще раз для компании не угодно?

Я согласился. Толстый рыжий самовар в четвертый раз появился на столе. Я достал бутылку рому. Я не ошибся, приняв моего собеседника за мелкопоместного дворянина. Звали его Петром Петровичем Каратаевым.

Мы разговорились. Не прошло и получаса с его приезда, как уж он с самой добродушной откровенностью рассказывал мне свою жизнь.

— Теперь я еду в Москву, — говорил он мне, допивая четвертый стакан, — в деревне мне уж теперь нечего делать.

— Отчего же нечего?

— Да так-таки — нечего. Хозяйство порасстроилось, мужиков поразорил, признаться; подошли годы плохие: неурожаи, разные, знаете, несчастия... Да, впрочем,— прибавил он, уныло глянув в сторону,— какой я хозяин!

— Почему же?

— Да нет, — перебил он меня, — такие ли бывают хозяева! Вот видите ли, — продолжал он, скрутив голову набок и прилежно насасывая трубку, — вы, так, глядя на меня, можете подумать, что я и того... а ведь я, должен вам признаться, воспитанье получил средственное; достатков не было. Вы меня извините, я человек откровенный, да и наконец...

Он не договорил своей речи и махнул рукой. Я начал уверять его, что он ошибается, что я очень рад нашей встрече и проч., а потом заметил, что для управления именьем, кажется, не нужно слишком сильного образования.

— Согласен, — отвечал он, — я с вами согласен. Да все же нужно такое, особенное расположение! Иной мужика дерет как липку, и ничего! а я... Позвольте узнать, вы сами из Питера или из Москвы?

— Я из Петербурга.

Он пустил ноздрями долгую струю дыма.

— А я в Москву еду служить.

— Куда же вы намерены определиться?

— А не знаю; как там придется. Признаться вам, боюсь я службы: как раз под ответственность попадешь. Жил все в деревне; привык, знаете... да уж делать нечего... нужда! Ох, уж эта мне нужда!

— Зато вы будете жить в столице.

— В столице... ну, я не знаю, что там в столице хорошего. Посмотрим, может быть, оно и хорошо... А уж лучше деревни, кажется, и быть ничего не может.

— Да разве вам уже невозможно более жить в деревне?

Он вздохнул.

— Невозможно. Она уж теперь почитай что и не моя.

— А что?

— Да там добрый человек — сосед завелся... вексель...

Бедный Петр Петрович провел рукой по лицу, подумал и тряхнул головою.

— Ну да уж что!.. Да признаться, — прибавил он после небольшого молчанья, — мне не на кого пенять, сам виноват. Любил покуражиться!.. Люблю, черт возьми, покуражиться!

— Вы весело жили в деревне? — спросил я его.

— У меня, сударь, — отвечал он с расстановкой и глядя мне прямо в глаза, — было двенадцать смычков гончих, таких гончих, каких, скажу вам, немного. (Он это последнее слово произнес нараспев.) Русака как раз замотают, а уж на красного зверя — змеи, просто аспиды. И борзыми похвастаться я мог. Теперь же дело прошлое, лгать не для чего. Охотился я и с ружьем. Была у меня собака Контеска; стойка необыкновенная, верхним чутьем все брала. Бывало, подойду к болоту, скажу: шарш! — как искать не станет, так хоть с дюжиной собак пройди — шалишь, ничего не найдешь! а как станет — просто рада умереть на месте!.. И в комнате такая вежливая. Дашь ей хлеб из левой руки да скажешь: жид ел — ведь не возьмет, а дашь из правой да скажешь: барышня кушала,— тотчас возьмет и съест. Был у меня и щенок от нее, отличный щенок, и в Москву везти хотел, да приятель выпросил вместе с ружьем; говорит: в Москве тебе, брат, будет не до того: там уж пойдет совсем, брат, другое. Я и отдал ему щенка, да уж и ружье; уж оно все там, знаете, осталось.

— Да вы и в Москве могли бы охотиться.

— Нет уж, к чему? не сумел удержаться, так и терпи теперь. А вот лучше позвольте узнать, что́ жизнь в Москве — дорога?

— Нет, не слишком.

— Не слишком?.. А скажите, пожалуйста, ведь цыгане в Москве живут?

— Какие цыгане?

— А вот что по ярмаркам ездят?

— Да, в Москве...

— Ну, это хорошо. Люблю цыган, черт возьми, люблю...

И глаза Петра Петровича сверкнули удалой веселостью. Но вдруг он завертелся на лавке, потом задумался, потупил голову и протянул ко мне пустой стакан.

— Дайте-ка мне вашего рому,— проговорил он.

— Да чай весь вышел.

— Ничего, так, без чаю... Эх!

Каратаев положил голову на руки и оперся локтями на стол. Я молча глядел на него и ожидал уже тех чувствительных восклицаний, пожалуй, даже тех слез, на которые так щедр подгулявший человек, но когда он поднял голову, меня, признаюсь, поразило глубоко грустное выражение его лица.

— Что с вами?

— Ничего-с... старину вспомнил. Такой анекдот-с... Рассказал бы вам, да мне совестно вас беспокоить...

— Помилуйте!

— Да, — продолжал он со вздохом, — бывают случаи... хотя, например, и со мной. Вот, если хотите, я вам расскажу. Впрочем, не знаю...

— Рассказывайте, любезный Петр Петрович.

— Пожалуй, хоша оно того... Вот видите ли, — начал он, — но я, право, не знаю...

— Ну, полноте, любезный Петр Петрович.

— Ну, пожалуй. Так вот что со мной, так сказать, случилось. Жил я-с в деревне... Вдруг приглянись мне девушка, ах, да какая же девушка была... красавица, умница, а уж добрая какая! Звали ее Матреной-с. А девка она была простая, то есть, вы понимаете, крепостная, просто холопка-с. Да не моя девка, а чужая, — вот в чем беда. Ну, вот я ее полюбил, — такой, право, анекдот-с — ну, и она. Вот и стала Матрена меня просить: выкупи ее, дескать, от госпожи; да и я сам уже об эфтом подумывал... А госпожа-то у ней была богатая, старушенция страшная; жила от меня верстах в пятнадцати. Ну, вот в один, как говорится, прекрасный день я и велел заложить себе дрожки тройкой, — в корню ходил у меня иноходец, азиятец необыкновенный, зато и назывался Лампурдос, — оделся получше и поехал к Матрениной барыне. Приезжаю: дом большой, с флигелями, с садом... Уповертка Матрена меня ждала, хотела было заговорить со мной, да только руку поцеловала и отошла в сторону. Вот вхожу я в переднюю, спрашиваю: «Дома?..» А мне высокий такой лакей говорит: «Как об вас доложить прикажете?» Я говорю: «Доложи, братец, дескать, помещик Каратаев приехал о деле переговорить». Лакей ушел; я жду себе и думаю:

что-то будет? Чай, заломит, бестия, цену страшную, даром что богата. Рублей пятьсот, пожалуй, запросит. Вот наконец вернулся лакей, говорит: «Пожалуйте». Я вхожу за ним в гостиную. Сидит на креслах маленькая желтенькая старушонка и глазами моргает. «Что вам угодно?» Я сперва, знаете ли, почел за нужное объявить, что, дескать, рад знакомству. «Вы ошибаетесь, я не здешняя хозяйка, а ее родственница... Что вам угодно?» Я заметил ей тут же, что мне с хозяйкой-то и нужно переговорить. «Марья Ильинична не принимает сегодня: она нездорова... Что вам угодно?» Делать нечего, подумал я про себя, объясню ей мое обстоятельство. Старуха меня выслушала. «Матрена? какая Матрена?» — «Матрена Федорова, Куликова дочь». — «Федора Кулика дочь... да как вы ее знаете?» — «Случайным манером». — «А известно ей ваше намерение?» — «Известно». Старуха помолчала, «Да я ее, негодную!..» Я, признаюсь, удивился. «За что же, помилуйте!.. Я за нее готов внести сумму, только извольте назначить». Старая хрычовка так и зашипела. «Вот вздумали чем удивить: нужны нам очень ваши деньги!.. а вот я ее ужо, вот я ее... Дурь-то я из нее выбью». Раскашлялась старуха от злости. «Нехорошо ей у нас, что ли?.. Ах, она чертовка, прости, господи, мое согрешенье!» Я, признаюсь, вспыхнул. «За что же вы грозите бедной девке? чем она, то есть, виновата?» Старуха перекрестилась. «Ах ты, мой господи, Иисусе Христе! Да разве я в своих холопьях не вольна?» — «Да ведь она не ваша!» — «Ну, уж про это Марья Ильинична знает; не ваше, батюшка, дело; а вот я ужо Матрешке-то покажу, чья она холопка». Я, признаюсь, чуть не бросился на проклятую старуху, да вспомнил о Матрене, и руки опустились. Заробел так, что пересказать невозможно; начал упрашивать старуху: «Возьмите, дескать, что хотите». — «Да на что она вам?» — «Понравилась, матушка; войдите в мое положенье... Позвольте поцеловать у вас ручку». И таки поцеловал у шельмы руку! «Ну, — прошамшила ведьма, — я скажу Марье Ильиничне; как она прикажет; а вы заезжайте дня через два». Я уехал домой в большом беспокойстве. Начинал я догадываться, что дело неладно повел, напрасно дал свое расположенье заметить, да хватился-то я поздно. Дня через два отправился я к барыне. Привели меня в кабинет. Цветов пропасть, убранство отличное, сама сидит в таких мудреных креслах и голову назад завалила на подушки; и родственница прежняя тут сидит, да еще какая-то барышня белобрысая, в зеленом платье, криворотая, компаньонка, должно быть. Старуха загнусила: «Прошу садиться». Я сел. Стала меня расспрашивать о том, сколько мне лет, да где я служил, да что намерен делать, и так все свысока, важно. Я отвечал подробно. Старуха взяла со стола платок, помахала, помахала на себя... «Мне, говорит, докладывала Катерина Карповна об вашем намерении, докладывала, говорит; но я себе, говорит, положила за правило: людей в услужение не отпускать. Оно и неприлично, да и не годится в порядочном доме: это непорядок. Я уже распорядилась, говорит, вам уже более беспокоиться, говорит, нечего». — «Какое беспокойство, помилуйте... А может, вам Матрена Федорова нужна?» — «Нет, говорит, не нужна». — «Так отчего же вы мне ее уступить

не хотите?» — «Оттого, что мне не угодно; не угодно, да и все тут. Я уж, говорит, распорядилась: она в степную деревню посылается». Меня как громом хлопнуло. Старуха сказала слова два по-французски зеленой барышне: та вышла. «Я, говорит, женщина правил строгих, да и здоровье мое слабое; беспокойства переносить не могу. Вы еще молодой человек, а я уж старая женщина и вправе вам давать советы. Не лучше ли вам пристроиться, жениться, поискать хорошей партии; богатые невесты редки, но девицу бедную, зато хорошей нравственности, найти можно». Я, знаете, гляжу на старуху и ничего не понимаю, что она там такое мелет; слышу, что толкует о женитьбе, а у меня степная деревня все в ушах звенит. Жениться!.. какой черт...

Тут рассказчик внезапно остановился и поглядел на меня.

— Ведь вы не женаты?

— Нет.

— Ну, конечно, дело известное. Я не вытерпел: «Да помилуйте, матушка, что вы за ахинею порете? Какая тут женитьба? Я просто желаю узнать от вас, уступаете вы вашу девку Матрену или нет?» Старуха заохала. «Ах, он меня обеспокоил! ах, велите ему уйти! ах!..» Родственница к ней подскочила и раскричалась на меня. А старуха все стонет: «Чем это я заслужила?.. Стало быть, я уж в своем доме не госпожа? ах, ах!» Я схватил шляпу и как сумасшедший выбежал вон.

— Может быть, — продолжал рассказчик, — вы осудите меня за то, что я так сильно привязался к девушке из низкого сословия; я и не намерен себя, то есть, оправдывать... так уж оно пришлось!.. Верите ли, ни днем, ни ночью покоя мне не было... Мучусь! За что, думал я, погубил несчастную девку! Как только, бывало, вспомню, что она в зипуне гусей гоняет, да в черном теле, по барскому приказу, содержится, да староста, мужик в дегтярных сапогах, ее ругательски ругает — холодный пот так с меня и закапает. Ну, не вытерпел, проведал, в какую деревню ее сослали, сел верхом и поехал туда. На другой день под вечер только приехал. Видно, от меня такого пассажа не ожидали и никакого на мой счет приказания не дали. Я прямо к старосте, будто сосед; вхожу на двор, гляжу: Матрена сидит на крылечке и рукой подперлась. Она было вскрикнула, да я ей погрозил и показал на задворье, в поле. Вошел в избу; со старостой покалякал, наврал ему чертову тьму, улучил минутку и вышел к Матрене. Она, бедняжка, так у меня на шее и повисла. Побледнела, похудела, моя голубушка. Я, знаете ли, говорю ей: «Ничего, Матрена; ничего, не плачь», а у самого слезы так и бегут, и бегут... Ну, однако ж, наконец мне стыдно стало; говорю ей: «Матрена, слезами горю не пособить, а вот что: надобно действовать, как говорится, решительно; надобно тебе бежать со мной; вот как надобно действовать». Матрена так и обмерла... «Как можно! да я пропаду, да они меня заедят совсем!» — «Глупая ты, кто тебя сыщет?» — «Сыщут, непременно сыщут. Спасибо вам, Петр Петрович, век не забуду вашей ласки, но уж вы меня теперь предоставьте; уж, видно, такова моя судьба». — «Эх, Матрена, Матрена, а я тебя считал

за девку с карахтером». И точно, карахтеру у ней было много... душа была, золотая душа! «Что ж тебе здесь оставаться! все равно; хуже не будет. Ну, вот сказывай: старостиных кулаков отведывала, а?» Матрена так и вспыхнула, и губы у ней задрожали. «Да из-за меня семье моей житья не будет». — «Ну ее, твою семью... Сошлют ее, что ли?» — «Сошлют; брата-то наверное сошлют». — «А отца?» — «Ну, отца не сошлют; он у нас один хороший портной и есть». — «Ну вот, видишь; а брат твой от этого не пропадет». Поверите ли, насилу уломал ее; вздумала еще толковать о том, что, дескать, вы за это отвечать будете... «Да уж это, говорю я, не твое дело...» Однако я таки ее увез... не в этот раз, а в другой: ночью, на телеге приехал — и увез.

— Увезли?

— Увез... Ну, вот она и поселилась у меня. Домик у меня был небольшой, прислуги мало. Люди мои, без обиняков скажу, меня уважали; не выдали бы ни за какие благополучия. Стал я поживать припеваючи. Матренушка отдохнула, поправилась; вот я к ней и привязался... Да и что за девка была! Откуда что бралось? И петь-то она умела, и плясать, и на гитаре играть... Соседям я ее не показывал, чего доброго, разболтают! А был у меня приятель, друг закадычный, Горностаев Пантелей, — вы не изволите знать? Тот в ней просто души не чаял: как у барыни, руки у ней целовал, право. И скажу вам, Горностаев не мне чета: человек он образованный, всего Пушкина прочел; станет, бывало, с Матреной да со мной разговаривать, так мы и уши развесим. Писать ее выучил, такой чудак! А уж как я одевал ее — просто лучше губернаторши; сшил ей шубку из малинового бархата с меховой опушкой... Уж как эта шубка на ней сидела! Шубку-то эту московская мадам шила по новому манеру, с перехватом. И уж какая чудна́я эта Матрена была! Бывало, задумается да и сидит по часам, на пол глядит, бровью не шевельнет; и я тоже сижу да на нее смотрю, да насмотреться не могу, словно никогда не видал... Она улыбнется, а у меня сердце так и дрогнет, словно кто пощекотит. А то вдруг примется смеяться, шутить, плясать; обнимет меня так жарко, так крепко, что голова кругом пойдет. С утра до вечера, бывало, только и думаю: чем бы мне ее порадовать? И верите ли, ведь только для того ее дарил, чтобы посмотреть, как она, душа моя, обрадуется, вся покраснеет от радости, как станет мой подарок примерять, как ко мне в обновке подойдет и поцелует. Неизвестно, каким образом отец ее Кулик пронюхал дело; пришел старик поглядеть на нас, да как заплачет... Да ведь с радости заплакал, а вы что подумали? Мы Кулика задарили. Она ему, голубушка, сама пятирублевую ассигнацию под конец вынесла, — а он ей как бухнет в ноги — такой чудной! Таким-то мы образом месяцев пять прожили; а я бы не прочь и весь век с ней так прожить, да судьба моя такая окаянная!

Петр Петрович остановился.

— Что ж такое сделалось? — спросил я его с участьем.

Он махнул рукой.

— Все к черту пошло. Я же ее и погубил. Матренушка у меня

смерть любила кататься в санках, и сама, бывало, правит; наденет свою шубку, шитые рукавицы торжковские да только покрикивает. Катались-то мы всегда вечером, чтобы, знаете, кого-нибудь не встретить. Вот как-то раз выбрался день такой, знаете, славный; морозно, ясно, ветра нету... мы и поехали. Матрена взяла вожжи. Вот я и смотрю, куда это она едет? Неужели в Кукуевку, в деревню своей барыни? Точно, в Кукуевку. Я ей и говорю: «Сумасшедшая, куда ты едешь?» Она глянула ко мне через плечо да усмехнулась. Дай, дескать, покуражиться. А! — подумал я, — была не была!.. Мимо господского дома прокатиться ведь хорошо? ведь хорошо — скажите сами? Вот мы и едем. Иноходец мой так и плывет, пристяжные совершенно, скажу вам, завихрились — вот уж и кукуевскую церковь видно; глядь, ползет по дороге старый зеленый возок, и лакей на запятках торчит... Барыня, барыня едет! Я было струсил, а Матрена-то как ударит вожжами по лошадям да как помчится прямо на возок! Кучер, тот-то, вы понимаете, видит: летит навстречу Алхимерэс какой-то, хотел, знаете, посторониться, да круто взял, да в сугроб возок-то и опрокинул. Стекло разбилось — барыня кричит: «Ай, ай, ай! ай, ай, ай!» Компаньонка пищит: «Держи, держи!» А мы, давай бог ноги, мимо. Скачем мы, а я думаю: худо будет, напрасно я ей позволил ехать в Кукуевку. Что ж вы думаете? Ведь узнала барыня Матрену и меня узнала, старая, да жалобу на меня и подай: беглая, дескать, моя девка у дворянина Каратаева проживает; да тут же и благодарность, как следует, предъявила. Смотрю, едет ко мне исправник; а исправник-то был мне человек знакомый, Степан Сергеич Кузовкин, хороший человек, то есть, в сущности человек не хороший. Вот, приезжает и говорит: так и так, Петр Петрович, — как же вы это так?.. Ответственность сильная, и законы на этот счет ясные. Я ему говорю: «Ну, об этом мы, разумеется с вами побеседуем, а вот не хотите ли перекусить с дороги?» Перекусить-то он согласился, но говорит: «Правосудие требует, Петр Петрович, сами посудите». — «Оно, конечно, правосудие, — говорю я, — оно, конечно... а вот, я слышал, у вас лошадка есть вороненькая, так не хотите ли поменяться на моего Лампурдоса?.. А девки Матрены Федоровой у меня не имеется». — «Ну, — говорит он, — Петр Петрович, девка-то у вас, мы ведь не в Швейцарии живем... а на Лампурдоса поменяться лошадкой можно; можно, пожалуй, его и так взять». Однако на этот раз я его кое-как спровадил. Но старая барыня завозилась пуще прежнего; десяти тысяч, говорит, не пожалею. Видите ли, ей, глядя на меня, вдруг в голову пришло женить меня на своей зеленой компаньонке, — это я после узнал: оттого-то она так и разозлилась. Чего только эти барыни не придумают!.. Со скуки, должно быть. Плохо мне пришлось: и денег-то я не жалел, и Матрену-то прятал, — нет! Затормошили меня, завертели совсем. В долги влез, здоровья лишился... Вот лежу однажды ночью у себя на постеле и думаю: «Господи боже мой, за что терплю? Что ж мне делать, коли я ее разлюбить не могу?.. Ну, не могу, да и только!» Шасть ко мне в комнату Матрена. Я на это время спрятал ее было у себя на хуторе, верстах в двух от своего дома. Я испугался. «Что? аль и там тебя открыли?» — «Нет,

Петр Петрович, — говорит она, — никто меня не беспокоит в Бубнове; да долго ли это продолжится? Сердце мое, говорит, надрывается, Петр Петрович; вас мне жаль, моего голубчика; век не забуду ласки вашей, Петр Петрович, а теперь пришла с вами проститься». — «Что ты, что ты, сумасшедшая?.. Как проститься? как проститься?» — «А так... пойду да себя и выдам». — «Да я тебя, сумасшедшую, на чердак запру... Иль ты погубить меня вздумала? уморить меня желаешь, что ли?» Молчит себе девка да глядит на пол. «Ну, да говори же, говори!» — «Не хочу вам больше беспокойства причинять, Петр Петрович». Ну, поди, толкуй с ней... «Да ты знаешь ли, дура, ты знаешь ли, сума... сумасшедшая...»

И Петр Петрович горько зарыдал.

— Ведь что вы думаете? — продолжал он, ударив кулаком по столу и стараясь нахмурить брови, меж тем как слезы все еще бежали по его разгоряченным щекам, — ведь выдала себя девка, пошла да и выдала себя...

— Лошади готовы-с! — торжественно воскликнул смотритель, входя в комнату.

Мы оба встали.

— Что же сделалось с Матреной? — спросил я.

Каратаев махнул рукой.

Спустя год после моей встречи с Каратаевым случилось мне заехать в Москву. Раз как-то, перед обедом, зашел я в кофейную, находящуюся за Охотным рядом, — оригинальную, московскую кофейную. В бильярдной, сквозь волны дыма, мелькали раскрасневшиеся лица, усы, хохлы, старомодные венгерки и новейшие святославки. Худые старички в скромных сюртуках читали русские газеты. Прислуга резво мелькала с подносами, мягко ступая по зеленым коврикам. Купцы с мучительным напряжением пили чай. Вдруг из бильярдной вышел человек, несколько растрепанный и не совсем твердый на ногах. Он положил руки в карманы, опустил голову и бессмысленно посмотрел кругом.

— Ба, ба, ба! Петр Петрович!.. Как поживаете?

Петр Петрович чуть не бросился ко мне на шею и потащил меня, слегка качаясь, в маленькую особенную комнату.

— Вот здесь, — говорит он, заботливо усаживая меня в кресла, — здесь вам будет хорошо. Человек, пива! нет, то есть шампанского! Ну, признаюсь, не ожидал, не ожидал... Давно ли? надолго ли? Вот, привел бог, как говорится, того...

— Да, помните...

— Как не помнить, как не помнить, — торопливо перервал он меня, — дело прошлое... дело прошлое...

— Ну, что вы здесь поделываете, любезный Петр Петрович?

— Живу, как изволите видеть. Здесь житье хорошее, народ здесь радушный. Здесь я успокоился.

И он вздохнул и поднял глаза к небу.

— Служите?

— Нет-с, еще не служу, а думаю скоро определиться. Да что

служба?.. Люди — вот главное. С какими я здесь людьми познакомился!..

Мальчик вошел с бутылкой шампанского на черном подносе.

— Вот и это хороший человек... Не правда ли, Вася, ты хороший человек? На твое здоровье!

Мальчик постоял, прилично тряхнул головкой, улыбнулся и вышел.

— Да, хорошие здесь люди, — продолжал Петр Петрович, — с чувством, с душой... Хотите, я вас познакомлю? Такие славные ребята... Они все вам будут ради. Я скажу... Бобров умер, вот горе.

— Какой Бобров?

— Сергей Бобров. Славный был человек; призрел было меня, невежу, степняка. И Горностаев Пантелей умер. Все умерли, все!

— Вы все время в Москве прожили? Не съездили в деревню?

— В деревню... мою деревню продали.

— Продали?

— Сукциона... Вот, напрасно вы не купили!

— Че́м же вы жить будете, Петр Петрович?

— А не умру с голоду, бог даст! Денег не будет, дру́зья будут. Да что деньги? — прах! Золото — прах!

Он зажмурился, пошарил рукой в кармане и поднес ко мне на ладони два пятиалтынных и гривенник.

— Что это? ведь прах! (И деньги полетели на пол.) А вы лучше скажите мне, читали ли вы Полежаева?

— Читал.

— Видали ли Мочалова в Гамлете?

— Нет; не видал.

— Не видали, не видали... (И лицо Каратаева побледнело, глаза беспокойно забегали; он отвернулся; легкие судороги пробежали по его губам.) Ах, Мочалов, Мочалов! «Окончить жизнь — уснуть», — проговорил он глухим голосом.

Не более! и знать, что этот сон
Окончит грусть и тысячи ударов,
Удел живых... Такой конец достоин
Желаний жарких! Умереть... уснуть...

— Уснуть, уснуть! — пробормотал он несколько раз.

— Скажите, пожалуйста, — начал было я; но он продолжал с жаром:

Кто снес бы бич и посмеянье века,
Бессилье прав, тиранов притесненье,
Обиды гордого, забытую любовь,
Презренных душ презрение к заслугам,
Когда бы мог нас подарить покоем
Один удар... О, помяни
Мои грехи в твоей святой молитве!

И он уронил голову на стол. Он начинал заикаться и завираться.

— «И через месяц!» — произнес он с новой силой.

Один короткий, быстротечный месяц!
И башмаков еще не износила,
В которых шла, в слезах,
За бедным прахом моего отца!
О небо! Зверь без разума, без слова
Грустил бы долее...

Он поднес рюмку шампанского к губам, но не выпил вина и продолжал:

Из-за Гекубы?
Что он Гекубе, что она ему,
Что плачет он об ней?..
А я... презренный, малодушный раб, —
Я трус! Кто назовет меня негодным?
Кто скажет мне: ты лжешь?
А я обиду перенес бы... Да!
Я голубь мужеством: во мне нет желчи,
И мне обида не горька...

Каратаев уронил рюмку и схватил себя за голову. Мне показалось, что я его понял.

— Ну, да что, — проговорил он наконец, — кто старое помянет, тому глаз вон... Не правда ли? (И он засмеялся.) На ваше здоровье!

— Вы останетесь в Москве? — спросил я его.

— Умру в Москве!

— Каратаев! — раздалось в соседней комнате. — Каратаев, где ты! Поди сюда, любезный че-а-эк!

— Меня зовут, — проговорил он, тяжело поднимаясь с места.— Прощайте: зайдите ко мне, если можете, я живу в***.

Но на другой же день, по непредвиденным обстоятельствам, я должен был выехать из Москвы и не видался более с Петром Петровичем Каратаевым.

СВИДАНИЕ

Я сидел в березовой роще осенью, около половины сентября. С самого утра перепадал мелкий дождик, сменяемый по временам теплым солнечным сиянием; была непостоянная погода. Небо то все заволакивалось рыхлыми белыми облаками, то вдруг местами расчищалось на мгновенье, и тогда из-за раздвинутых туч показывалась лазурь, ясная и ласковая, как прекрасный глаз. Я сидел и глядел кругом и слушал. Листья чуть шумели над моей головой; по одному их шуму можно было узнать, какое тогда стояло время года. То был не веселый, смеющийся трепет весны, не мягкое шушуканье, не долгий говор лета, не робкое и холодное лепетанье поздней осени, а едва слышная, дремотная болтовня. Слабый ветер чуть-чуть тянул по верхушкам. Внутренность рощи, влажной от дождя, беспрестанно изменялась, смотря по тому, светило ли

солнце или закрывалось облаком; она то озарялась вся, словно вдруг в ней все улыбнулось: тонкие стволы не слишком частых берез внезапно принимали нежный отблеск белого шелка, лежавшие на земле мелкие листья вдруг пестрели и загорались червонным золотом, а красивые стебли высоких кудрявых папоротников, уже окрашенных в свой осенний цвет, подобный цвету переспелого винограда, так и сквозили, бесконечно путаясь и пересекаясь перед глазами; то вдруг опять все кругом слегка синело: яркие краски мгновенно гасли, березы стояли все белые, без блеску, белые, как только что выпавший снег, до которого еще не коснулся холодно играющий луч зимнего солнца; и украдкой, лукаво, начинал сеяться и шептать по лесу мельчайший дождь. Листва на березах была еще почти вся зелена, хотя заметно побледнела; лишь кое-где стояла одна, молоденькая, вся красная или вся золотая, и надобно было видеть, как она ярко вспыхивала на солнце, когда его лучи внезапно пробивались, скользя и пестрея, сквозь частую сетку тонких веток, только что смытых сверкающим дождем. Ни одной птицы не было слышно: все приютились и замолкли; лишь изредка звенел стальным колокольчиком насмешливый голосок синицы. Прежде чем я остановился в этом березовом леску, я с своей собакой прошел через высокую осиновую рощу. Я, признаюсь, не слишком люблю это дерево — осину — с ее бледно-лиловым стволом и серо-зеленой, металлической листвой, которую она вздымает как можно выше и дрожащим веером раскидывает на воздухе; не люблю я вечное качанье ее круглых неопрятных листьев, неловко прицепленных к длинным стебелькам. Она бывает хороша только в иные летние вечера, когда, возвышаясь отдельно среди низкого кустарника, приходится в упор рдеющим лучам заходящего солнца и блестит и дрожит, с корней до верхушки облитая одинаковым желтым багрянцем, — или когда, в ясный ветреный день, она вся шумно струится и лепечет на синем небе, и каждый лист ее, подхваченный стремленьем, как будто хочет сорваться, слететь и умчаться вдаль. Но вообще я не люблю этого дерева и потому, не остановясь в осиновой роще для отдыха, добрался до березового леска, угнездился под одним деревцом, у которого сучья начинались низко над землей и, следовательно, могли защитить меня от дождя, и, полюбовавшись окрестным видом, заснул тем безмятежным и кротким сном, который знаком одним охотникам.

Не могу сказать, сколько я времени проспал, но когда я открыл глаза — вся внутренность леса была наполнена солнцем и во все направленья, сквозь радостно шумевшую листву, сквозило и как бы искрилось ярко-голубое небо; облака скрылись, разогнанные взыгравшим ветром; погода расчистилась, и в воздухе чувствовалась та особенная, сухая свежесть, которая, наполняя сердце каким-то бодрым ощущеньем, почти всегда предсказывает мирный и ясный вечер после ненастного дня. Я собрался было встать и снова попытать счастья, как вдруг глаза мои остановились на неподвижном человеческом образе. Я вгляделся: то была молодая крестьянская девушка. Она сидела в двадцати шагах от меня, задумчиво потупив голову и уронив обе руки на колени; на одной

из них, до половины раскрытой, лежал густой пучок полевых цветов и при каждом ее дыханье тихо скользил на клетчатую юбку. Чистая белая рубаха, застегнутая у горла и кистей, ложилась короткими мягкими складками около ее стана; крупные желтые бусы в два ряда спускались с шеи на грудь. Она была очень недурна собою. Густые белокурые волосы прекрасного пепельного цвета расходились двумя тщательно причесанными полукругами из-под узкой алой повязки, надвинутой почти на самый лоб, белый, как слоновая кость; остальная часть ее лица едва загорела тем золотистым загаром, который принимает одна тонкая кожа. Я не мог видеть ее глаз — она их не поднимала; но я ясно видел ее тонкие, высокие брови, ее длинные ресницы: они были влажны, и на одной из ее щек блистал на солнце высохший след слезы, остановившейся у самых губ, слегка побледневших. Вся ее головка была очень мила; даже немного толстый и круглый нос ее не портил. Мне особенно нравилось выражение ее лица: так оно было просто и кротко, так грустно и так полно детского недоуменья перед собственной грустью. Она, видимо, ждала кого-то; в лесу что-то слабо хрустнуло: она тотчас подняла голову и оглянулась; в прозрачной тени быстро блеснули передо мной ее глаза, большие, светлые и пугливые, как у лани. Несколько мгновений прислушивалась она, не сводя широко раскрытых глаз с места, где раздался слабый звук, вздохнула, повернула тихонько голову, еще ниже наклонилась и принялась медленно перебирать цветы. Веки ее покраснели, горько шевельнулись губы, и новая слеза прокатилась из-под густых ресниц, останавливаясь и лучисто сверкая на щеке. Так прошло довольно много времени; бедная девушка не шевелилась, — лишь изредка тоскливо поводила руками и слушала, все слушала... Снова что-то зашумело по лесу, — она встрепенулась. Шум не переставал, становился явственней, приближался, послышались наконец решительные, проворные шаги. Она выпрямилась и как будто оробела; ее внимательный взор задрожал, зажегся ожиданьем. Сквозь чащу быстро замелькала фигура мужчины. Она вгляделась, вспыхнула вдруг, радостно и счастливо улыбнулась, хотела было встать и тотчас опять поникла вся, побледнела, смутилась — и только тогда подняла трепещущий, почти молящий взгляд на пришедшего человека, когда тот остановился рядом с ней.

Я с любопытством посмотрел на него из своей засады. Признаюсь, он не произвел на меня приятного впечатления. Это был, по всем признакам, избалованный камердинер молодого, богатого барина. Его одежда изобличала притязание на вкус и щегольскую небрежность: на нем было коротенькое пальто бронзового цвета, вероятно, с барского плеча, застегнутое доверху, розовый галстучек с лиловыми кончиками и бархатный черный картуз с золотым галуном, надвинутый на самые брови. Круглые воротнички его белой рубашки немилосердно подпирали ему уши и резали щеки, а накрахмаленные рукавички закрывали всю руку вплоть до красных и кривых пальцев, украшенных серебряными и золотыми кольцами с незабудками из бирюзы. Лицо его, румяное, свежее, нахальное, принадлежало к числу лиц, которые, сколько я мог заметить,

почти всегда возмущают мужчин и, к сожалению, очень часто нравятся женщинам. Он, видимо, старался придать своим грубоватым чертам выражение презрительное и скучающее: беспрестанно щурил свои и без того крошечные молочно-серые глазки, морщился, опускал углы губ, принужденно зевал и с небрежной, хотя не совсем ловкой развязностью то поправлял рукою рыжеватые, ухарски закрученные виски, то щипал желтые волосики, торчавшие на толстой верхней губе, — словом, ломался нестерпимо. Начал он ломаться, как только увидал молодую крестьянку, его ожидавшую; медленно, развалистым шагом подошел он к ней, постоял, передернул плечами, засунул обе руки в карманы пальто и, едва удостоив бедную девушку беглым и равнодушным взглядом, опустился на землю.

— А что, — начал он, продолжая глядеть куда-то в сторону, качая ногою и зевая, — давно ты здесь?

Девушка не могла тотчас ему отвечать.

— Давно-с, Виктор Александрыч, — проговорила она наконец едва слышным голосом.

— А! (Он снял картуз, величественно провел рукою по густым, туго завитым волосам, начинавшимся почти у самых бровей, и, с достоинством посмотрев кругом, бережно прикрыл опять свою драгоценную голову.) А я было совсем и позабыл. Притом, вишь, дождик! (Он опять зевнул.) Дела пропасть: за всем не усмотришь, а тот еще бранится. Мы завтра едем...

— Завтра? — произнесла девушка и устремила на него испуганный взор.

— Завтра... Ну, ну, ну, пожалуйста, — подхватил он поспешно и с досадой, увидев, что она затрепетала вся и тихо наклонила голову, — пожалуйста, Акулина, не плачь. Ты знаешь, я этого терпеть не могу. (И он наморщил свой тупой нос.) А то я сейчас уйду... Что за глупости — хныкать!

— Ну, не буду, не буду, — торопливо произнесла Акулина, с усилием глотая слезы. — Так вы завтра едете? — прибавила она после небольшого молчанья. — Когда-то бог приведет опять увидеться с вами, Виктор Александрыч?

— Увидимся, увидимся. Не в будущем году — так после. Барин-то, кажется, в Петербурге на службу поступить желает, — продолжал он, выговаривая слова небрежно и несколько в нос, — а может быть, и за границу уедем.

— Вы меня забудете, Виктор Александрыч, — печально промолвила Акулина.

— Нет, отчего же? Я тебя не забуду: только ты будь умна, не дурачься, слушайся отца... А я тебя не забуду — не-ет. (И он спокойно потянулся и опять зевнул.)

— Не забывайте меня, Виктор Александрыч, — продолжала она умоляющим голосом. — Уж, кажется, я на что вас любила, все, кажется, для вас... Вы говорите, отца мне слушаться, Виктор Александрыч... Да как же мне отца-то слушаться...

— А что? (Он произнес эти слова как бы из желудка, лежа на спине и подложив руки под голову.)

— Да как же, Виктор Александрыч,— вы сами знаете.

Она умолкла. Виктор поиграл стальной цепочкой своих часов.

— Ты, Акулина, девка неглупая,— заговорил он наконец,— потому вздору не говори. Я твоего же добра желаю, понимаешь ты меня? Конечно, ты не глупа, не совсем мужичка, так сказать; и твоя мать тоже не всегда мужичкой была. Все же ты без образованья,— стало быть, должна слушаться, когда тебе говорят.

— Да страшно, Виктор Александрыч.

— И-и, какой вздор, моя любезная: в чем нашла страх! Что это у тебя,— прибавил он, придвинувшись к ней,— цветы?

— Цветы,— уныло отвечала Акулина.— Это я полевой рябинки нарвала,— продолжала она, несколько оживившись,— это для телят хорошо. А это вот череда — против золотухи. Вот поглядите-ка, какой чудный цветик; такого чудного цветика я́ еще отродясь не видала. Вот незабудки, а вот маткина-душка... А вот это я для вас,— прибавила она, доставая из-под желтой рябинки небольшой пучок голубеньких васильков, перевязанных тоненькой травкой,— хотите?

Виктор лениво протянул руку, взял, небрежно понюхал цветы и начал вертеть их в пальцах, с задумчивой важностью посматривая вверх. Акулина глядела на него... В ее грустном взоре было столько нежной преданности, благоговейной покорности и любви. Она и боялась-то его, и не смела плакать, и прощалась с ним, и любовалась им в последний раз; а он лежал, развалясь, как султан, и с великодушным терпеньем и снисходительностию сносил ее обожанье. Я, признаюсь, с негодованьем рассматривал его красное лицо, на котором сквозь притворно презрительное равнодушие проглядывало удовлетворенное, пресыщенное самолюбие. Акулина была так хороша в это мгновение: вся душа ее доверчиво, страстно раскрывалась перед ним, тянулась и ластилась к нему, а он... он уронил васильки на траву, достал из бокового кармана пальто круглое стеклышко в бронзовой оправе и принялся втискивать его в глаз; но, как он ни старался удержать его нахмуренной бровью, приподнятой щекой и даже носом — стеклышко все вываливалось и падало ему в руку.

— Что это?— спросила наконец изумленная Акулина.

— Лорнет,— отвечал он с важностью.

— Для чего?

— А чтоб лучше видеть.

— Покажите-ка.

Виктор поморщился, но дал ей стеклышко.

— Не разбей, смотри.

— Небось, не разобью. (Она робко поднесла его к глазу.) Я ничего не вижу,— невинно проговорила она.

— Да ты глаз-то, глаз-то зажмурь,— возразил он голосом недовольного наставника. (Она зажмурила глаз, перед которым держала стеклышко.) Да не тот, не тот, глупая! Другой!— воскликнул Виктор и, не давши ей исправить ошибку, отнял у ней лорнет.

Акулина покраснела, чуть-чуть засмеялась и отвернулась.

— Видно, нам не годится,— промолвила она.

— Еще бы!

Бедняжка помолчала и глубоко вздохнула.

— Ах, Виктор Александрыч, как это будет нам быть без вас!— сказала она вдруг.

Виктор вытер лорнет полой и положил его обратно в карман.

— Да, да,— заговорил он наконец,— тебе сначала будет тяжело, точно. (Он снисходительно потрепал ее по плечу; она тихонько достала с своего плеча его руку и робко ее поцеловала.) Ну, да, да, ты точно девка добрая,— продолжал он, самодовольно улыбнувшись,— но что же делать? Ты сама посуди! Нам с барином нельзя же здесь оставаться; теперь скоро зима, а в деревне — зимой — ты сама знаешь — просто скверность. То ли дело в Петербурге! Там просто такие чудеса, каких ты, глупая, и во сне себе представить не можешь. Дома какие, улицы, а обчество, образованье — просто удивленье!.. (Акулина слушала его с пожирающим вниманьем, слегка раскрыв губы, как ребенок.) Впрочем,— прибавил он, заворочавшись на земле,— к чему я тебе все это говорю? Ведь ты этого понять не можешь.

— Отчего же, Виктор Александрыч? Я поняла; я все поняла.

— Вишь какая!

Акулина потупилась.

— Прежде вы со мной не так говаривали, Виктор Александрыч,— проговорила она, не поднимая глаз.

— Прежде?.. прежде! Вишь ты!.. Прежде!— заметил он, как бы негодуя.

Они оба помолчали.

— Однако мне пора идти,— проговорил Виктор и уже оперся было на локоть...

— Подождите еще немножко,— умоляющим голосом произнесла Акулина.

— Чего ждать?.. Ведь уж я простился с тобой.

— Подождите,— повторила Акулина.

Виктор опять улегся и принялся посвистывать. Акулина все не спускала с него глаз. Я мог заметить, что она понемногу приходила в волненье: ее губы подергивало, бледные ее щеки слабо заалелись...

— Виктор Александрыч,— заговорила она наконец прерывающимся голосом,— вам грешно, вам грешно, Виктор Александрыч, ей-богу!

— Что такое грешно?— спросил он, нахмурив брови, и слегка приподнял и повернул к ней голову.

— Грешно, Виктор Александрыч. Хоть бы доброе словечко мне сказали на прощанье; хоть бы словечко мне сказали, горемычной сиротинушке...

— Да что я тебе скажу?

— Я не знаю; вы это лучше знаете, Виктор Александрыч. Вот вы едете, и хоть бы словечко... Чем я заслужила?

— Какая же ты странная! Что ж я могу?

— Хоть бы словечко...

— Ну, зарядила одно и то же,— промолвил он с досадой и встал.

— Не сердитесь, Виктор Александрыч,— поспешно прибавила она, едва сдерживая слезы.

— Я не сержусь, а только ты глупа... Чего ты хочешь? Ведь я на тебе жениться не могу? ведь не могу? Ну, так чего ж ты хочешь? чего? (Он уткнулся лицом, как бы ожидая ответа, и растопырил пальцы.)

— Я ничего... ничего не хочу,— отвечала она, заикаясь и едва осмеливаясь простирать к нему трепещущие руки,— а так хоть бы словечко, на прощанье...

И слезы полились у ней ручьем.

— Ну, так и есть, пошла плакать,— хладнокровно промолвил Виктор, надвигая сзади картуз на глаза.

— Я ничего не хочу,— продолжала она, всхлипывая и закрыв лицо обеими руками,— но каково же мне теперь в семье, каково же мне? И что же со мной будет, что станется со мной, горемычной? За немилого выдадут сиротиночку... Бедная моя головушка!

— Припевай, припевай,— вполголоса пробормотал Виктор, переминаясь на месте.

— А он хоть бы словечко, хоть бы одно... Дескать, Акулина, дескать, я...

Внезапные, надрывающие грудь рыданья не дали ей докончить речи — она повалилась лицом на траву и горько, горько заплакала... Все ее тело судорожно волновалось, затылок так и поднимался у ней... Долго сдержанное горе хлынуло наконец потоком. Виктор постоял над нею, постоял, пожал плечами, повернулся и ушел большими шагами.

Прошло несколько мгновений... Она притихла, подняла голову, вскочила, оглянулась и всплеснула руками; хотела было бежать за ним, но ноги у ней подкосились — она упала на колени... Я не выдержал и бросился к ней; но едва успела она вглядеться в меня, как откуда взялись силы — она с слабым криком поднялась и исчезла за деревьями, оставив разбросанные цветы на земле.

Я постоял, поднял пучок васильков и вышел из рощи в поле. Солнце стояло низко на бледно-ясном небе, лучи его тоже как будто поблекли и похолодели: они не сияли, они разливались ровным, почти водянистым светом. До вечера оставалось не более получаса, а заря едва-едва зажигалась. Порывистый ветер быстро мчался мне навстречу через желтое, высохшее жнивье; торопливо вздымаясь перед ним, стремились мимо, через дорогу, вдоль опушки, маленькие, покоробленные листья; сторона рощи, обращенная стеною в поле, вея дрожала и сверкала мелким сверканьем, четко, но не ярко; на красноватой траве, на былинках, на соломинках— всюду блестели и волновались бесчисленные нити осенних паутин. Я остановился... Мне стало грустно; сквозь невеселую, хотя свежую улыбку увядающей природы, казалось, прокрадывался унылый страх недалекой зимы. Высоко надо мной, тяжело и резко рассекая воздух крылами, пролетел осторожный ворон, повернул

голову, посмотрел на меня сбоку, взмыл и, отрывисто каркая, скрылся за лесом; большое стадо голубей резво пронеслось с гумна и, внезапно закружившись столбом, хлопотливо расселось по полю — признак осени! Кто-то проехал за обнаженным холмом, громко стуча пустой телегой...

Я вернулся домой; но образ бедной Акулины долго не выходил из моей головы, и васильки ее, давно увядшие, до сих пор хранятся у меня...

ГАМЛЕТ ЩИГРОВСКОГО УЕЗДА

На одной из моих поездок получил я приглашение отобедать у богатого помещика и охотника, Александра Михайлыча Г***. Его село находилось верстах в пяти от небольшой деревеньки, где я на ту пору поселился. Я надел фрак, без которого не советую никому выезжать даже на охоту, и отправился к Александру Михайлычу. Обед был назначен к шести часам; я приехал в пять и застал уже великое множество дворян в мундирах, в партикулярных платьях и других, менее определительных одеждах. Хозяин встретил меня ласково, но тотчас же побежал в официантскую. Он ожидал важного сановника и чувствовал некоторое волнение, вовсе несообразное с его независимым положением в свете и богатством. Александр Михайлыч никогда женатым не был и не любил женщин; общество у него собиралось холостое. Он жил на большую ногу, увеличил и отделал дедовские хоромы великолепно, выписывал ежегодно из Москвы тысяч на пятнадцать вина и вообще пользовался величайшим уважением. Александр Михайлыч давным-давно вышел в отставку и никаких почестей не добивался... Что же заставляло его напрашиваться на посещение сановного гостя и волноваться с самого утра в день торжественного обеда? Это остается покрыто мраком неизвестности, как говаривал один мой знакомый стряпчий, когда его спрашивали: берет ли он взятки с доброхотных дателей?

Расставшись с хозяином, я начал расхаживать по комнатам. Почти все гости были мне совершенно незнакомы; человек двадцать уже сидело за карточными столами. В числе этих любителей преферанса было: два военных с благородными, но слегка изношенными лицами, несколько штатских особ, в тесных, высоких галстуках и с висячими, крашеными усами, какие только бывают у людей решительных, но благонамеренных (эти благонамеренные люди с важностью подбирали карты и, не поворачивая головы, вскидывали сбоку глазами на подходивших); пять или шесть уездных чиновников с круглыми брюшками, пухлыми и потными ручками и скромно-неподвижными ножками (эти господа говорили мягким голосом, кротко улыбались на все стороны, держали свои игры у самой манишки и, козыряя, не стучали по столу, а, напротив, волнообразно роняли карты на зеленое сукно и, складывая взятки, производили легкий, весьма учтивый и приличный скрып). Прочие дворяне сидели на диванах, кучками жались к

дверям и подле окон; один, уже немолодой, но женоподобный по наружности помещик стоял в уголку, вздрагивал, краснел и с замешательством вертел у себя на желудке печаткою своих часов, хотя никто не обращал на него внимания; иные господа, в круглых фраках и клетчатых панталонах работы московского портного, вечного цехового мастера иностранца Фирса Клюхина, рассуждали необыкновенно развязно и бойко, свободно поворачивая своими жирными и голыми затылками; молодой человек лет двадцати, подслеповатый и белокурый, с ног до головы одетый в черную одежду, видимо робел, но язвительно улыбался...

Однако я начинал несколько скучать, как вдруг ко мне присоединился некто Войницын, недоучившийся молодой человек, проживавший в доме Александра Михайлыча в качестве... мудрено сказать, в каком именно качестве. Он стрелял отлично и умел дрессировать собак. Я его знавал еще в Москве. Он принадлежал к числу молодых людей, которые, бывало, на всяком экзамене «играли столбняка», то есть не отвечали ни слова на вопросы профессора. Этих господ, для красоты слога, называли также бакенбардистами. (Дела давно минувших дней, как изволите видеть.) Вот как это делалось: вызывали, например, Войницына. Войницын, который до того времени неподвижно и прямо сидел на своей лавке, с ног до головы обливаясь горячей испариной и медленно, но бессмысленно поводя кругом глазами,— вставал, торопливо застегивал свой вицмундир доверху и пробирался боком к экзаменаторскому столу. «Извольте взять билет»,— с приятностью говорил ему профессор. Войницын протягивал руку и трепетно прикасался пальцами кучки билетов. «Да не извольте выбирать»,— замечал дребезжащим голосом какой-нибудь посторонний, но раздражительный старичок, профессор из другого факультета, внезапно возненавидевший несчастного бакенбардиста. Войницын покорялся своей участи, брал билет, показывал нумер и шел садиться к окну, пока предшественник его отвечал на свой вопрос. У окна Войницын не спускал глаз с билета, разве только для того, чтобы по-прежнему медленно посмотреть кругом, а впрочем, не шевелился ни одним членом. Вот, однако, предшественник его кончил; говорят ему: «Хорошо, ступайте», или даже: «Хорошо-с, очень хорошо-с», смотря по его способностям. Вот вызывают Войницына; Войницын встает и твердым шагом приближается к столу. «Прочтите билет»,— говорят ему. Войницын подносит обеими руками билет к самому своему носу, медленно читает и медленно опускает руки. «Ну-с, извольте отвечать»,— лениво произносит тот же профессор, закидывая туловище назад и скрещивая на груди руки. Воцаряется гробовое молчание. «Что же вы?» Войницын молчит. Постороннего старичка начинает дергать. «Да скажите же что-нибудь!» Молчит мой Войницын, словно замер. Стриженый его затылок круто и неподвижно торчит навстречу любопытным взорам всех товарищей. У постороннего старичка глаза готовы выскочить: он окончательно ненавидит Войницына. «Однако ж это странно,— замечает другой экзаменатор,— что же вы, как немой, стоите? ну, не знаете, что ли? Так так и скажите».—«Позвольте другой билет

взять»,— глухо произносит несчастный. Профессора переглядываются. «Ну, извольте»,— махнув рукой, отвечает главный экзаменатор. Войницын снова берет билет, снова идет к окну, снова возвращается к столу и снова молчит как убитый. Посторонний старичок в состоянии съесть его живого. Наконец его прогоняют и ставят нуль. Вы думаете: теперь он, по крайней мере, уйдет? Как бы не так! Он возвращается на свое место, так же неподвижно сидит до конца экзамена, а уходя восклицает: «Ну баня! экая задача!» И ходит он целый тот день по Москве, изредка хватаясь за голову и горько проклиная свою бесталанную участь. За книгу он, разумеется, не берется, и на другое утро та же повторяется история.

Вот этот-то Войницын присоседился ко мне. Мы с ним говорили о Москве, об охоте.

— Не хотите ли,— шепнул он мне вдруг,— я познакомлю вас с первым здешним остряком?

— Сделайте одолжение.

Войницын подвел меня к человеку маленького роста, с высоким хохлом и усами, в коричневом фраке и пестром галстуке. Его желчные, подвижные черты действительно дышали умом и злостью. Беглая, едкая улыбка беспрестанно кривила его губы; черные, прищуренные глазки дерзко выглядывали из-под неровных ресниц. Подле него стоял помещик, широкий, мягкий, сладкий — настоящий Сахар-Медович — и кривой. Он заранее смеялся остротам маленького человека и словно таял от удовольствия. Войницын представил меня остряку, которого звали Петром Петровичем Лупихиным. Мы познакомились, обменялись первыми приветствиями.

— А позвольте представить вам моего лучшего приятеля,— заговорил вдруг Лупихин резким голосом, схватив сладкого помещика за руку.— Да не упирайтесь же, Кирила Селифаныч,— прибавил он,— вас не укусят. Вот-с,— продолжал он, между тем как смущенный Кирила Селифаныч так неловко раскланивался, как будто у него отваливался живот,— вот-с, рекомендую-с, превосходный дворянин. Пользовался отличным здоровьем до пятидесятилетнего возраста, да вдруг вздумал лечить себе глаза, вследствие чего и окривел. С тех пор лечит своих крестьян с таковым же успехом... Ну, а они, разумеется, с таковою же преданностию...

— Ведь этакой,— пробормотал Кирила Селифаныч и засмеялся.

— Договаривайте, друг мой, эх, договаривайте,— подхватил Лупихин.— Ведь вас, чего доброго, в судьи могут избрать, и изберут, посмотрите. Ну, за вас, конечно, будут думать заседатели, положим; да ведь надобно ж на всякий случай хоть чужую-то мысль уметь выговорить. Неравно заедет губернатор — спросит: отчего судья заикается? Ну, положим, скажут: паралич приключился; так бросьте ему, скажет, кровь. А оно в вашем положении, согласитесь сами, неприлично.

Сладкий помещик так и покатился.

— Ведь вишь смеется,— продолжал Лупихин, злобно глядя на колыхающийся живот Кирилы Селифаныча.— И отчего ему не смеяться?— прибавил он, обращаясь ко мне,— сыт, здоров, детей нет, мужики не заложены — он же их лечит,— жена с придурью. (Кирила Селифаныч немножко отвернулся в сторону, будто не расслыхал, и все продолжал хохотать.) Смеюсь же я, а у меня жена с землемером убежала. (Он оскалился.) А вы этого не знали? Как же! Так-таки взяла да и убежала и письмо мне оставила: любезный, дескать, Петр Петрович, извини; увлеченная страстью, удаляюсь с другом моего сердца... А землемер только тем и взял, что не стриг ногтей да панталоны носил в обтяжку. Вы удивляетесь? Вот, дескать, откровенный человек... И, боже мой! наш брат степняк так правду-матку и режет. Однако отойдемте-ка в сторону... Что нам подле будущего судьи стоять-то...

Он взял меня под руку, и мы отошли к окну.

— Я слыву здесь за остряка,— сказал он мне в течение разговора,— вы этому не верьте. Я просто озлобленный человек и ругаюсь вслух: оттого я так и развязен. И зачем мне церемониться, в самом деле? Я ничье мнение в грош не ставлю и ничего не добиваюсь; я зол — что ж такое? Злому человеку, по крайней мере, ума не нужно. А как оно освежительно, вы не поверите... Ну вот, например, ну вот посмотрите на нашего хозяина! Ну из чего он бегает, помилуйте, то и дело на часы смотрит, улыбается, потеет, важный вид принимает, нас с голоду морит? Эка невидаль — сановное лицо! Вот, вот, опять побежал — заковылял даже, посмотрите.

И Лупихин визгливо засмеялся.

— Одна беда, барынь нету,— продолжал он с глубоким вздохом,— холостой обед,— а то вот где нашему брату пожива. Посмотрите, посмотрите,— воскликнул он вдруг,— идет князь Козельский — вон этот высокий мужчина с бородой, в желтых перчатках. Сейчас видно, что за границей побывал... И всегда так поздно приезжает. Глуп, скажу я вам, один, как пара купеческих лошадей, а изволили бы вы поглядеть, как снисходительно он с нашим братом заговаривает, как великодушно изволит улыбаться на любезности наших голодных матушек и дочек!.. И сам иногда острит, даром что проездом здесь живет; зато как и острит! Ни дать ни взять тупым ножом бечевку пилит. Он меня терпеть не может... Пойду поклонюсь ему.

И Лупихин побежал навстречу князю.

— А вот мой личный враг идет,— промолвил он, вдруг вернувшись ко мне,— видите этого толстого человека с бурым лицом и щетиной на голове,— вон, что шапку сгреб в руку да по стенке пробирается и на все стороны озирается, как волк? Я ему продал за четыреста рублей лошадь, которая стоила тысячу, и это бессловесное существо имеет теперь полное право презирать меня; а между тем сам до того лишен способности соображенья, особенно утром, до чаю, или тотчас после обеда, что ему скажешь: здравствуйте, а он отвечает: чего-с? А вот генерал идет,— продолжал Лупихин,— штатский генерал в оставке, разоренный генерал.

У него дочь из свекловичного сахару и завод в золотухе... Виноват, не так сказал... ну, да вы понимаете. А! и архитектор сюда попал! Немец, а с усами и дела своего не знает,— чудеса!.. А впрочем, на что ему и знать свое дело-то; лишь бы взятки брал да колонн, столбов то есть, побольше ставил для наших столбовых дворян!

Лупихин опять захохотал... Но вдруг тревожное волнение распространилось по всему дому. Сановник приехал. Хозяин так и хлынул в переднюю. За ним устремились несколько приверженных домочадцев и усердных гостей... Шумный разговор превратился в мягкий, приятный говор, подобный весеннему жужжанью пчел в родимых ульях. Одна неугомонная оса — Лупихин и великолепный трутень — Козельский не понизили голоса... И вот вошла наконец матка — вошел сановник. Сердца понеслись к нему навстречу, сидящие туловища приподнялись; даже помещик, дешево купивший у Лупихина лошадь, даже тот помещик уткнул себе подбородок в грудь. Сановник поддержал свое достоинство как нельзя лучше: покачивая головой назад, будто кланяясь, он выговорил несколько одобрительных слов, из которых каждое начиналось буквою *а*, произнесенною протяжно и в нос,— с негодованием, доходившим до голода, посмотрел на бороду князя Козельского и подал разоренному штатскому генералу с заводом и дочерью указательный палец левой руки. Через несколько минут, в течение которых сановник успел заметить два раза, что он очень рад, что не опоздал к обеду, все общество отправилось в столовую, тузами вперед.

Нужно ли рассказывать читателю, как посадили сановника на первом месте между штатским генералом и губернским предводителем, человеком с свободным и достойным выражением лица, совершенно соответствовавшим его накрахмаленной манишке, необъятному жилету и круглой табакерке с французским табаком,— как хозяин хлопотал, бегал, суетился, потчевал гостей, мимоходом улыбался спине сановника и, стоя в углу, как школьник, наскоро перехватывал тарелочку супу или кусочек говядины,— как дворецкий подал рыбу в полтора аршина длины и с букетом во рту,— как слуги, в ливреях, суровые на вид, угрюмо приставали к каждому дворянину то с малагой, то с дрей-мадерой и как почти все дворяне, особенно пожилые, словно нехотя покоряясь чувству долга, выпивали рюмку за рюмкой,— как, наконец, захлопали бутылки шампанского и начали провозглашаться заздравные тосты: все это, вероятно, слишком известно читателю. Но особенно замечательным показался мне анекдот, рассказанный самим сановником среди всеобщего радостного молчанья. Кто-то, кажется, разоренный генерал, человек, ознакомленный с новейшей словесностью, упомянул о влиянии женщин вообще и на молодых людей в особенности. «Да, да,— подхватил сановник,— это правда; но молодых людей должно в строгом повиновении держать, а то они, пожалуй, от всякой юбки с ума сходят». (Детски веселая улыбка промчалась по лицам всех гостей; у одного помещика даже благодарность заиграла во взоре.) «Ибо́ молодые люди глупы». (Санов-

ник, вероятно, ради важности, иногда изменял общепринятые ударения слов.) «Вот хоть бы у меня, сын Иван,— продолжал он,— двадцатый год всего дураку пошел, а он вдруг мне и говорит: «Позвольте, батюшка, жениться». Я ему говорю: «Дурак, послужи сперва...» Ну, отчаянье, слезы... но у меня... того...» (Слово «того» сановник произнес более животом, чем губами; помолчал и величаво взглянул на своего соседа, генерала, причем гораздо более поднял брови, чем бы следовало ожидать. Штатский генерал приятно наклонил голову несколько набок и чрезвычайно быстро заморгал глазом, обращенным к сановнику.) «И что ж,— заговорил сановник опять,— теперь он сам мне пишет, что спасибо, дескать, батюшка, что дурака научил... Так вот как надобно поступать». Все гости, разумеется, вполне согласились с рассказчиком и как будто оживились от полученного удовольствия и наставления... После обеда все общество поднялось и двинулось в гостиную с бо́льшим, но все же приличным и словно на этот случай разрешенным шумом... Сели за карты.

Кое-как дождался я вечера и, поручив своему кучеру заложить мою коляску на другой день в пять часов утра, отправился на покой. Но мне предстояло еще в течение того же самого дня познакомиться с одним замечательным человеком.

Вследствие множества наехавших гостей никто не спал в одиночку. В небольшой, зеленоватой и сыроватой комнате, куда привел меня дворецкий Александра Михайлыча, уже находился другой гость, совершенно раздетый. Увидев меня, он проворно нырнул под одеяло, закрылся им до самого носа, повозился немного на рыхлом пуховике и притих, зорко выглядывая из-под круглой каймы своего бумажного колпака. Я подошел к другой кровати (их всего было две в комнате), разделся и лег в сырые простыни. Мой сосед заворочался на своей постели... Я пожелал ему доброй ночи.

Прошло полчаса. Несмотря на все мои старания, я никак не мог заснуть: бесконечной вереницей тянулись друг за другом ненужные и неясные мысли, упорно и однообразно, словно ведра водоподъемной машины.

— А вы, кажется, не спите?— проговорил мой сосед.

— Как видите,— отвечал я.— Да и вам не спится?

— Мне никогда не спится.

— Как же так?

— Да так. Я засыпаю сам не знаю отчего; лежу, лежу, да и засну.

— Зачем же вы ложитесь в постель, прежде чем вам спать захочется?

— А что ж прикажете делать?

Я не отвечал на вопрос моего соседа.

— Удивляюсь я,— продолжал он после небольшого молчания,— отчего здесь блох нету. Кажется, где бы им и быть?

— Вы словно о них сожалеете,— заметил я.

— Нет, не сожалею; но я во всем люблю последовательность.

«Вот как,— подумал я,— какие слова употребляет».

Сосед опять помолчал.

— Хотите со мной об заклад побиться?— заговорил он вдруг довольно громко.

— О чем?

Меня мой сосед начинал забавлять.

— Гм... о чем? А вот о чем: я уверен, что вы меня принимаете за дурака.

— Помилуйте,— пробормотал я с изумлением.

— За степняка, за невежу... Сознайтесь...

— Я вас не имею удовольствия знать,— возразил я.— Почему вы могли заключить...

— Почему! Да по одному звуку вашего голоса: вы так небрежно мне отвечаете... А я совсем не то, что вы думаете...

— Позвольте...

— Нет, *вы* позвольте. Во-первых, я говорю по-французски не хуже вас, а по-немецки даже лучше; во-вторых, я три года провел за границей: в одном Берлине прожил восемь месяцев. Я Гегеля изучил, милостивый государь, знаю Гете наизусть; сверх того, я долго был влюблен в дочь германского профессора и женился дома на чахоточной барышне, лысой, но весьма замечательной личности. Стало быть, я вашего поля ягода; я не степняк, как вы полагаете... Я тоже заеден рефлексией, и непосредственного нет во мне ничего.

Я поднял голову и с удвоенным вниманием посмотрел на чудака. При тусклом свете ночника я едва мог разглядеть его черты.

— Вот вы теперь смотрите на меня,— продолжал он, поправив свой колпак,— и, вероятно, самих себя спрашиваете: как же это я не заметил его сегодня? Я вам скажу, отчего вы меня не заметили,— оттого, что я не возвышаю голоса; оттого, что я прячусь за других, стою за дверьми, ни с кем не разговариваю; оттого, что дворецкий с подносом, проходя мимо меня, заранее возвышает свой локоть в уровень моей груди... А отчего все это происходит? От двух причин: во-первых, я беден, а во-вторых, я смирился... Скажите правду, ведь вы меня не заметили?

— Я действительно не имел удовольствия...

— Ну да, ну да,— перебил он меня,— я это знал.

Он приподнялся и скрестил руки; длинная тень его колпака перегнулась со стены на потолок.

— А признайтесь-ка,— прибавил он, вдруг взглянув на меня сбоку,— я должен вам казаться большим чудаком, как говорится, оригиналом, или, может быть, пожалуй, еще чем-нибудь похуже: может быть, вы думаете, что я прикидываюсь чудаком?

— Я вам опять-таки должен повторить, что я вас не знаю...

Он на мгновение потупился.

— Почему я с вами, вовсе мне незнакомым человеком, так неожиданно разговорился — господь, господь один ведает! (Он вздохнул.) Не вследствие же родства наших душ! И вы, и я, мы оба порядочные люди, то есть эгоисты: ни вам до меня, ни мне до

вас нет ни малейшего дела; не так ли? Но нам обоим не спится... Отчего ж не поболтать? Я же в ударе, а это со мной редко случается. Я, видите ли, робок, и робок не в ту силу, что я провинциал, нечиновный, бедняк, а в ту силу, что я страшно самолюбивый человек. Но иногда, под влиянием благодатных обстоятельств, случайностей, которых я, впрочем, ни определить, ни предвидеть не в состоянии, робость моя исчезает совершенно, как вот теперь, например. Теперь поставьте меня лицом к лицу хоть с самим Далай-Ламой,— я и у него табачку попрошу понюхать. Но, может быть, вам спать хочется?

— Напротив,— поспешно возразил я,— мне очень приятно с вами разговаривать.

— То есть я вас потешаю, хотите вы сказать... Тем лучше... Итак-с, доложу вам, меня здесь величают оригиналом, то есть величают те, которым случайным образом, между прочей дребеденью, придет и мое имя на язык. «Моей судьбою очень никто не озабочен». Они думают уязвить меня... О боже мой! если б они знали... да я именно и гибну оттого, что во мне решительно нет ничего оригинального, ничего, кроме таких выходок, как, например, мой теперешний разговор с вами; но ведь эти выходки гроша медного не стоят. Это самый дешевый и самый низменный род оригинальности.

Он повернулся ко мне лицом и взмахнул руками.

— Милостивый государь!— воскликнул он.— Я того мнения, что вообще одним оригиналам житье на земле; они одни имеют право жить. Mon verre n'est pas grand, mais je bois dans mon verre[1], сказал кто-то. Видите ли,— прибавил он вполголоса,— как я чисто выговариваю французский язык. Что мне в том, что у тебя голова велика и уместительна и что понимаешь ты все, много знаешь, за веком следишь,— да своего-то, особенного, собственного, у тебя ничего нету! Одним складочным местом общих мест на свете больше,— да какое кому от этого удовольствие? Нет, ты будь хоть глуп, да по-своему! Запах свой имей, свой собственный запах, вот что! И не думайте, чтобы требования мои насчет этого запаха были велики... Сохрани бог! Таких оригиналов пропасть: куда ни погляди — оригинал; всякий живой человек оригинал, да я-то в их число не попал!

— А между тем,— продолжал он после небольшого молчания,— в молодости моей какие возбуждал я ожидания! Какое высокое мнение я сам питал о своей особе перед отъездом за границу, да и в первое время после возвращения! Ну, за границей я держал ухо востро, все особнячком пробирался, как оно и следует нашему брату, который все смекает себе, смекает, а под конец, смотришь,— ни аза не смекнул!

— Оригинал, оригинал!— подхватил он, с укоризной качая головой...— Зовут меня оригиналом... А на деле-то оказывается, что нет на свете человека менее оригинального, чем ваш покорнейший слуга. Я, должно быть, и родился-то в подражание другому... Ей-

[1] Мой стакан невелик, но я пью из своего стакана (*фр.*).

богу! Живу я тоже словно в подражание разным мною изученным сочинителям, в поте лица живу; и учился-то я, и влюбился, и женился, наконец, словно не по собственной охоте, словно исполняя какой-то не то долг, не то урок,— кто его разберет!

Он сорвал колпак с головы и бросил его на постель.

— Хотите, я вам расскажу жизнь мою,— спросил он меня отрывистым голосом,— или, лучше, несколько черт из моей жизни?

— Сделайте одолжение.

— Или нет, расскажу-ка я вам лучше, как я женился. Ведь женитьба дело важное, пробный камень всего человека; в ней, как в зеркале, отражается... Да это сравнение слишком избито... Позвольте, я понюхаю табачку.

Он достал из-под подушки табакерку, раскрыл ее и заговорил опять, размахивая раскрытой табакеркой.

— Вы, милостивый государь, войдите в мое положение... Посудите сами, какую, ну, какую, скажите на милость, какую пользу мог я извлечь из энциклопедии Гегеля? Что общего, скажите, между этой энциклопедией и русской жизнью? И как прикажете применить ее к нашему быту, да не ее одну, энциклопедию, а вообще немецкую философию... скажу более — науку?

Он подпрыгнул на постели и забормотал вполголоса, злобно стиснув зубы:

— А, вот как, вот как!.. Так зачем же ты таскался за границу? Зачем не сидел дома да не изучал окружающей тебя жизни на месте? Ты бы и потребности ее узнал, и будущность, и насчет своего, так сказать, призвания тоже в ясность бы пришел... Да помилуйте,— продолжал он, опять переменив голос, словно оправдываясь и робея,— где же нашему брату изучать то, чего еще ни один умница в книгу не вписал! Я бы и рад был брать у ней уроки, у русской жизни-то,— да молчит она, моя голубушка. Пойми меня, дескать, так; а мне это не под силу: мне вы подайте вывод, заключенье мне представьте... Заключенье?— Вот тебе, говорят, и заключенье: послушай-ка наших московских — не соловьи, что ли?— Да в том-то и беда, что они курскими соловьями свищут, а не по-людскому говорят... Вот я подумал, подумал — ведь наука-то, кажись, везде одна, и истина одна,— взял да и пустился, с богом, в чужую сторону, к нехристям... Что прикажете!— молодость, гордость обуяла. Не хотелось, знаете, до времени заплыть жиром, хоть оно, говорят, и здорово. Да, впрочем, кому природа не дала мяса, не видать тому у себя на теле и жиру!

— Однако,— прибавил он, подумав немного,— я, кажется, обещал вам рассказать, каким образом я женился. Слушайте же. Во-первых, доложу вам, что жены моей уже более на свете не имеется, во-вторых... а во-вторых, я вижу, что мне придется рассказать вам мою молодость, а то вы ничего не поймете... Ведь вам не хочется спать?

— Нет, не хочется.

— И прекрасно. Вы послушайте-ка... вот в соседней комнате господин Кантагрюхин храпит как неблагородно! Родился я от небогатых родителей — говорю родителей, потому что, по преданью,

кроме матери, был у меня и отец. Я его не помню; сказывают, недалекий был человек, с большим носом и веснушками, рыжий и в одну ноздрю табак нюхал; в спальне у матушки висел его портрет, в красном мундире с черным воротником по уши, чрезвычайно безобразный. Мимо его меня, бывало, сечь водили, и матушка моя мне в таких случаях всегда на него показывала, приговаривая: он бы еще тебя не так. Можете себе представить, как это меня поощряло. Ни брата у меня не было, ни сестры; то есть, по правде сказать, был какой-то братишка заваляящий, с английской болезнью на затылке, да что-то скоро больно умер... И зачем, кажись, английской болезни забраться Курской губернии в Щигровский уезд? Но дело не в том. Воспитанием моим занималась матушка со всем стремительным рвением степной помещицы: занималась она им с самого великолепного дня моего рождения до тех пор, пока мне стукнуло шестнадцать лет... Вы следите за ходом моего рассказа?

— Как же, продолжайте.

— Ну, хорошо. Вот, как стукнуло мне шестнадцать лет, матушка моя, нимало не медля, взяла да прогнала моего французского гувернера, немца Филипо́вича из нежинских греков; свезла меня в Москву, записала в университет, да и отдала всемогущему свою душу, оставив меня на руки родному дяде моему, стряпчему Колтуну-Бабуре, птице, не одному Щигровскому уезду известной. Родной дядя мой, стряпчий Колтун-Бабура, ограбил меня, как водится, дочиста... Но дело опять-таки не в том. В университет вступил я — должно отдать справедливость моей родительнице — довольно хорошо подготовленный; но недостаток оригинальности уже и тогда во мне замечался. Детство мое нисколько не отличалось от детства других юношей: я так же глупо и вяло рос, словно под периной, так же рано начал твердить стихи наизусть и киснуть, под предлогом мечтательной наклонности... к чему бишь?— да, к прекрасному... и прочая. В университете я не пошел другой дорогой: я тотчас попал в кружок. Тогда времена были другие... Но вы, может быть, не знаете, что такое кружок? Помнится, Шиллер сказал где-то:

Gefährlich ist's den Leu zu wecken,
Und schreklich ist des Tigers Zahn,
Doch das schrecklichste der Schrecken —
Das ist Mensch in seinem Wahn![1]

Он, уверяю вас, он не то хотел сказать; он хотел сказать: Das ist ein «кружок»... in der Stadt Moskau!

— Да что ж вы находите ужасного в кружке?— спросил я.

Мой сосед схватил свой колпак и надвинул его себе на нос.

— Что я нахожу ужасного?— вскрикнул он.— А вот что: кружок — да это гибель всякого самобытного развития; кружок — это

[1] Опасно будить льва, // И страшен зуб тигра, // Но самое ужасное из всех ужасов — // Это человек в его безумии! (*нем.*)

безобразная замена общества, женщины, жизни; кружок... о, да постойте; я вам скажу, что такое кружок! Кружок — это ленивое и вялое житье вместе и рядом, которому придают значение и вид разумного дела; кружок заменяет разговор рассуждениями, приучает к бесплодной болтовне, отвлекает вас от уединенной, благодатной работы, прививает вам литературную чесотку; лишает вас, наконец, свежести и девственной крепости души. Кружок — да это пошлость и скука под именем братства и дружбы, сцепление недоразумений и притязаний под предлогом откровенности и участия; в кружке, благодаря праву каждого приятеля во всякое время и во всякий час запускать свои неумытые пальцы прямо во внутренность товарища, ни у кого нет чистого, нетронутого места на душе; в кружке поклоняются пустому краснобаю, самолюбивому умнику, довременному старику, носят на руках стихотворца бездарного, но с «затаенными» мыслями; в кружке молодые, семнадцатилетние малые хитро и мудрено толкуют о женщинах и любви, а перед женщинами молчат или говорят с ними, словно с книгой,— да и о чем говорят! В кружке процветает хитростное красноречие; в кружке наблюдают друг за другом не хуже полицейских чиновников... О кружок! ты не кружок: ты заколдованный круг, в котором погиб не один порядочный человек!

— Ну, это вы преувеличиваете, позвольте вам заметить,— прервал я его.

Мой сосед молча посмотрел на меня.

— Может быть, господь меня знает, может быть. Да ведь нашему брату только одно удовольствие и осталось — преувеличивать. Вот-с таким-то образом прожил я четыре года в Москве. Не в состоянии я описать вам, милостивый государь, как скоро, как страшно скоро прошло это время; даже грустно и досадно вспомнить. Встанешь, бывало, поутру, и словно с горы на салазках покатишься... Смотришь, уж и примчался к концу; вот уж и вечер; вот уж заспанный слуга и натягивает на тебя сюртук — оденешься и поплетешься к приятелю и давай трубочку курить, пить жидкий чай стаканами да толковать о немецкой философии, любви, вечном солнце духа и прочих отдаленных предметах. Но и тут встречал я оригинальных, самобытных людей: иной, как себя ни ломал, как ни гнул себя в дугу, а все природа брала свое; один я, несчастный, лепил самого себя, словно мягкий воск, и жалкая моя природа ни малейшего не оказывала сопротивления! Между тем мне стукнуло двадцать один год. Я вступил во владение своим наследством, или, правильнее, тою частью своего наследства, которую мой опекун заблагорассудил мне оставить, дал доверенность на управление всеми вотчинами вольноотпущенному дворовому человеку Василью Кудряшеву и уехал за границу, в Берлин. За границей пробыл я, как я уже имел удовольствие вам донести, три года. И что ж? И там, и за границей, я остался тем же неоригинальным существом. Во-первых, нечего и говорить, что собственно Европы, европейского быта я не узнал ни на волос; я слушал немецких профессоров и читал немецкие книги на самом месте рождения их... вот в чем состояла вся разница. Жизнь вел я уединен-

ную, словно монах какой; снюхивался с отставными поручиками, удрученными, подобно мне, жаждой знанья, весьма, впрочем, тугими на понимание и не одаренными даром слова; якшался с тупоумными семействами из Пензы и других хлебородных губерний; таскался по кофейным, читал журналы, по вечерам ходил в театр. С туземцами знался я мало, разговаривал с ними как-то напряженно и никого из них у себя не видал, исключая двух или трех навязчивых молодчиков еврейского происхождения, которые то и дело забегали ко мне да занимали у меня деньги,— благо der Russe верит. Странная игра случая занесла меня наконец в дом одного из моих профессоров; а именно вот как: я пришел к нему записаться на курс, а он вдруг возьми да и пригласи меня к себе на вечер. У этого профессора было две дочери, лет двадцати семи, коренастые такие — бог с ними — носы такие великолепные, кудри в завитках и глаза бледно-голубые, а руки красные с белыми ногтями. Одну звали Линхен, другую Минхен. Начал я ходить к профессору. Надобно вам сказать, что этот профессор был не то что глуп, а словно ушибен: с кафедры говорил довольно связно, а дома картавил и очки всё на лбу держал; притом ученейший был человек... И что же? Вдруг мне показалось, что я влюбился в Линхен,— да целых шесть месяцев этак все казалось. Разговаривал я с ней, правда, мало,— больше так на нее смотрел; но читал ей вслух разные трогательные сочинения, пожимал ей украдкой руки, а по вечерам мечтал с ней рядом, упорно глядя на луну, а не просто вверх. Притом она так отлично варила кофе!.. Кажется, чего бы еще? Одно меня смущало: в самые, как говорится, мгновения неизъяснимого блаженства у меня отчего-то все под ложечкой сосало и тоскливая, холодная дрожь пробегала по желудку. Я наконец не выдержал такого счастья и убежал. Целых два года я провел еще после того за границей: был в Италии, постоял в Риме перед Преображением, и перед Венерой во Флоренции постоял; внезапно повергался в преувеличенный восторг, словно злость на меня находила; по вечерам пописывал стишки, начинал дневник; словом, и тут вел себя, как все. А между тем, посмотрите, как легко быть оригинальным. Я, например, ничего не смыслю в живописи и ваянии... Сказать бы мне это просто вслух... нет, как можно! Бери чичерона, беги смотреть фрески...

Он опять потупился и опять скинул колпак.

— Вот вернулся я наконец на родину,— продолжал он усталым голосом,— приехал в Москву. В Москве удивительная произошла со мною перемена. За границей я больше молчал, а тут вдруг заговорил неожиданно бойко и в то же самое время возмечтал о себе бог ведает что. Нашлись снисходительные люди, которым я показался чуть не гением; дамы с участием выслушивали мои разглагольствования; но я не сумел удержаться на высоте своей славы. В одно прекрасное утро родилась на мой счет сплетня (кто ее произвел на свет божий, не знаю: должно быть, какая-нибудь старая дева мужеского пола,— таких старых дев в Москве пропасть), родилась и принялась пускать отпрыски и усики, слов-

но земляника. Я запутался, хотел выскочить, разорвать прилипчивые нити,— не тут-то было... Я уехал. Вот и тут я оказался вздорным человеком; мне бы преспокойно переждать эту напасть, вот как выжидают конца крапивной лихорадки, и те же снисходительные люди снова раскрыли бы мне свои объятия, те же дамы снова улыбнулись бы на мои речи... Да вот в чем беда: не оригинальный человек. Добросовестность вдруг, изволите видеть, во мне проснулась: мне что-то стыдно стало болтать, болтать без умолку, болтать — вчера на Арбате, сегодня на Трубе, завтра на Сивцевом-Вражке, и всё о том же... Да коли этого требуют? Посмотрите-ка на настоящих ратоборцев на этом поприще: им это нипочем; напротив, только этого им и нужно; иной двадцатый год работает языком, и все в одном направлении... Что значит уверенность в самом себе и самолюбие! И у меня оно было, самолюбие, да и теперь еще не совсем угомонилось... Да тем-то и плохо, что я, опять-таки скажу, не оригинальный человек, на серединке остановился: природе следовало бы гораздо больше самолюбия мне отпустить либо вовсе его не дать. Но на первых порах мне действительно круто пришлось; притом и поездка за границу окончательно истощила мои средства, а на купчихе с молодым, но уже дряблым телом, вроде желе, я жениться не хотел,— и удалился к себе в деревню. Кажется,— прибавил мой сосед, опять взглянув на меня сбоку,— я могу пройти молчанием первые впечатления деревенской жизни, намеки на красоту природы, тихую прелесть одиночества и прочее...

— Можете, можете,— возразил я.

— Тем более,— продолжал рассказчик,— что это все вздор, по крайней мере что до меня касается. Я в деревне скучал, как щенок взаперти, хотя, признаюсь, проезжая на возвратном пути в первый раз весною знакомую березовую рощу, у меня голова закружилась и забилось сердце от смутного сладкого ожидания. Но эти смутные ожидания, вы сами знаете, никогда не сбываются, а напротив, сбываются другие вещи, которых вовсе не ожидаешь, как-то: падежи, недоимки, продажи с публичного торгу и прочая, и прочая. Перебиваясь кое-как со дня на день при помощи бурмистра Якова, заменившего прежнего управляющего и оказавшегося впоследствии времени таким же, если не бóльшим, грабителем да сверх того отравлявшего мое существование запахом своих дегтярных сапогов, вспомнил я однажды об одном знакомом соседнем семействе, состоявшем из отставной полковницы и двух дочерей, велел заложить дрожки и поехал к соседям. Этот день должен навсегда остаться мне памятным: шесть месяцев спустя женился я на второй дочери полковницы!..

Рассказчик опустил голову и поднял руки к небу.

— И между тем,— продолжал он с жаром,— я бы не желал внушить вам дурное мнение о покойнице. Сохрани бог! Это было существо благороднейшее, добрейшее, существо любящее и способное на всякие жертвы, хотя я должен, между нами, сознаться, что, если бы я не имел несчастия ее лишиться, я бы, вероятно, не был в состоянии разговаривать сегодня с вами, ибо еще до сих пор

цела балка в грунтовом моем сарае, на которой я неоднократно собирался повеситься!

— Иным грушам,— начал он опять после небольшого молчания,— нужно некоторое время полежать под землей в подвале, для того чтобы войти, как говорится, в настоящий свой вкус; моя покойница, видимо, тоже принадлежала к подобным произведениям природы. Только теперь отдаю я ей полную справедливость. Только теперь, например, воспоминания об иных вечерах, проведенных мною с ней до свадьбы, не только не возбуждают во мне ни малейшей горечи, но, напротив, трогают меня чуть не до слез. Люди они были небогатые; дом их, весьма старинный, деревянный, но удобный, стоял на горе, между заглохшим садом и заросшим двором. Под горой текла река и едва виднелась сквозь густую листву. Большая терраса вела из дому в сад, перед террасой красовалась продолговатая клумба, покрытая розами; на каждом конце клумбы росли две акации, еще в молодости переплетенные в виде винта покойным хозяином. Немного подальше, в самой глуши заброшенного и одичалого малинника, стояла беседка, прехитро раскрашенная внутри, но до того ветхая и дряхлая снаружи, что, глядя на нее, становилось жутко. С террасы стеклянная дверь вела в гостиную; а в гостиной вот что представлялось любопытному взору наблюдателя: по углам изразцовые печи, кисленькое фортепьяно направо, заваленное рукописными нотами, диван, обитый полинялым голубым штофом с беловатыми разводами, круглый стол, две горки с фарфоровыми и бисерными игрушками екатерининского времени, на стене известный портрет белокурой девицы с голубком на груди и закатившимися глазами, на столе ваза с свежими розами... Видите, как я подробно описываю. В этой-то гостиной, на этой-то террасе и разыгралась вся трагикомедия моей любви. Сама соседка была скверная баба, с постоянной хрипотой злобы в горле, притеснительное и сварливое существо; из дочерей одна — Вера, ничем не отличалась от обыкновенных уездных барышень, другая — Софья,— я в Софью влюбился. У обеих сестер была еще другая комнатка, общая их спальня, с двумя невинными деревянными кроватками, желтоватыми альбомцами, резедой, с портретами приятелей и приятельниц, рисованных карандашом довольно плохо (между ними отличался один господин с необыкновенно энергическим выражением лица и еще более энергическою подписью, в юности своей возбудивший несоразмерные ожидания, а кончивший, как все мы — ничем), с бюстами Гете и Шиллера, немецкими книгами, высохшими венками и другими предметами, оставленными на память. Но в эту комнату я ходил редко и неохотно: мне там отчего-то дыхание сдавливало. Притом — странное дело! Софья мне более всего нравилась, когда я сидел к ней спиной или еще, пожалуй, когда я думал или более мечтал о ней, особенно вечером, на террасе. Я глядел тогда на зарю, на деревья, на зеленые мелкие листья, уже потемневшие, но еще резко отделявшиеся от розового неба; в гостиной, за фортепьянами, сидела Софья и беспрестанно наигрывала какую-нибудь любимую, страстно задумчивую фразу из Бетховена; злая старуха мирно

похрапывала, сидя на диване; в столовой, залитой потоком алого света, Вера хлопотала за чаем; самовар затейливо шипел, словно чему-то радовался; с веселым треском ломались крендельки, ложечки звонко стучали по чашкам; канарейка, немилосердно трещавшая целый день, внезапно утихала и только изредка чирикала, как будто о чем-то спрашивала; из прозрачного, легкого облачка мимоходом падали редкие капли... А я сидел, сидел, слушал, слушал, глядел, сердце у меня расширялось, и мне опять казалось, что я любил. Вот, под влиянием такого-то вечера я однажды спросил у старухи руку ее дочери и месяца через два женился. Мне казалось, что я ее любил... Да и теперь — пора бы знать, а я, ей-богу, и теперь не знаю, любил ли я Софью. Это было существо доброе, умное, молчаливое, с теплым сердцем; но, бог знает отчего, от долгого ли житья в деревне, от других ли каких причин, у ней на дне души (если только есть дно у души) таилась рана, или, лучше сказать, сочилась ранка, которую ничем невозможно было излечить, да и назвать ее ни она не умела, ни я не мог. О существовании этой раны я, разумеется, догадался только после брака. Уж я ли не бился над ней — ничто не помогало! У меня в детстве был чиж, которого кошка раз подержала в лапах; его спасли, вылечили, но не исправился мой бедный чиж; дулся, чах, перестал петь... Кончилось тем, что однажды ночью в открытую клетку забралась к нему крыса и откусила ему нос, вследствие чего он наконец решился умереть. Не знаю, какая кошка подержала жену мою в своих лапах, только и она так же дулась и чахла, как мой несчастный чиж. Иногда ей самой, видимо, хотелось встрепенуться, взыграть на свежем воздухе, на солнце да на воле; попробует — и свернется в клубочек. И ведь она меня любила: сколько раз уверяла меня, что ничего более ей не остается желать,— тьфу, черт возьми!— а у самой глаза так и меркнут. Думал я, нет ли чего в прошедшем? Собрал справки: ничего не оказалось. Ну вот, теперь посудите сами: оригинальный человек пожал бы плечом, может быть, вздохнул бы раза два да и принялся бы жить по-своему; а я, неоригинальное существо, начал заглядываться на балки. В жену мою до того въелись все привычки старой девицы — Бетховен, ночные прогулки, резеда, переписка с друзьями, альбомы и прочее,— что ко всякому другому образу жизни, особенно к жизни хозяйки дома, она никак привыкнуть не могла; а между тем смешно же замужней женщине томиться безыменной тоской и петь по вечерам: «Не буди ты ее на заре».

Вот-с, таким-то образом-с мы блаженствовали три года; на четвертый Софья умерла от первых родов, и — странное дело — мне словно заранее сдавалось, что она не будет в состоянии подарить меня дочерью или сыном, землю — новым обитателем. Помню я, как ее хоронили. Дело было весной. Приходская наша церковь невелика, стара, иконостас почернел, стены голые, кирпичный пол местами выбит; на каждом клиросе большой старинный образ. Внесли гроб, поместили на самой середине, пред царскими дверями, одели полинялым покровом, поставили кругом три подсвеч-

ника. Служба началась. Дряхлый дьячок, с маленькой косичкой сзади, низко подпоясанный зеленым кушаком, печально шамшил перед налоем; священник, тоже старый, с добреньким и слепеньким лицом, в лиловой рясе с желтыми разводами, служил за себя и за дьякона. Во всю ширину раскрытых окон шевелились и лепетали молодые, свежие листья плакучих берез; со двора несло травяным запахом; красное пламя восковых свечей бледнело в веселом свете весеннего дня; воробьи так и чирикали на всю церковь, и изредка раздавалось под куполом звонкое восклицание влетевшей ласточки. В золотой пыли солнечного луча проворно опускались и поднимались русые головы немногочисленных мужиков, усердно молившихся за покойницу; тонкой голубоватой струйкой бежал дым из отверстий кадила. Я глядел на мертвое лицо моей жены... Боже мой! и смерть, сама смерть не освободила ее, не излечила ее раны: то же болезненное, робкое, немое выражение,— ей словно и в гробу неловко... Горько во мне шевельнулась кровь. Доброе, доброе было существо, а для себя же хорошо сделала, что умерла!

У рассказчика раскраснелись щеки и потускнели глаза.

— Отделавшись наконец,— заговорил он опять,— от тяжелого унынья, которое овладело мною после смерти моей жены, я вздумал было приняться, как говорится, за дело. Вступил в службу в губернском городе; но в больших комнатах казенного заведения у меня голова разбаливалась, глаза тоже плохо действовали; другие кстати подошли причины... я вышел в отставку. Хотел было съездить в Москву, да, во-первых, денег недостало, а во-вторых... я вам уже сказывал, что я смирился. Смирение это нашло на меня и вдруг и не вдруг. Духом-то я уже давно смирился, да голове моей все еще не хотелось нагнуться. Я приписывал скромное настроение моих чувств и мыслей влиянию деревенской жизни, несчастья... С другой стороны, я уже давно замечал, что почти все мои соседи, молодые и старые, запуганные сначала моей ученостию, заграничной поездкой и прочими удобствами моего воспитания, не только успели совершенно ко мне привыкнуть, но даже начали обращаться со мной не то грубовато, не то с кондачка, не дослушивали моих рассуждений и, говоря со мной, уже «слово-ерика» более не употребляли. Я вам также забыл сказать, что в течение первого года после моего брака я от скуки попытался было пуститься в литературу и даже послал статейку в журнал, если не ошибаюсь, повесть; но через несколько времени получил от редактора учтивое письмо, в котором, между прочим, было сказано, что мне в уме невозможно отказать, но в таланте должно, а что в литературе только талант и нужен. Сверх того, дошло до моего сведения, что один проезжий москвич, добрейший, впрочем, юноша, мимоходом отозвался обо мне на вечере у губернатора как о человеке выдохшемся и пустом. Но мое полудобровольное ослепление все еще продолжалось: не хотелось, знаете, самого себя «заушить»; наконец в одно прекрасное утро я открыл глаза. Вот как это случилось. Ко мне заехал исправник с намерением обратить мое внимание на провалившийся мост в моих владениях, который

мне решительно не на что было починить. Заедая рюмку водки куском балыка, этот снисходительный блюститель порядка отечески попенял мне за мою неосмотрительность, впрочем, вошел в мое положение и посоветовал только велеть мужичкам понакидать навозцу, закурил трубочку и принялся говорить о предстоящих выборах. Почетного звания губернского предводителя в то время добивался некто Орбассанов, пустой крикун да еще и взяточник в придачу. Притом же он не отличался ни богатством, на знатностию. Я высказал свое мнение на его счет, и довольно даже небрежно: я, признаюсь, глядел на г. Орбассанова свысока. Исправник посмотрел на меня, ласково потрепал меня по плечу и добродушно промолвил: «Эх, Василий Васильич, не нам бы с вами о таких людях рассуждать,— где нам?.. Знай сверчок свой шесток».—«Да помилуйте,— возразил я с досадой,— какая же разница между мною и г. Орбассановым?» Исправник вынул трубку изо рта, вытаращил глаза — и так и прыснул. «Ну, потешник,— проговорил он наконец сквозь слезы,— ведь экую штуку выкинул... а! каков?»— и до самого отъезда он не переставал глумиться надо мною, изредка поталкивая меня локтем под бок и говоря мне уже «ты». Он уехал наконец. Этой капли только недоставало; чаша перелилась. Я прошелся несколько раз по комнате, остановился перед зеркалом, долго, долго смотрел на свое сконфуженное лицо и, медлительно высунув язык, с горькой насмешкой покачал головой. Завеса спала с глаз моих: я увидел ясно, яснее, чем лицо свое в зеркале, какой я был пустой, ничтожный и ненужный, неоригинальный человек!

Рассказчик помолчал.

— В одной трагедии Вольтера,— уныло продолжал он,— какой-то барин радуется тому, что дошел до крайней границы несчастья. Хотя в судьбе моей нет ничего трагического, но я, признаюсь, изведал нечто в этом роде. Я узнал ядовитые восторги холодного отчаяния; я испытал, как сладко, в течение целого утра, не торопясь и лежа на своей постели, проклинать день и час своего рождения,— я не мог смириться разом. Да и в самом деле, вы посудите: безденежье меня приковывало к ненавистной мне деревне; ни хозяйство, ни служба, ни литература — ничто ко мне не пристало; помещиков я чуждался, книги мне опротивели; для водянисто-пухлых и болезненно-чувствительных барышень, встряхивающих кудрями и лихорадочно твердящих слово «жызнь»,— я не представлял ничего занимательного с тех пор, как перестал болтать и восторгаться; уединиться совершенно я не умел и не мог... Я стал, что вы думаете? я стал таскаться по соседям. Словно опьяненный презреньем к самому себе, я нарочно подвергался всяким мелочным унижениям. Меня обносили за столом, холодно и надменно встречали, наконец не замечали вовсе; мне не давали даже вмешиваться в общий разговор, и я сам, бывало, нарочно поддакивал из угла какому-нибудь глупейшему говоруну, который во время оно, в Москве, с восхищением облобызал бы прах ног моих, край моей шинели... Я даже не позволял самому себе думать, что я предаюсь горькому удовольствию иронии... Помилуй-

те, что за ирония в одиночку! Вот-с как я поступал несколько лет сряду и как поступаю еще до сих пор...

— Однако это ни на что не похоже,— проворчал из соседней комнаты заспанный голос г. Кантагрюхина,— какой там дурак вздумал ночью разговаривать?

Рассказчик проворно нырнул под одеяло и, робко выглядывая, погрозил мне пальцем.

— Тс... тс...— прошептал он — и, словно извиняясь и кланяясь в направлении кантагрюхинского голоса, почтительно промолвил:— Слушаю-с, слушаю-с, извините-с... Ему позволительно спать, ему следует спать,— продолжал он снова шепотом,— ему должно набраться новых сил, ну хоть бы для того, чтобы с тем же удовольствием покушать завтра. Мы не имеем права его беспокоить. Притом же я, кажется, вам все сказал, что хотел; вероятно, и вам хочется спать. Желаю вам доброй ночи.

Рассказчик с лихорадочной быстротой отвернулся и зарыл голову в подушки.

— Позвольте, по крайней мере, узнать,— спросил я,— с кем я имел удовольствие...

Он проворно поднял голову.

— Нет, ради бога,— прервал он меня,— не спрашивайте моего имени ни у меня, ни у других. Пусть я останусь для вас неизвестным существом, пришибленным судьбою Васильем Васильевичем. Притом же я, как человек неоригинальный, и не заслуживаю особенного имени... А уж если вы непременно хотите мне дать какую-нибудь кличку, так назовите... назовите меня Гамлетом Щигровского уезда. Таких Гамлетов во всяком уезде много, но может быть, вы с другими не сталкивались... Засим прощайте.

Он опять зарылся в свой пуховик, а на другое утро, когда пришли будить меня, его уж не было в комнате. Он уехал до зари.

ЧЕРТОПХАНОВ И НЕДОПЮСКИН

В жаркий летний день возвращался я однажды с охоты на телеге; Ермолай дремал, сидя возле меня, и клевал носом. Заснувшие собаки подпрыгивали, словно мертвые, у нас под ногами. Кучер то и дело сгонял кнутом оводов с лошадей. Белая пыль легким облаком неслась вслед за телегой. Мы въехали в кусты. Дорога стала ухабистее, колеса начали задевать за сучья. Ермолай встрепенулся и глянул кругом... «Э!— заговорил он,— да здесь должны быть тетерева. Слеземте-ка». Мы остановились и вошли в «площадь». Собака моя наткнулась на выводок. Я выстрелил и начал было заряжать ружье, как вдруг позади меня поднялся громкий треск, и, раздвигая кусты руками, подъехал ко мне верховой. «А па-азвольте узнать,— заговорил он надменным голосом,— по какому праву вы здесь а-ахотитесь, мюлсвый сдарь?» Незнакомец говорил необыкновенно быстро, отрывочно и в нос. Я посмотрел ему в лицо: отроду не видал я ничего подобного. Вообразите себе,

любезные читатели, маленького человека, белокурого, с красным вздернутым носиком и длиннейшими рыжими усами. Остроконечная персидская шапка с малиновым суконным верхом закрывала ему лоб по самые брови. Одет он был в желтый, истасканный архалук с черными плисовыми патронами на груди и полинялыми серебряными галунами по всем швам; через плечо висел у него рог, за поясом торчал кинжал. Чахлая горбоносая рыжая лошадь металась под ним как угорелая; две борзые собаки, худые и криволапые, тут же вертелись у ней под ногами. Лицо, взгляд, голос, каждое движенье, все существо незнакомца дышало сумасбродной отвагой и гордостью непомерной, небывалой; его бледно-голубые, стеклянные глаза разбегались и косились, как у пьяного; он закидывал голову назад, надувал щеки, фыркал и вздрагивал всем телом, словно из избытка достоинства,— ни дать ни взять, как индейский петух. Он повторил свой вопрос.

— Я не знал, что здесь запрещено стрелять,— отвечал я.

— Вы здесь, милостивый государь,— продолжал он,— на моей земле.

— Извольте, я уйду.

— А па-азвольте узнать,— возразил он,— я с дворянином имею честь объясняться?

Я назвал себя.

— В таком случае извольте охотиться. Я сам дворянин и очень рад услужить дворянину... А зовут меня Чер-топ-хановым, Пантелеем.

Он нагнулся, гикнул, вытянул лошадь по шее; лошадь замотала головой, взвилась на дыбы, бросилась в сторону и отдавила одной собаке лапу. Собака пронзительно завизжала. Чертопханов закипел, зашипел, ударил лошадь кулаком по голове между ушами, быстрее молнии соскочил наземь, осмотрел лапу у собаки, поплевал на рану, пихнул ее ногою в бок, чтобы она не пищала, уцепился за холку и вдел ногу в стремя. Лошадь задрала морду, подняла хвост и бросилась боком в кусты; он за ней на одной ноге вприпрыжку, однако наконец-таки попал в седло; как исступленный завертел нагайкой, затрубил в рог и поскакал. Не успел я еще прийти в себя от неожиданного появления Чертопханова, как вдруг, почти безо всякого шуму, выехал из кустов толстенький человек лет сорока, на маленькой вороненькой лошаденке. Он остановился, снял с головы зеленый кожаный картуз и тоненьким и мягким голосом спросил меня, не видал ли я верхового на рыжей лошади? Я отвечал, что видел.

— В какую сторону они изволили поехать?— продолжал он тем же голосом и не надевая картуза.

— Туда-с.

— Покорнейше вас благодарю-с.

Он чмокнул губами, заболтал ногами по бокам лошаденки и поплелся рысцой — трюхи, трюхи,— по указанному направлению. Я посмотрел ему вслед, пока его рогатый картуз не скрылся за ветвями. Этот новый незнакомец наружностью нисколько не походил на своего предшественника. Лицо его, пухлое и круглое, как

шар, выражало застенчивость, добродушие и кроткое смирение; нос, тоже пухлый и круглый, испещренный синими жилками, изобличал сластолюбца. На голове его спереди не оставалось ни одного волосика, сзади торчали жиденькие русые косицы; глазки, словно осокой прорезанные, ласково мигали; сладко улыбались красные и сочные губки. На нем был сюртук с стоячим воротником и медными пуговицами, весьма поношенный, но чистый; суконные его панталончики высоко вздернулись; над желтыми оторочками сапогов виднелись жирненькие икры.

— Кто это?— спросил я Ермолая.

— Это? Недопюскин, Тихон Иваныч. У Чертопханова живет.

— Что он, бедный человек?

— Небогатый; да ведь и у Чертопханова-то гроша нет медного.

— Так зачем же он у него поселился?

— А, вишь, подружились. Друг без дружки никуда... Вот уж подлинно: куда конь с копытом, туда и рак с клешней...

Мы вышли из кустов; вдруг подле нас «затякали» две гончие, и матерой беляк покатил по овсам, уже довольно высоким. Вслед за ним выскочили из опушки собаки, гончие и борзые, а вслед за собаками вылетел сам Чертопханов. Он не кричал, не травил, не атукал: он задыхался, захлебывался; из разинутого рта изредка вырывались отрывистые, бессмысленные звуки; он мчался, выпуча глаза, и бешено сек нагайкой несчастную лошадь. Борзые «приспели»... беляк присел, круто повернул назад и ринулся, мимо Ермолая, в кусты... Борзые пронеслись. «Бе-е-ги, бе-е-ги!— с усилием, словно косноязычный, залепетал замиравший охотник,— родимый, береги!» Ермолай выстрелил, раненый беляк покатился кубарем по гладкой и сухой траве, подпрыгнул кверху и жалобно закричал в зубах рассовавшегося пса. Гончие тотчас подвалились.

Турманом слетел Чертопханов с коня, выхватил кинжал, подбежал, растопыря ноги, к собакам, с яростными заклинаниями вырвал у них истерзанного зайца и, перекосясь всем лицом, погрузил ему в горло кинжал по самую рукоятку... погрузил и загоготал. Тихон Иваныч показался в опушке. «Го-го-го-го-го-го-го-го!»— завопил вторично Чертопханов... «Го-го-го-го»,— спокойно повторил его товарищ.

— А ведь, по-настоящему, летом охотиться не следует,— заметил я, указывая Чертопханову на измятый овес.

— Мое поле,— отвечал, едва дыша, Чертопханов.

Он отпазончил, второчил зайца и роздал собакам лапки.

— За мною заряд, любезный, по охотничьим правилам,— проговорил он, обращаясь к Ермолаю.— А вас, милостивый государь,— прибавил он тем же отрывистым и резким голосом,— благодарю.

Он сел на лошадь.

— Па-азвольте узнать... забыл... имя и фамилию?

Я опять назвал себя.

— Очень рад с вами познакомиться. Коли случится, милости просим ко мне... Да где же этот Фомка, Тихон Иваныч?— с сердцем продолжал он,— без него беляка затравили.

— А под ним лошадь пала,— с улыбкой отвечал Тихон Иваныч.

— Как пала? Орбассан пал? Пфу, пфить!.. Где он, где?

— Там, за лесом.

Чертопханов ударил лошадь нагайкой по морде и поскакал сломя голову. Тихон Иваныч поклонился мне два раза — за себя и за товарища, и опять поплелся рысцой в кусты.

Эти два господина сильно возбудили мое любопытство... Что могло связать узами неразрывной дружбы два существа, столь разнородные? Я начал наводить справки. Вот что я узнал.

Чертопханов, Пантелей Еремеич, слыл во всем околотке человеком опасным и сумасбродным, гордецом и забиякой первой руки. Служил он весьма недолгое время в армии и вышел в отставку «по неприятности», тем чином, по поводу которого распространилось мнение, будто курица не птица. Происходил он от старинного дома, некогда богатого; деды его жили пышно, по-степному, то есть принимали званных и незванных, кормили их на убой, отпускали по четверти овса чужим кучерам на тройку, держали музыкантов, песельников, гаеров и собак, в торжественные дни поили народ вином и брагой, по зимам ездили в Москву на своих, в тяжелых колымагах, а иногда по целым месяцам сидели без гроша и питались домашней живностью. Отцу Пантелея Еремеича досталось имение уже разоренное; он, в свою очередь, тоже сильно «пожуировал» и, умирая, оставил единственному своему наследнику, Пантелею, заложенное сельцо Бессоново, с тридцатью пятью душами мужеска и семидесятью шестью женска пола да четырнадцать десятин с осьминником неудобной земли в пустоши Колобродовой, на которые, впрочем, никаких крепостей в бумагах покойника не оказалось. Покойник, должно сознаться, престранным образом разорился: «хозяйственный расчет» его сгубил. По его понятиям, дворянину не следовало зависеть от купцов, горожан и тому подобных «разбойников», как он выражался; он завел у себя всевозможные ремесла и мастерские. «И приличнее и дешевле, — говаривал он, — хозяйственный расчет!» С этой пагубной мыслью он до конца жизни не расстался; она-то его и разорила. Зато потешился! Ни в одной прихоти себе не отказывал. Между прочими выдумками соорудил он однажды, по собственным соображениям, такую огромную семейственную карету, что, несмотря на дружные усилия согнанных со всего села крестьянских лошадей вместе с их владельцами, она на первом же косогоре завалилась и рассыпалась. Еремей Лукич (Пантелеева отца звали Еремеем Лукичом) приказал памятник поставить на косогоре, а впрочем, нисколько не смутился. Вздумал он также построить церковь, разумеется, сам, без помощи архитектора. Сжег целый лес на кирпичи, заложил фундамент огромный, хоть бы под губернский собор, вывел стены, начал сводить купол: купол упал. Он опять — купол опять обрушился; он третий раз — купол рухнул в третий раз. Призадумался мой Еремей Лукич: дело, думает, не ладно... колдовство проклятое замешалось... да вдруг и прикажи перепороть всех старых баб на деревне. Баб перепороли — а купол

все-таки не свели. Избы крестьянам по новому плану перестроивать начал, и всё из хозяйственного расчета; по три двора вместе ставил треугольником, а на середине воздвигал шест с раскрашенной скворечницей и флагом. Каждый день, бывало, новую затею придумывал: то из лопуха суп варил, то лошадям хвосты стриг на картузы дворовым людям, то лен собирался крапивой заменить, свиней кормить грибами... Вычитал он однажды в «Московских ведомостях» статейку харьковского помещика Хряка́-Хрупёрского о пользе нравственности в крестьянском быту и на другой же день отдал приказ всем крестьянам немедленно выучить статью харьковского помещика наизусть. Крестьяне выучили статью; барин спросил их: понимают ли они, что там написано? Приказчик отвечал, что как, мол, не понять! Около того же времени повелел он всех поданных своих, для порядка и хозяйственного расчета, перенумеровать и каждому на воротнике нашить его нумер. При встрече с барином всяк, бывало, так уж и кричит: такой-то нумер идет! а барин отвечает ласково: ступай с богом!

Однако, несмотря на порядок и хозяйственный расчет, Еремей Лукич понемногу пришел в весьма затруднительное положение: начал сперва закладывать свои деревеньки, а там и к продаже приступил; последнее прадедовское гнездо, село с недостроенною церковью, продала уже казна, к счастью, не при жизни Еремея Лукича, — он бы не вынес этого удара, — а две недели после его кончины. Он успел умереть у себя в доме, на своей постели, окруженный своими людьми и под надзором своего лекаря; но бедному Пантелею досталось одно Бессоново.

Пантелей узнал о болезни отца уже на службе, в самом разгаре вышеупомянутой «неприятности». Ему только что пошел девятнадцатый год. С самого детства не покидал он родительского дома и под руководством своей матери, добрейшей, но совершенно тупоумной женщины, Василисы Васильевны, вырос баловнем и барчуком. Она одна занималась его воспитанием; Еремею Лукичу, погруженному в свои хозяйственные соображения, было не до того. Правда, он однажды собственноручно наказал своего сына за то, что он букву «рцы» выговаривал: «арцы», но в тот день Еремей Лукич скорбел глубоко и тайно: лучшая его собака убилась об дерево. Впрочем, хлопоты Василисы Васильевны насчет воспитания Пантюши ограничились одним мучительным усилием: в поте лица наняла она ему в гувернеры отставного солдата из эльзасцев, некоего Биркопфа, и до самой смерти трепетала как лист перед ним: ну, думала она, коли откажется — пропала я! куда я денусь? Где другого учителя найду? Уж и этого насилу-насилу у соседки сманила! И Биркопф, как человек сметливый, тотчас воспользовался исключительностью своего положения: пил мертвую и спал с утра до вечера. По окончании «курса наук» Пантелей поступил на службу. Василисы Васильевны уже не было на свете. Она скончалась за полгода до этого важного события, от испуга: ей во сне привиделся белый человек верхом на медведе. Еремей Лукич вскоре последовал за своей половиной.

Пантелей, при первом известии о его нездоровье, прискакал сломя голову, однако не застал уже родителя в живых. Но каково было удивление почтительного сына, когда он совершенно неожиданно из богатого наследника превратился в бедняка! Немногие в состоянии вынести такой крутой перелом. Пантелей одичал, ожесточился. Из человека честного, щедрого и доброго, хотя взбалмошного и горячего, он превратился в гордеца и забияку, перестал знаться с соседями, — богатых он стыдился, бедных гнушался, — и неслыханно дерзко обращался со всеми, даже с установленными властями: я, мол, столбовой дворянин. Раз чуть-чуть не застрелил станового, вошедшего к нему в комнату с картузом на голове. Разумеется, власти, с своей стороны, ему тоже не спускали и при случае давали себя знать; но все-таки его побаивались, потому что горячка он был страшная и со второго слова предлагал резаться на ножах. От малейшего возражения глаза Чертопханова разбегались, голос прерывался... «А ва-ва-ва-ва-ва, — лепетал он, — пропадай моя голова!»... и хоть на стену! Да и сверх того, человек он был чистый, не замешанный ни в чем. Никто к нему, разумеется, не ездил... И при всем том душа в нем была добрая, даже великая по-своему: несправедливости, притеснения он вчуже не выносил; за мужиков своих стоял горой. «Как? — говорил он, неистово стуча по собственной голове, — моих трогать, моих? Да не будь я Чертопханов...»

Тихон Иваныч Недопюскин не мог, подобно Пантелею Еремеичу, гордиться своим происхождением. Родитель его вышел из однодворцев и только сорокалетней службой добился дворянства. Г-н Недопюскин-отец принадлежал к числу людей, которых несчастие преследует с ожесточением неослабным, неутомимым, с ожесточением, похожим на личную ненависть. В течение целых шестидесяти лет, с самого рождения до самой кончины, бедняк боролся со всеми нуждами, недугами и бедствиями, свойственными маленьким людям; бился как рыба об лед, недоедал, недосыпал, кланялся, хлопотал, унывал и томился, дрожал над каждой копейкой, действительно «невинно» пострадал по службе и умер наконец не то на чердаке, не то в погребе, не успев заработать ни себе, ни детям куска насущного хлеба. Судьба замотала его, словно зайца на угонках. Человек он был добрый и честный, а брал взятки — «по чину» — от гривенника до двух целковых включительно. Была у Недопюскина жена, худая и чахоточная; были и дети; к счастию, они все скоро перемерли, исключая Тихона да дочери Митродоры, по прозванию «купецкая щеголиха», вышедшей, после многих печальных и смешных приключений, за отставного стряпчего. Г-н Недопюскин-отец успел было еще при жизни поместить Тихона заштатным чиновником в канцелярию; но тотчас после смерти родителя Тихон вышел в отставку. Вечные тревоги, мучительная борьба с холодом и голодом, тоскливое уныние матери, хлопотливое отчаяние отца, грубые притеснения хозяев и лавочника — все это ежедневное, непрерывное горе развило в Тихоне робость неизъяснимую: при одном виде начальника он трепетал и замирал, как пойманная птичка. Он бросил службу. Равнодуш-

ная, а может быть и насмешливая, природа влагает в людей разные способности и наклонности, нисколько не соображаясь с их положением в обществе и средствами; с свойственною ей заботливостию и любовию вылепила она из Тихона, сына бедного чиновника, существо чувствительное, ленивое, мягкое, восприимчивое — существо, исключительно обращенное к наслаждению, одаренное чрезвычайно тонким обонянием и вкусом... вылепила, тщательно отделала и — предоставила своему произведению вырастать на кислой капусте и тухлой рыбе. И вот оно выросло, это произведение, начало, как говорится, «жить». Пошла потеха. Судьба, неотступно терзавшая Недопюскина-отца, принялась и за сына: видно, разлакомилась. Но с Тихоном она поступила иначе; она не мучила его — она им забавлялась. Она ни разу не доводила его до отчаяния, не заставляла испытать постыдных мук голода, но мыкала им по всей России, из Великого-Устюга в Царево-Кокшайск, из одной унизительной и смешной должности в другую. То жаловала его в «мажордомы» к сварливой и желчной барыне-благодетельнице, то помещала в нахлебники к богатому скряге-купцу, то определяла в начальники домашней канцелярии лупоглазого барина, стриженного на английский манер, то производила в полудворецкие, полушуты к псовому охотнику... Словом, судьба заставила бедного Тихона выпить по капле и до капли весь горький и ядовитый напиток подчиненного существования. Послужил он на своем веку тяжелой прихоти, заспанной и злобной скуке праздного барства... Сколько раз, наедине, в своей комнатке, отпущенный наконец «с богом» натешившейся всласть ватагою гостей, клялся он, весь пылая стыдом, с холодными слезами отчаяния на глазах, на другой же день убежать тайком, попытать своего счастия в городе, сыскать себе хоть писарское местечко или уж за один раз умереть с голоду на улице. Да, во-первых, силы бог не дал; во-вторых, робость разбирала, а в-третьих, наконец, как себе место выхлопотать, кого просить? «Не дадут, — шептал, бывало, несчастный, уныло переворачиваясь на постели, — не дадут!» И на другой день снова принимался тянуть лямку. Тем мучительнее было его положение, что та же заботливая природа не потрудилась наделить его хоть малой толикой тех способностей и дарований, без которых ремесло забавника почти невозможно. Он, например, не умел ни плясать до упаду в медвежьей шубе навыворот, ни балагурить и любезничать в непосредственном соседстве расходившихся арапников; выставленный нагишом на двадцатиградусный мороз, он иногда простужался, желудок его не варил ни вина, смешанного с чернилами и прочей дрянью, ни крошеных мухоморов и сыроежек с уксусом. Господь ведает, что бы сталось с Тихоном, если бы последний из его благодетелей, разбогатевший откупщик, не вздумал в веселый час приписать в своем завещании: а Зёзе (Тихону тож) Недопюскину предоставляю в вечное и потомственное владение благоприобретенную мною деревню Бесселендеевку со всеми угодьями. Несколько дней спустя благодетеля, за стерляжьей ухой, прихлопнул паралич. Поднялся гвалт, суд нагрянул, опечатал имущество, как следует. Съехались родные; раскрыли завещание: прочли, потребовали Не-

допюскина. Явился Недопюскин. Бóльшая часть собранья знала, какую должность Тихон Иваныч занимал при благодетеле: оглушительные восклицания, насмешливые поздравления посыпались ему навстречу. «Помещик, вот он, новый помещик!» — кричали прочие наследники. «Вот уж того, — подхватил один, известный шутник и остряк, — вот уж точно, можно сказать... вот уж действительно... того... что называется... того... наследник». — И все так и прыснули. Недопюскин долго не хотел верить своему счастию. Ему показали завещание — он покраснел, зажмурился, начал отмахиваться руками и зарыдал в три ручья. Хохот собранья превратился в густой и слитный рев. Деревня Бесселендеевка состояла всего из двадцати двух душ крестьян; никто о ней не сожалел сильно, так почему же, при случае, не потешиться? Один только наследник из Петербурга, важный мужчина с греческим носом и благороднейшим выражением лица, Ростислав Адамыч Штоппель, не вытерпел, пододвинулся боком к Недопюскину и надменно глянул на него через плечо. «Вы, сколько я могу заметить, милостивый государь,— заговорил он презрительно-небрежно, — состояли у почтенного Феодора Феодорыча в должности потешного, так сказать, прислужника?» Господин из Петербурга выражался языком нестерпимо чистым, бойким и правильным. Расстроенный, взволнованный Недопюскин не расслышал слов незнакомого ему господина, но прочие тотчас все замолкли; остряк снисходительно улыбнулся. Г-н Штоппель потер себе руки и повторил свой вопрос. Недопюскин с изумлением поднял глаза и раскрыл рот. Ростислав Адамыч язвительно прищурился.

— Поздравляю вас, милостивый государь, поздравляю,— продолжал он, — правда, не всякий, можно сказать, согласился бы таким образом зарррабатывать себе насущный хлеб; но de gustibus non est disputandum, то есть у всякого свой вкус... Не правда ли?

Кто-то в задних рядах быстро, но прилично взвизгнул от удивления и восторга.

— Скажите, — подхватил г. Штоппель, сильно поощренный улыбками всего собрания, — какому таланту в особенности вы обязаны своим счастием? Нет, не стыдитесь, скажите; мы все здесь, так сказать, свои, en famille. Не правда ли, господа, мы здесь en famille?

Наследник, к которому Ростислав Адамыч случайно обратился с этим вопросом, к сожалению, не знал по-французски и потому ограничился одним одобрительным и легким кряхтением. Зато другой наследник, молодой человек с желтоватыми пятнами на лбу, поспешно подхватил: «Вуй, вуй, разумеется».

— Может быть, — снова заговорил г. Штоппель, — вы умеете ходить на руках, поднявши ноги, так сказать, кверху?

Недопюскин с тоской поглядел кругом — все лица злобно усмехались, все глаза покрылись влагой удовольствия.

— Или, может быть, вы умеете петь, как петух?

Взрыв хохота раздался кругом и стих тотчас, заглушенный ожиданием.

— Или, может быть, вы на носу...

— Перестаньте! — перебил вдруг Ростислава Адамыча резкий и громкий голос. — Как вам не стыдно мучить бедного человека!

Все оглянулись. В дверях стоял Чертопханов. В качестве четвероюродного племянника покойного откупщика он тоже получил пригласительное письмо на родственный съезд. Во все время чтения он, как всегда, держался в гордом отдалении от прочих.

— Перестаньте, — повторил он, гордо закинув голову.

Г-н Штоппель быстро обернулся и, увидав человека бедно одетого, неказистого, вполголоса спросил у соседа (осторожность никогда не мешает):

— Кто это?

— Чертопханов, не важная птица, — отвечал ему тот на ухо.

Ростислав Адамыч принял надменный вид.

— А вы что за командир? — проговорил он в нос и прищурил глаза. — Вы что за птица, позвольте спросить?

Чертопханов вспыхнул, как порох от искры. Бешенство захватило ему дыханье.

— Дз-дз-дз-дз, — зашипел он, словно удавленный, и вдруг загремел: — Кто я? кто я? Я Пантелей Чертопханов, столбовой дворянин, мой прапращур царю служил, а ты кто?

Ростислав Адамыч побледнел и шагнул назад. Он не ожидал такого отпора.

— Я птица, я, я птица... О, о, о!..

Чертопханов ринулся вперед; Штоппель отскочил в большом волнении, гости бросились навстречу раздраженному помещику.

— Стреляться, стреляться, сейчас стреляться через платок! — кричал рассвирепевший Пантелей,— или проси извинения у меня, да и у него...

— Просите, просите извинения, — бормотали вокруг Штоппеля встревоженные наследники, — он ведь такой сумасшедший, готов зарезать.

— Извините, извините, я не знал, — залепетал Штоппель, — я не знал...

— И у него проси! — возопил неугомонный Пантелей.

— Извините и вы, — прибавил Ростислав Адамыч, обращаясь к Недопюскину, который сам дрожал, как в лихорадке.

Чертопханов успокоился, подошел к Тихону Иванычу, взял его за руку, дерзко глянул кругом и, не встречая ни одного взора, торжественно, среди глубокого молчания, вышел из комнаты вместе с новым владельцем благоприобретенной деревни Бесселендеевки.

С того самого дня они уже более не расставались. (Деревня Бесселендеевка отстояла всего на восемь верст от Бессонова.) Неограниченная благодарность Недопюскина скоро перешла в подобострастное благоговение. Слабый, мягкий и не совсем чистый Тихон склонялся во прах перед безбоязненным и бескорыстным Пантелеем. «Легкое ли дело! — думал он иногда про себя, — с губернатором говорит, прямо в глаза ему смотрит... вот те Христос, — так и смотрит!»

Он удивлялся ему до недоумения, до изнеможения душевных сил, почитал его человеком необыкновенным, умным, ученым. И то сказать, как ни было худо воспитание Чертопханова, все же, в сравнении с воспитанием Тихона, оно могло показаться блестящим. Чертопханов, правда, по-русски читал мало, по-французски понимал плохо, до того плохо, что однажды на вопрос гувернера из швейцарцев: «Vous parlez français, monsieur?»[1] — отвечал: «Жэ не разумею, — и, подумав немного, прибавил: — па»; но все-таки он помнил, что был на свете Вольтер, преострый сочинитель, что французы с англичанами много воевали и что Фридрих Великий, прусский король, на военном поприще тоже отличался. Из русских писателей уважал он Державина, а любил Марлинского и лучшего кобеля прозвал Аммалат-Беком...

Несколько дней спустя после первой моей встречи с обоими приятелями отправился я в сельцо Бессоново к Пантелею Еремеичу. Издали виднелся небольшой его домик; он торчал на голом месте, в полуверсте от деревни, как говорится, «на ю́ру», словно ястреб на пашне. Вся усадьба Чертопханова состояла из четырех ветхих срубов разной величины, а именно: из флигеля, конюшни, сарая и бани. Каждый сруб сидел отдельно, сам по себе: ни забора кругом, ни ворот не замечалось. Кучер мой остановился в недоумении у полусгнившего и засоренного колодца. Возле сарая несколько худых и взъерошенных борзых щенков терзали дохлую лошадь, вероятно Орбассана; один из них поднял было окровавленную морду, полаял торопливо и снова принялся глодать обнаженные ребра. Подле лошади стоял малый лет семнадцати, с пухлым и желтым лицом, одетый казачком и босоногий; он с важностью посматривал на собак, порученных его надзору, и изредка постегивал арапником самых алчных.

— Дома барин? — спросил я.

— А господь его знает! — отвечал малый. — Постучитесь.

Я соскочил с дрожек и подошел к крыльцу флигеля.

Жилище господина Чертопханова являло вид весьма печальный: бревна почернели и высунулись вперед «брюхом», труба обвалилась, углы подопрели и покачнулись, небольшие тускло-сизые окошечки невыразимо кисло поглядывали из-под косматой, нахлобученной крыши: у иных старух-потаскушек бывают такие глаза. Я постучался; никто не откликнулся. Однако мне за дверью слышались резко произносимые слова:

— Аз, буки, веди; да ну же, дурак, — говорил сиплый голос, — аз, буки, веди, глаголь... да нет! глаголь, добро, есть! есть!.. Ну же, дурак!

Я постучался в другой раз.

Тот же голос закричал:

— Войди, — кто там...

Я вошел в пустую маленькую переднюю и сквозь растворенную дверь увидал самого Чертопханова. В засаленном бухарском халате, широких шароварах и красной ермолке сидел он на стуле,

---

[1] Вы говорите по-французски, сударь? (*фр.*)

одной рукой стискивал он молодому пуделю морду, а в другой держал кусок хлеба над самым его носом.

— А! — проговорил он с достоинством и не трогаясь с места, — очень рад вашему посещенью. Милости прошу садиться. А я вот с Вензором вожусь... Тихон Иваныч, — прибавил он, возвысив голос, — пожалуй-ка сюда. Гость приехал.

— Сейчас, сейчас, — отвечал из соседней комнаты Тихон Иваныч. — Маша, подай галстук.

Чертопханов снова обратился к Вензору и положил ему кусок хлеба на нос. Я посмотрел кругом. В комнате, кроме раздвижного покоробленного стола на тринадцати ножках неравной длины да четырех продавленных соломенных стульев, не было никакой мебели; давным-давно выбеленные стены, с синими пятнами в виде звезд, во многих местах облупились; между окнами висело разбитое и тусклое зеркальце в огромной раме под красное дерево. По углам стояли чубуки да ружья; с потолка спускались толстые и черные нити паутин.

— Аз, буки, веди, глаголь, добро, — медленно произносил Чертопханов и вдруг неистово воскликнул: — Есть! есть! есть!.. Экое глупое животное!.. есть!..

Но злополучный пудель только вздрагивал и не решался разинуть рот; он продолжал сидеть, поджавши болезненно хвост, и, скривив морду, уныло моргал и щурился, словно говорил про себя: известно, воля ваша!

— Да ешь, на! пиль! — повторял неугомонный помещик.

— Вы его запугали, — заметил я.

— Ну, так прочь его!

Он пихнул его ногой. Бедняк поднялся тихо, сронил хлеб долой с носа и пошел, словно на цыпочках, в переднюю, глубоко оскорбленный. И действительно: чужой человек в первый раз приехал, а с ним вот как поступают.

Дверь из другой комнаты осторожно скрипнула, и г. Недопюскин вошел, приятно раскланиваясь и улыбаясь.

Я встал и поклонился.

— Не беспокойтесь, не беспокойтесь, — залепетал он.

Мы уселись. Чертопханов вышел в соседнюю комнату.

— Давно вы пожаловали в наши палестины? — заговорил Недопюскин мягким голосом, осторожно кашлянув в руку и, для приличья, подержав пальцы перед губами.

— Другой месяц пошел.

— Вот как-с.

Мы помолчали.

— Приятная нонеча стоит погода, — продолжал Недопюскин и с благодарностию посмотрел на меня, как будто бы погода от меня зависела, — хлеба, можно сказать, удивительные.

Я наклонил голову в знак согласия. Мы опять помолчали.

— Пантелей Еремеич вчера двух русаков изволили затравить, — не без усилия заговорил Недопюскин, явно желавший оживить разговор, — да-с, пребольших-с русаков-с.

— Хорошие у господина Чертопханова собаки?

— Преудивительные-с! — с удовольствием возразил Недопюскин, — можно сказать, первые по губернии. (Он пододвинулся ко мне.) Да что-с! Пантелей Еремеич такой человек! Что только пожелает, вот что только вздумает — глядишь, уж и готово, все уж так и кипит-с. Пантелей Еремеич, скажу вам...

Чертопханов вошел в комнату. Недопюскин усмехнулся, умолк, и показал мне на него глазами, как бы желая сказать: вот вы сами убедитесь. Мы пустились толковать об охоте.

— Хотите, я вам покажу свою свору? — спросил меня Чертопханов и, не дождавшись ответа, позвал Карпа.

Вошел дюжий парень в нанковом кафтане зеленого цвета с голубым воротником и ливрейными пуговицами.

— Прикажи Фомке, — отрывисто проговорил Чертопханов, — привести Аммалата и Сайгу, да в порядке, понимаешь?

Карп улыбнулся во весь рот, издал неопределенный звук и вышел. Явился Фомка, причесанный, затянутый, в сапогах и с собаками. Я, ради приличия, полюбовался глупыми животными (борзые все чрезвычайно глупы). Чертопханов поплевал Аммалату в самые ноздри, что, впрочем, по-видимому, не доставило этому псу ни малейшего удовольствия. Недопюскин также сзади поласкал Аммалата. Мы опять принялись болтать. Чертопханов понемногу смягчился совершенно, перестал петушиться и фыркать; выраженье лица его изменилось. Он глянул на меня и на Недопюскина...

— Э! — воскликнул он вдруг, — что ей там сидеть одной? Маша! а Маша! поди-ка сюда.

Кто-то зашевелился в соседней комнате, но ответа не было.

— Ма-а-ша, — ласково повторил Чертопханов, — поди сюда. Ничего, не бойся.

Дверь тихонько растворилась, и я увидал женщину лет двадцати, высокую и стройную, с цыганским смуглым лицом, изжелта-карими глазами и черною как смоль косою; большие белые зубы так и сверкали из-под полных и красных губ. На ней было белое платье; голубая шаль, заколотая у самого горла золотой булавкой, прикрывала до половины ее тонкие, породистые руки. Она шагнула раза два с застенчивой неловкостью дикарки, остановилась и потупилась.

— Вот, рекомендую, — промолвил Пантелей Еремеич, — жена не жена, а почитай что жена.

Маша слегка вспыхнула и с замешательством улыбнулась. Я поклонился ей пониже. Очень она мне нравилась. Тоненький орлиный нос с открытыми полупрозрачными ноздрями, смелый очерк высоких бровей, бледные, чуть-чуть впалые щеки — все черты ее лица выражали своенравную страсть и беззаботную удаль. Из-под закрученной косы вниз по широкой шее шли две прядки блестящих волосиков — признак крови и силы.

Она подошла к окну и села. Я не хотел увеличить ее смущенья и заговорил с Чертопхановым. Маша легонько повернула голову и начала исподлобья на меня поглядывать, украдкой, дико, быстро. Взор ее так и мелькал, словно змеиное жало. Недопюскин под-

сел к ней и шепнул ей что-то на ухо. Она опять улыбнулась. Улыбаясь, она слегка морщила нос и приподнимала верхнюю губу, что придавало ее лицу не то кошачье, не то львиное выражение...

«О, да ты «не тронь меня»,— подумал я, в свою очередь украдкой посматривая на ее гибкий стан, впалую грудь и угловатые, проворные движения.

— А что, Маша, — спросил Чертопханов, — надобно бы гостя чем-нибудь и попотчевать, а?

— У нас есть варенье, — отвечала она.

— Ну, подай сюда варенье, да уж и водку кстати. Да послушай, Маша,— закричал он ей вслед,— принеси тоже гитару.

— Для чего гитару? Я петь не стану.

— Отчего?

— Не хочется.

— Э, пустяки, захочется, коли...

— Что? — спросила Маша, быстро наморщив брови.

— Коли попросят,— договорил Чертопханов не без смущения.

— А!

Она вышла, скоро вернулась с вареньем и водкой и опять села у окна. На лбу ее еще виднелась морщинка; обе брови поднимались и опускались, как усики у осы... Заметили ли вы, читатель, какое злое лицо у осы? Ну, подумал я, быть грозе. Разговор не клеился. Недопюскин притих совершенно и напряженно улыбался; Чертопханов пыхтел, краснел и выпучивал глаза; я уже собирался уехать... Маша вдруг приподнялась, разом отворила окно, высунула голову и с сердцем закричала проходившей бабе: «Аксинья!» Баба вздрогнула, хотела было повернуться, да поскользнулась и тяжко шлепнулась наземь. Маша опрокинулась назад и звонко захохотала; Чертопханов тоже засмеялся, Недопюскин запищал от восторга. Мы все встрепенулись. Гроза разразилась одной молнией... воздух очистился.

Полчаса спустя нас бы никто не узнал: мы болтали и шалили, как дети. Маша резвилась пуще всех, — Чертопханов так и пожирал ее глазами. Лицо у ней побледнело, ноздри расширились, взор запылал и потемнел в одно и то же время. Дикарка разыгралась. Недопюскин ковылял за ней на своих толстых и коротких ножках, как селезень за уткой. Даже Вензор выполз из-под прилавка в передней, постоял на пороге, поглядел на нас и вдруг принялся прыгать и лаять. Маша выпорхнула в другую комнату, принесла гитару, сбросила шаль с плеч долой, проворно села, подняла голову и запела цыганскую песню. Ее голос звенел и дрожал, как надтреснутый стеклянный колокольчик, вспыхивал и замирал... Любо и жутко становилось на сердце. «Ай жги, говори!..» Чертопханов пустился в пляс. Недопюскин затопал и засеменил ногами. Машу всю поводило, как бересту на огне; тонкие пальцы резво бегали по гитаре, смуглое горло медленно приподнималось под двойным янтарным ожерельем. То вдруг она умолкала, опускалась в изнеможенье, словно неохотно щипала струны, и Чертопханов останав-

ливался, только плечиком подергивал да на месте переминался, а Недопюскин покачивал головой, как фарфоровый китаец; то снова заливалась она как безумная, выпрямливала стан и выставляла грудь, и Чертопханов опять приседал до земли, подскакивал под самый потолок, вертелся юлой, вскрикивал: «Жив*а*!»...

— Живо, живо, живо, живо! — скороговоркой подхватывал Недопюскин.

Поздно вечером уехал я из Бессонова...

КОНЕЦ ЧЕРТОПХАНОВА

I

Года два спустя после моего посещения у Пантелея Еремеича начались его бедствия — именно бедствия. Неудовольствия, неудачи и даже несчастия случались с ним и до того времени, но он не обращал на них внимания и «царствовал» по-прежнему. Первое бедствие, поразившее его, было для него самое чувствительное: Маша рассталась с ним.

Что заставило ее покинуть его кров, с которым она, казалось, так хорошо свыклась, — сказать трудно. Чертопханов до конца дней своих держался того убеждения, что виною Машиной измены был некий молодой сосед, отставной уланский ротмистр, по прозвищу Яфф, который, по словам Пантелея Еремеича, только тем и брал, что беспрерывно крутил усы, чрезвычайно сильно помадился и значительно хмыкал; но, полагать надо, тут скорее воздействовала бродячая цыганская кровь, которая текла в жилах Маши. Как бы то ни было, только в один прекрасный летний вечер Маша, завязав кое-какие тряпки в небольшой узелок, отправилась вон из чертопхановского дома.

Она перед тем просидела дня три в уголку, скорчившись и прижавшись к стенке, как раненая лисица, — и хоть бы слово кому промолвила — все только глазами поводила, да задумывалась, да подрыгивала бровями, да слегка зубы скалила, да руками перебирала, словно куталась. Этакой «стих» и прежде на нее находил, но никогда долго не продолжался; Чертопханов это знал, — а потому и сам не беспокоился и ее не беспокоил. Но когда, вернувшись с псарного двора, где, по словам его доезжачего, последние две гончие «окочурились», он встретил служанку, которая трепетным голосом доложила ему, что Мария, мол, Акинфиевна велели им кланяться, велели сказать, что желают им всего хорошего, а уж больше к ним не вернутся, — Чертопханов, покружившись раза два на месте и издав хриплое рычание, тотчас бросился вслед за беглянкой — да кстати захватил с собой пистолет.

Он нагнал ее в двух верстах от своего дома, возле березовой рощицы, на большой дороге в уездный город. Солнце стояло низко над небосклоном — и все кругом внезапно побагровело: деревья, травы и земля.

— К Яффу! к Яффу! — простонал Чертопханов, как только завидел Машу, — к Яффу! — повторил он, подбегая к ней и чуть не спотыкаясь на каждом шагу.

Маша остановилась и обернулась к нему лицом. Она стояла спиною к свету — и казалась вся черная, словно из темного дерева вырезанная. Одни белки глаз выделялись серебряными миндалинами, а сами глаза — зрачки — еще более потемнели.

Она бросила свой узелок в сторону и скрестила руки.

— К Яффу отправилась, негодница! — повторил Чертопханов и хотел было схватить ее за плечо, но, встреченный ее взглядом, опешил и замялся на месте.

— Не к господину Яффу я пошла, Пантелей Еремеич, — ответила Маша ровно и тихо, — а только с вами я уже больше жить не могу.

— Как не можешь жить? Это отчего? Я разве чем тебя обидел?

Маша покачала головою.

— Не обидели вы меня ничем, Пантелей Еремеич, а только стосковалась я у вас... За прошлое спасибо, а остаться не могу — нет!

Чертопханов изумился; он даже руками себя по ляжкам хлопнул и подпрыгнул.

— Как же это так? Жила, жила, кроме удовольствия и спокойствия ничего не видала — и вдруг: стосковалась! Сём-мол, брошу я его! Взяла, платок на голову накинула — да и пошла. Всякое уважение получала не хуже барыни...

— Этого мне хоть бы и не надо, — перебила Маша.

— Как не надо? Из цыганки-проходимицы в барыни попала — да не надо? Как не надо, хамово ты отродье? Разве этому можно поверить? Тут измена кроется, измена!

Он опять зашипел.

— Никакой измены у меня в мыслях нету и не было, — проговорила Маша своим певучим и четким голосом, — а я уж вам сказывала: тоска меня взяла.

— Маша! — воскликнул Чертопханов и ударил себя в грудь кулаком, — ну, перестань, полно, помучила... ну, довольно! Ей-богу же! подумай только, что Тиша скажет; ты бы хоть его пожалела!

— Тихону Ивановичу поклонитесь от меня и скажите ему...

Чертопханов взмахнул руками.

— Да нет, врешь же — не уйдешь! Не дождется тебя твой Яфф!

— Господин Яфф, — начала было Маша...

— Какой он *гас-па-дин* Яфф, — передразнил ее Чертопханов. — Он самый, как есть, выжига, пройдоха — и рожа у него, как у обезьяны!

Целых полчаса бился Чертопханов с Машей. Он то подходил к ней близко, то отскакивал, то замахивался на нее, то кланялся ей в пояс, плакал, бранился...

— Не могу, — твердила Маша, — грустно мне таково... Тоска замучит. — Понемногу ее лицо приняло такое равнодушное, почти

сонливое выражение, что Чертопханов спросил ее, уж не опоили ли ее дурманом?

— Тоска, — проговорила она в десятый раз.

— А ну как я тебя убью? — крикнул он вдруг и выхватил пистолет из кармана.

Маша улыбнулась; ее лицо оживилось.

— Что ж? убейте, Пантелей Еремеич: в вашей воле; а вернуться я не вернусь.

— Не вернешься? — Чертопханов взвел курок.

— Не вернусь, голубчик. Ни в жизнь не вернусь. Слово мое крепко.

Чертопханов внезапно сунул ей пистолет в руку и присел на землю.

— Ну, так убей *ты* меня! Без тебя я жить не желаю. Опостылел я тебе — и все мне стало постыло.

Маша нагнулась, подняла свой узелок, положила пистолет на траву, дулом прочь от Чертопханова, и пододвинулась к нему.

— Эх, голубчик, чего ты убиваешься? Али наших сестер цыганок не ведаешь? Нрав наш таков, обычай. Коли завелась тоска-разлучница, отзывает душеньку во чужу-дальню сторонушку — где уж тут оставаться? Ты Машу свою помни — другой такой подруги тебе не найти,— и я тебя не забуду, сокола моего; а жизнь наша с тобой кончена!

— Я тебя любил, Маша, — пробормотал Чертопханов в пальцы, которыми он охватил лицо...

— И я вас любила, дружочек Пантелей Еремеич!

— Я тебя любил, я люблю тебя без ума, без памяти — и как подумаю я теперь, что ты этак, ни с того ни с сего, здорово живешь, меня покидаешь да по свету скитаться станешь — ну, и представляется мне, что не будь я голяк горемычный, не бросила ты бы меня!

На эти слова Маша только усмехнулась.

— А еще бессеребреницей меня звал! — промолвила она и с размаху ударила Чертопханова по плечу.

Он вскочил на ноги.

— Ну, хоть денег у меня возьми — а то как же так без гроша? Но лучше всего: убей ты меня! Сказываю я тебе толком: убей ты меня зараз!

Маша опять головою покачала.

— Убить тебя? А в Сибирь-то, голубчик, за что ссылают?

Чертопханов дрогнул.

— Так ты только из-за этого, из-за страха каторги...

Он опять повалился на траву.

Маша молча постояла над ним.

— Жаль мне тебя, Пантелей Еремеич, — сказала она со вздохом, — человек ты хороший... а делать нечего: прощай!

Она повернулась прочь и шагнула раза два. Ночь уже наступила, и отовсюду наплывали тусклые тени. Чертопханов проворно поднялся и схватил Машу сзади за оба локтя.

— Так ты уходишь, змея? К Яффу!

— Прощай! — выразительно и резко повторила Маша, вырвалась и пошла.

Чертопханов посмотрел ей вслед, подбежал к месту, где лежал пистолет, схватил его, прицелился, выстрелил... Но прежде чем пожать пружинку курка, он дернул рукою кверху: пуля прожужжала над головою Маши. Она на ходу посмотрела на него через плечо — и отправилась дальше, вразвалочку, словно дразня его.

Он закрыл лицо — и бросился бежать.

Но он не отбежал еще пятидесяти шагов, как вдруг остановился, словно вкопанный. Знакомый, слишком знакомый голос долетел до него. Маша пела. «Век юный, прелестный», — пела она; каждый звук так и расстилался в вечернем воздухе — жалобно и знойно. Чертопханов приник ухом. Голос уходил да уходил; то замирал, то опять набегал чуть слышной, но все еще жгучей струйкой...

«Это мне она в пику, — подумал Чертопханов; но тут же простонал: — Ох, нет! это она со мною прощается навеки», — и залился слезами.

На следующий день он явился в квартиру г-на Яффа, который, как истый светский человек, не жалуя деревенского одиночества, поселился в уездном городе, «поближе к барышням», как он выражался. Чертопханов не застал Яффа: он, по словам камердинера, накануне уехал в Москву.

— Так и есть! — яростно воскликнул Чертопханов, — у них стачка была; она с ним бежала... но постой!

Он ворвался в кабинет молодого ротмистра, несмотря на сопротивление камердинера. В кабинете над диваном висел портрет хозяина в уланском мундире, писанный масляными красками. «А, вот где ты, обезьяна бесхвостая!» — прогремел Чертопханов, вскочил на диван — и, ударив кулаком по натянутому холсту, пробил в нем большую дыру.

— Скажи твоему бездельнику барину, — обратился он к камердинеру, — что, за неименьем его собственной гнусной рожи, дворянин Чертопханов изуродовал его писанную; и коли он желает от меня удовлетворенья, он знает, где найти дворянина Чертопханова! А то я сам его найду! На дне моря сыщу подлую обезьяну!

Сказав эти слова, Чертопханов соскочил с дивана и торжественно удалился.

Но ротмистр Яфф никакого удовлетворения от него не потребовал — он даже не встретился нигде с ним, — и Чертопханов не думал отыскивать своего врага, и никакой истории у них не вышло. Сама Маша скоро после того пропала без вести. Чертопханов запил было; однако «очувствовался». Но тут постигло его второе бедствие.

II

А именно: закадычный его приятель Тихон Иванович Недопюскин скончался. Года за два до кончины здоровье стало изменять ему: он начал страдать одышкой, беспрестанно засыпал и, проснувшись, не скоро мог прийти в себя; уездный врач уверял, что это с ним происходили «ударчики». В течение трех дней, предшествовавших удалению Маши, этих трех дней, когда она «затосковала», Недопюскин пролежал у себя в Бесселендеевке: он сильно простудился. Тем неожиданнее поразил его поступок Маши: он поразил его едва ли не глубже, чем самого Чертопханова. По кротости и робости своего нрава он, кроме самого нежного сожаления о своем приятеле да болезненного недоумения, ничего не выказал... но все в нем лопнуло и опустилось. «Вынула она из меня душу», — шептал он самому себе, сидя на своем любимом клеенчатом диванчике и вертя пальцем около пальца. Даже когда Чертопханов оправился, он, Недопюскин, не оправился — и продолжал чувствовать, что «пусто у него внутри». «Вот тут», — говаривал он, показывая на середину груди, повыше желудка. Таким образом протянул он до зимы. От первых морозов его одышке полегчило, но зато посетил его уже не ударчик, а удар настоящий. Он не тотчас лишился памяти; он мог еще признать Чертопханова и даже на отчаянное восклицание своего друга: «Что, мол, как это ты, Тиша, без моего разрешения оставляешь меня, не хуже Маши?» — ответил коснеющим языком: «А я П...а... сей Е...е...еич, се...да ад вас су...ша...ся». Это, однако, не помешало ему умереть в тот же день, не дождавшись уездного врача, которому при виде его едва остывшего тела осталось только с грустным сознаньем бренности всего земного потребовать «водочки с балычком». Имение свое Тихон Иванович завещал, как и следовало ожидать, своему почтеннейшему благодетелю и великодушному покровителю, «Пантелею Еремеичу Чертопханову»; но почтеннейшему благодетелю оно большой пользы не принесло, ибо вскорости было продано с публичного торга — частью для того, чтобы покрыть издержки надгробного монумента, статуи, которую Чертопханов (а в нем, видно, отозвалась отцовская жилка!) вздумал воздвигнуть над прахом своего приятеля. Статую эту, долженствовавшую представить молящегося ангела, он выписал из Москвы; но отрекомендованный ему комиссионер, сообразив, что в провинции знатоки скульптуры встречаются редко, вместо ангела прислал ему богиню Флору, много лет украшавшую один из заброшенных подмосковных садов екатерининского времени, — благо эта статуя, весьма, впрочем, изящная, во вкусе рококо́, с пухлыми ручками, взбитыми пуклями, гирляндой роз на обнаженной груди и изогнутым станом, досталась ему, комиссионеру, даром. Так и до сих пор стоит мифологическая богиня, грациозно приподняв одну ножку, над могилой Тихона Ивановича и с истинно помпадурской ужимкой посматривает на разгуливающих вокруг нее телят и овец, этих неизменных посетителей наших сельских кладбищ.

III

Лишившись своего верного друга, Чертопханов опять запил, и на этот раз уже гораздо посерьезнее. Дела его вовсе под гору пошли. Охотиться стало не на что, последние денежки перевелись, последние людишки поразбежались. Одиночество для Пантелея Еремеича наступило совершенное: не с кем было слово перемолвить, не то что душу отвести. Одна лишь гордость в нем не умалилась. Напротив: чем хуже становились его обстоятельства, тем надменнее, и высокомернее, и неприступнее становился он сам. Он совсем одичал под конец. Одна утеха, одна радость осталась у него: удивительный верховой конь, серой масти, донской породы, прозванный им Малек-Аделем, действительно замечательное животное.

Достался ему этот конь следующим образом.

Проезжая однажды верхом по соседней деревне, Чертопханов услыхал мужичий гам и крик толпы около кабака. Посреди этой толпы, на одном и тот же месте, беспрестанно поднимались и опускались дюжие руки.

— Что там такое происходит? — спросил он свойственным ему начальственным тоном у старой бабы, стоявшей у порога своей избы.

Опершись о притолоку и как бы дремля, посматривала баба в направлении кабака. Белоголовый мальчишка в ситцевой рубашонке, с кипарисным крестиком на голой грудке, сидел, растопыря ножки и сжав кулачонки, между ее лаптями, цыпленок тут же долбил задеревенелую корку ржаного хлеба.

— А господь ведает, батюшка, — отвечала старуха, — и, наклонившись вперед, положила свою сморщенную темную руку на голову мальчишки, — слышно, наши ребята жида бьют.

— Как жида? какого жида?

— А господь его ведает, батюшка. Проявился у нас жид какой-то; и отколе его принесло — кто его знает? Вася, иди, сударик, к маме; кш, кш, поскудный!

Баба спугнула цыпленка, а Вася ухватился за ее поневу.

— Так вот его и бьют, сударь ты мой.

— Как бьют? за что?

— А не знаю, батюшка. Стало, за дело. Да и как не бить? Ведь он, батюшка, Христа распял!

Чертопханов гикнул, вытянув лошадь нагайкой по шее, помчался прямо на толпу — и, ворвавшись в нее, начал той же самой нагайкой без разбору лупить мужиков направо и налево, приговаривая прерывистым голосом:

— Само...управство! Само...у...правство! Закон должен наказывать, а не част...ны...е ли...ца! Закон! Закон!! За...ко...он!!!

Двух минут не прошло, как уже вся толпа отхлынула в разные стороны — и на земле, перед дверью кабака, оказалось небольшое, худощавое, черномазое существо в нанковом кафтане, растрепанное и истерзанное... Бледное лицо, закатившиеся глаза, раскрытый рот... Что это? замирание ужаса или уже самая смерть?

— Это вы зачем жида убили? — громогласно воскликнул Чертопханов, грозно потрясая нагайкой.

Толпа слабо загудела в ответ. Иной мужик держался за плечо, другой за бок, третий за нос.

— Здоров драться-то! — послышалось в задних рядах.

— С нагайкой-то этак-то всякий! — промолвил другой голос.

— Жида зачем убили? — спрашиваю я вас, азиаты оглашенные! — повторил Чертопханов.

Но тут лежавшее на земле существо проворно вскочило на ноги и, забежав за Чертопханова, судорожно ухватилось за край его седла.

Дружный хохот грянул среди толпы.

— Живуч! — послышалось опять в задних рядах. — Та же кошка!

— Васе высокоблагоуродие, заступитесь, спасите! — лепетал между тем несчастный жид, всею грудью прижимаясь к ноге Чертопханова, — а то они убьют, убьют меня, васе высокоблагоуродие!

— За что они тебя? — спросил Чертопханов.

— Да ей зе богу не могу сказать! Тут вот у них скотинка помирать стала... так они и подозревают... а я зе...

— Ну, это мы разберем после! — перебил Чертопханов, — а теперь ты держись за седло да ступай за мною. А вы! — прибавил он, обернувшись к толпе, — вы знаете меня? Я помещик Пантелей Чертопханов, живу в сельце Бессонове, — ну, и, значит, жалуйтесь на меня, когда заблагорассудится, да и на жида кстати!

— Зачем жаловаться? — проговорил с низким поклоном седобородый, степенный мужик, ни дать ни взять древний патриарх. (Жида он, впрочем, тузил не хуже других.) Мы, батюшка Пантелей Еремеич, твою милость знаем хорошо; много твоей милостью довольны, что поучил нас!

— Зачем жаловаться! — подхватили другие. — А с нехриста того мы свое возьмем! Он от нас не уйдет! Мы его, значит, как зайца в поле...

Чертопханов повел усами, фыркнул — и поехал шагом к себе в деревню, сопровождаемый жидом, которого он освободил таким же образом от его притеснителей, как некогда освободил Тихона Недопюскина.

IV

Несколько дней спустя единственный уцелевший у Чертопханова казачок доложил ему, что к нему прибыл какой-то верховой и желает поговорить с ним. Чертопханов вышел на крыльцо и увидал своего знакомого жидка, верхом на прекрасном донском коне, неподвижно и гордо стоявшем посреди двора. На жидке не было шапки: он держал ее под мышкой, ноги он вдел не в самые стремена, а в ремни стремян; разорванные полы его кафтана висели с обеих сторон седла. Увидав Чертопханова, он зачмокал губами, и локтями задергал, и ногами заболтал. Но Чертопханов не только

не отвечал на его привет, а даже рассердился; так весь и вспыхнул вдруг: паршивый жид смеет сидеть на такой прекрасной лошади... какое неприличие!

— Эй ты, эфиопская рожа! — закричал он, — сейчас слезай, если не хочешь, чтобы тебя стащили в грязь!

Жид немедленно повиновался, свалился мешком с седла и, придерживая одной рукой повод, улыбаясь и кланяясь, подвинулся к Чертопханову.

— Чего тебе? — с достоинством спросил Пантелей Еремеич.

— Васе благородие, извольте посмотреть, каков конек? — промолвил жид, не переставая кланяться.

— Н... да... лошадь добрая. Ты откуда ее достал? Украл, должно быть?

— Как зе мозно, васе благородие! Я цестный зид, я не украл, а для васего благородия достал, точно! И уз старался я, старался! Зато и конь! Такого коня по всему Дону другого найти никак невозмозно. Посмотрите, васе благородие, что это за конь такой! Вот позалуйте, сюда! Тпру... тпру... повернись, стань зе боком! А мы седло снимем. Каков! Васе благородие?

— Лошадь добрая, — повторил Чертопханов с притворным равнодушием, а у самого сердце так и заколотилось в груди. Очень уж он был страстный охотник до «конского мяса» и знал в нем толк.

— Да вы, васе благородие, его погладьте! По сейке его погладьте, хи-хи-хи! Вот так.

Чертопханов, словно нехотя, положил руку на шею коня, хлопнул по ней раза два, потом провел пальцами от холки по спине и, дойдя до известного местечка над почками, слегка, по-охотницки, подавил это местечко. Конь немедленно выгнул хребет и, оглянувшись искоса на Чертопханова своим надменным черным глазом, фукнул и переступил передними ногами.

Жид засмеялся и в ладоши слегка захлопал.

— Хозяина признает, васе благородие, хозяина!

— Ну, не ври, — с досадой перебил Чертопханов. — Купить мне у тебя этого коня... не на что, а подарков я еще не то что от жида, а от самого господа бога не принимал!

— И как зе я смею вам что-нибудь дарить, помилосердуйте! — воскликнул жид. — Вы купите, васе благородие... а денезек — я подозду.

Чертопханов задумался.

— Ты что возьмешь? — промолвил он наконец сквозь зубы.

Жид пожал плечами.

— А что сам заплатил. Двести рублей.

Лошадь стоила вдвое — а пожалуй, что и втрое против этой суммы.

Чертопханов отвернулся в сторону и зевнул лихорадочно.

— А когда... деньги? — спросил он, насильственно нахмурив брови и не глядя на жида.

— А когда будет васему благородию угодно.

Чертопханов голову назад закинул, но глаз не поднял.

— Это не ответ. Ты говори толком, иродово племя! Одолжаться я у тебя стану, что ли?

— Ну, сказем так, — поспешно проговорил жид, — через шесть месяцев... согласны?

Чертопханов ничего не отвечал.

Жид старался заглянуть ему в глаза.

— Согласны? Приказете на конюшню поставить?

— Седло мне не нужно, — произнес отрывисто Чертопханов.— Возьми седло — слышишь?

— Как зе, как зе, возьму, возьму, — залепетал обрадованный жид и взвалил седло себе на плечо.

— А деньги, — продолжал Чертопханов... — через шесть месяцев. И не двести, а двести пятьдесят. Молчать! Двести пятьдесят, говорю тебе! За мною.

Чертопханов все не мог решиться поднять глаза. Никогда так сильно в нем не страдала гордость. «Явно, что подарок, — думалось ему, — из благодарности, черт, подносит!» И обнял бы он этого жида, и побил бы его...

— Васе благородие, — начал жид, приободрившись и осклабясь, — надо бы, по русскому обычаю, из полы в полу...

— Вот еще что вздумал? Еврей... а русские обычаи! Эй! кто там? Возьми лошадь, сведи на конюшню. Да овса ему засыпь. Я сейчас сам приду, посмотрю. И знай: имя ему — Малек-Адель!

Чертопханов взобрался было на крыльцо, но круто повернул на каблуках и, подбежав к жиду, крепко стиснул ему руку. Тот наклонился и губы уже протянул, но Чертопханов отскочил назад и, промолвив вполголоса: «Никому не сказывай!» — исчез за дверью.

V

С самого того дня главным делом, главной заботой, радостью в жизни Чертопханова стал Малек-Адель. Он полюбил его так, как не любил самой Маши, привязался к нему больше, чем к Недопюскину. Да и конь же был! Огонь, как есть огонь, просто порох — а степенство, как у боярина! Неутомимый, выносливый, куда хошь его поверни, безответный; а прокормить его ничего не стоит: коли нет ничего другого, землю под собой глодает. Шагом идет — как в руках несет; рысью — что в зыбке качает, а поскачет, так и ветру за ним не угнаться! Никогда-то он не запыхается: потому — отдушин много. Ноги — стальные; чтобы он когда спотыкнулся — и в помине этого не бывало! Перескочить ров ли, тын ли — это ему нипочем; а уж умница какая! На голос так и бежит, задравши голову; прикажешь ему стоять и сам уйдешь — он не ворохнется; только когда станешь возвращаться, чуть-чуть заржет: «Здесь, мол, я». И ничего-то он не боится: в самую темять, в метель дорогу сыщет; а чужому ни за что не дастся: зубами загрызет! И собака не суйся к нему: сейчас передней ножкой ее по лбу — тюк! только она и жила. С амбицией конь: плеткой разве что для красы над ним помахивай — а сохрани бог его тронуть! Да что тут долго толковать: сокровище, а не лошадь!

Примется Чертопханов расписывать своего Малек-Аделя — откуда речи берутся! А уж как он его холил и лелеял! Шерсть на нем отливала серебром — да не старым, а новым, что с темным глянцем; повести по ней ладонью — тот же бархат! Седло, чепрачок, уздечка — вся как есть сбруя до того была ладно пригнана, в порядке, вычищена — бери карандаш и рисуй! Чертопханов — чего больше? — сам, собственноручно, и челку заплетал своему любимцу, и гриву и хвост мыл пивом, и даже копыта не раз мазью смазывал...

Бывало, сядет он на Малек-Аделя и поедет — не по соседям, — он с ними по-прежнему не знался, — а через их поля, мимо усадеб... Полюбуйтесь, мол, издали, дураки! А то прослышит, что где-нибудь охота проявилась — в отъезжее поле богатый барин собрался, — он сейчас туда — и гарцует в отдалении, на горизонте, удивляя всех зрителей красотой и быстротою своего коня и близко никого к себе не подпуская. Раз какой-то охотник даже погнался за ним со всей свитой; видит, что уходит от него Чертопханов, и начал он ему кричать изо всей мочи, на всем скаку: «Эй, ты! Слушай! Бери что хочешь за свою лошадь! Тысячи не пожалею! Жену отдам, детей! Бери последнее!»

Чертопханов вдруг осадил Малек-Аделя. Охотник подлетел к нему.

— Батюшка! — кричит, — говори: чего желаешь? Отец родной!

— Коли ты царь, — промолвил с расстановкой Чертопханов (а он отроду и не слыхивал о Шекспире), — подай мне все твое царство за моего коня — так и того не возьму! — Сказал, захохотал, поднял Малек-Аделя на дыбы, повернул им на воздухе, на одних задних ногах, словно волчком или юлою — и марш-марш! Так и засверкал по жнивью. А охотник (князь, говорят, был богатейший) шапку óземь — да как грянется лицом в шапку! С полчаса так пролежал.

И как было Чертопханову не дорожить своим конем? Не по его ли милости оказалось у него снова превосходство несомненное, последнее превосходство над всеми его соседями?

VI

Между тем время шло, срок платежа приближался, а у Чертопханова не только двухсот пятидесяти рублей, не было и пятидесяти. Что было делать, чем помочь? «Что ж? — решил он наконец, — коли не смилостивится жид, не захочет еще подождать — отдам я ему дом и землю, а сам на коня, куда глаза глядят! С голоду умру — а Малек-Аделя не отдам!» Волновался он очень и даже задумывался; но тут судьба — в первый и в последний раз — сжалилась над ним, улыбнулась ему: какая-то дальняя тетка, самое имя которой было неизвестно Чертопханову, оставила ему по духовному завещанию сумму, огромную в его глазах, целых две тысячи рублей! И получил он эти деньги в самую, как говорится, пору: за день до прибытия жида. Чертопханов чуть не обезумел

от радости — но и не подумал о водке: с самого того дня, как Малек-Адель поступил к нему, он капли в рот не брал. Он побежал в конюшню и облобызал своего друга с обеих сторон морды над ноздрями, там, где кожа так нежна бывает у лошадей. «Теперь уж не расстанемся!» — восклицал он, хлопая Малек-Аделя по шее, под расчесанной гривой. Вернувшись домой, он отсчитал и запечатал в пакет двести пятьдесят рублей. Потом помечтал, лежа на спине и покуривая трубочку, о том, как он распорядится с остальными деньгами, — а именно, каких он раздобудет собак: настоящих костромских и непременно красно-пегих! Побеседовал даже с Перфишкой, которому обещал новый казакин с желтыми по всем швам басонами, и лег спать в блаженнейшем настроении духа.

Ему привиделся нехороший сон. Будто он выехал на охоту, только не на Малек-Аделе, а на каком-то странном животном вроде верблюда; навстречу ему бежит белая-белая, как снег, лиса... Он хочет взмахнуть арапником, хочет натравить на нее собак — а вместо арапника у него в руках мочалка, и лиса бегает перед ним и дразнит его языком. Он соскакивает с своего верблюда, спотыкается, падает... и падает прямо в руки жандарму, который зовет его к генерал-губернатору и в котором он узнает Яффа...

Чертопханов проснулся. В комнате было темно; вторые петухи только что пропели...

Где-то далеко-далеко проржала лошадь.

Чертопханов приподнял голову... Еще раз послышалось тонкое-тонкое ржание.

«Это Малек-Адель ржет! — подумалось ему...— Это его ржание! Но отчего же так далеко? Батюшки мои... Не может быть...»

Чертопханов вдруг весь похолодел, мгновенно спрыгнул с постели, ощупью отыскал сапоги, платье, оделся и, захватив из-под изголовья ключ от конюшни, выскочил на двор.

VII

Конюшня находилась на самом конце двора; одной стеной она выходила в поле. Чертопханов не сразу вложил ключ в замок — руки у него дрожали — и не тотчас повернул ключ... Он постоял неподвижно, притаив дыхание: хоть бы что шевельнулось за дверью! «Малешка! Ма́лец!» — крикнул он вполголоса: тишина мертвая! Чертопханов невольно дернул ключом: дверь скрыпнула и отворилась... Стало быть, не была заперта. Он шагнул через порог и снова кликнул своего коня, на этот раз полным именем: «Малек-Адель!» Но не отозвался верный товарищ, только мышь прошуршала по соломе. Тогда Чертопханов бросился в то из трех стойл конюшни, в котором помещался Малек-Адель. Он попал прямо в это стойло, хотя кругом такая стояла тьма, что хоть глаз выколи... Пусто! Голова закружилась у Чертопханова; словно колокол загудел у него под черепом. Он хотел сказать что-то, но только зашипел и, шаря руками вверху, внизу, по бокам, задыхаясь, с подгибавшимися коленками, перебрался из одного стойла в другое... в третье, почти доверху набитое сеном, толкнулся в одну

стену, в другую, упал, перекатился через голову, приподнялся и вдруг опрометью выбежал через полураскрытую дверь на двор...

— Украли! Перфишка! Перфишка! Украли! — заревел он благим матом.

Казачок Перфишка кубарем, в одной рубашке, вылетел из чулана, в котором спал...

Словно пьяные столкнулись оба — и барин, и единственный его слуга — посреди двора; словно угорелые завертелись они друг перед другом. Ни барин не мог растолковать, в чем было дело, ни слуга не мог понять, чего требовалось от него. «Беда! беда!» — лепетал Чертопханов. «Беда! беда!» — повторял за ним казачок. «Фонарь! Подай, зажги фонарь! Огня! Огня!» — вырвалось наконец из замиравшей груди Чертопханова. Перфишка бросился в дом.

Но зажечь фонарь, добыть огня было нелегко: серные спички в то время считались редкостью на Руси; в кухне давно погасли последние уголья — огниво и кремень не скоро нашлись и плохо действовали. С зубовным скрежетом вырвал их Чертопханов из рук оторопелого Перфишки, стал высекать огонь сам: искры сыпались обильно, еще обильнее сыпались проклятия и даже стоны, — но трут либо не загорался, либо погасал, несмотря на дружные усилия четырех напряженных щек и губ! Наконец, минут через пять, не раньше, затеплился сальный огарок на дне разбитого фонаря, и Чертопханов, в сопровождении Перфишки, ринулся в конюшню, поднял фонарь над головою, оглянулся...

Все пусто!

Он выскочил на двор, обежал его во всех направлениях — нет коня нигде! Плетень, окружавший усадьбу Пантелея Еремеича, давно пришел в ветхость и во многих местах накренился и приникал к земле... Рядом с конюшней он совсем повалился, на целый аршин в ширину. Перфишка указал на это место Чертопханову.

— Барин! посмотрите-ка сюда: этого сегодня не было. Вон и колья торчат из земли: знать, их кто вывернул.

Чертопханов подскочил с фонарем, повел им по земле...

— Копыта, копыта, следы подков, следы, свежие следы! — забормотал он скороговоркой. — Тут его перевели, тут, тут!

Он мгновенно перепрыгнул через плетень и с криком: «Малек-Адель! Малек-Адель!» — побежал прямо в поле.

Перфишка остался в недоуменье у плетня. Светлый кружок от фонаря скоро исчез в его глазах, поглощенный густым мраком беззвездной и безлунной ночи.

Все слабей и слабей раздавались отчаянные возгласы Чертопханова...

VIII

Заря уже занялась, когда он возвратился домой. Образа человеческого не было на нем, грязь покрывала все платье, лицо приняло дикий и страшный вид, угрюмо и тупо глядели глаза.

Сиплым шепотом прогнал он от себя Перфишку и заперся в своей комнате. Он едва держался на ногах от усталости — но он не лег в постель, а присел на стул у двери и схватился за голову.

— Украли!.. украли!

Но каким образом умудрился вор украсть ночью, из запертой конюшни, Малек-Аделя? Малек-Аделя, который и днем никого чужого к себе не подпускал, — украсть его без шума, без стука? И как растолковать, что ни одна дворняжка не пролаяла? Правда, их было всего две, два молодых щенка, и те от холоду и голоду в землю зарывались — но все-таки!

«И что я стану теперь делать без Малек-Аделя? — думалось Чертопханову.— Последней радости я теперь лишился — настала пора умирать. Другую лошадь купить, благо деньги завелись? Да где такую другую лошадь найти?»

— Пантелей Еремеич! Пантелей Еремеич! — послышался робкий возглас за дверью.

Чертопханов вскочил на ноги.

— Кто это? — закричал он не своим голосом.

— Это я, казачок ваш, Перфишка.

— Чего тебе? Аль нашелся, домой прибежал?

— Никак нет-с, Пантелей Еремеич; а тот жидовин, что его продал...

— Ну?

— Он приехал.

— Го-го-го-го-го! — захолкал Чертопханов — и разом распахнул дверь. — Тащи его сюда, тащи! тащи!

При виде внезапно появившейся всклокоченной, одичалой фигуры своего «благодетеля» жид, стоявший за спиною Перфишки, хотел было дать стречка; но Чертопханов в два прыжка настиг его и, как тигр, вцепился ему в горло.

— А! за деньгами пришел! за деньгами! — захрипел он, словно не *он* душил, а *его* душили. — Ночью украл, а днем за деньгами пришел? А? А?

— Помилуйте, ва...се благо...родие, — застонал было жид.

— Сказывай, где моя лошадь? Куда ты ее дел? Кому сбыл? Сказывай, сказывай, сказывай же!

Жид уже и стонать не мог; на посиневшем его лице исчезло даже выражение испуга. Руки опустились и повисли; все его тело, яростно встряхиваемое Чертопхановым, качалось взад и вперед, как тростник.

— Деньги я тебе заплачу, я тебе заплачу, сполна, до последней копейки, — кричал Чертопханов, — а только я задушу тебя, как последнего цыпленка, если ты сейчас не скажешь мне...

— Да вы уже задушили его, барин, — смиренно заметил казачок Перфишка.

Тут только опомнился Чертопханов.

Он выпустил шею жида; тот так и грохнулся на пол. Чертопханов подхватил его, усадил на скамью, влил ему в горло стакан водки — привел его в чувство. И, приведши его в чувство, вступил с ним в разговор.

Оказалось, что жид о краже Малек-Аделя не имел ни малейшего понятия. Да и с какой стати было ему красть лошадь, которую он же сам достал для «почтеннейшего Пантелея Еремеича»?

Тогда Чертопханов повел его в конюшню.

Вдвоем они осмотрели стойла, ясли, замок на двери, перерыли сено, солому, перешли потом на двор; Чертопханов указал жиду следы копыт у плетня — и вдруг ударил себя по ляжкам.

— Стой! — воскликнул он. — Ты где лошадь купил?

— В Малоархангельском уезде, на Верхосенской ярмарке, — отвечал жид.

— У кого?

— У казака.

— Стой! Казак этот из молодых был или старый?

— Средних лет, степенный человек.

— А из себя каков? На вид каков? Небось плут продувной?

— Должно быть, плут, васе благородие.

— И что, как он тебе говорил, плут-то этот, — лошадью он владел давно?

— Помнится, говорил, что давно.

— Ну, так и некому было украсть, как именно ему! Ты посуди, слушай, стань сюда... как тебя зовут?

Жид встрепенулся и вскинул своими черными глазенками на Чертопханова.

— Как *меня* зовут?

— Ну, да: как твоя кличка?

— Мошель Лейба.

— Ну, посуди, Лейба, друг мой, — ты умный человек: кому, как не старому хозяину, дался бы Малек-Адель в руки! Ведь он и оседлал его, и взнуздал, и попону с него снял — вон она на сене лежит!.. Просто как дома распоряжался! Ведь всякого другого, не хозяина, Малек-Адель под ноги бы смял! Гвалт поднял бы такой, всю деревню бы переполошил! Согласен ты со мною?

— Согласен-то согласен, васе благородие...

— Ну и, значит, надо прежде всего отыскать казака того!

— Да как зе отыскать его, васе благородие? Я его всего только разочек видел — и где зе он теперь — и как его зовут? Ай, вай, вай! — прибавил жид, горестно потрясая пейсиками.

— Лейба! — закричал вдруг Чертопханов, — Лейба, посмотри на меня! Ведь я рассудка лишился, я сам не свой!.. Я руки на себя наложу, если ты мне не поможешь!

— Да как зе я могу...

— Поедем со мною и станем вора того разыскивать!

— Да куда зе мы поедем?

— По ярмаркам, по большим трахтам, по малым трахтам, по конокрадам, по городам, по деревням, по хуторам — всюду, всюду! А насчет денег ты не беспокойся: я, брат, наследство получил! Последнюю копейку просажу — а уж добуду своего друга! И не уйдет от нас казак, наш лиходей! Куда он — туда и мы! Он под землю — и мы под землю! Он к дьяволу — а мы к самому сатане!

— Ну, зацем зе к сатане, — заметил жид, — можно и без него.

— Лейба! — подхватил Чертопханов, — Лейба, ты хотя еврей и вера твоя поганая, а душа у тебя лучше иной христианской! Сжалься ты надо мною! Одному мне ехать незачем, один я этого дела не обломаю. Я горячка — а ты голова, золотая голова! Племя ваше уж такое: без науки все постигло! Ты, может, сомневаешься: откуда, мол, у него деньги? Пойдем ко мне в комнату, я тебе и деньги все покажу. Возьми их, крест с шеи возьми — только отдай мне Малек-Аделя, отдай, отдай!

Чертопханов дрожал, как в лихорадке; пот градом катился с его лица и, мешаясь со слезами, терялся в его усах. Он пожимал руки Лейбе, он умолял, он чуть не целовал его... Он пришел в исступление. Жид попытался было возражать, уверять, что ему никак невозможно отлучиться, что у него дела... Куда! Чертопханов и слышать ничего не хотел. Нечего было делать: согласился бедный Лейба.

На другой день Чертопханов вместе с Лейбой выехал из Бессонова на крестьянской телеге. Жид являл вид несколько смущенный, держался одной рукой за грядку и подпрыгивал всем своим дряблым телом на тряском сиденье; другую руку он прижимал к пазухе, где у него лежала пачка ассигнаций, завернутых в газетную бумагу; Чертопханов сидел как истукан, только глазами поводил кругом и дышал полной грудью; за поясом у него торчал кинжал.

— Ну, злодей-разлучник, берегись теперь! — пробормотал он, выезжая на большую дорогу.

Дом он свой поручил казачку Перфишке и бабе-стряпухе, глухой и старой женщине, которую он призрел у себя из сострадания.

— Я к вам вернусь на Малек-Аделе, — крикнул он им на прощанье, — или уж вовсе не вернусь!

— Ты бы хоть замуж за меня пошла, что ли! — сострил Перфишка, толкнув стряпуху локтем в бок. — Все равно нам барина не дождаться, а то ведь со скуки пропадешь!

IX

Минул год... целый год: никакой вести о Пантелее Еремеиче не доходило. Стряпуха умерла; сам Перфишка собирался уже бросить дом да отправиться в город, куда его сманивал двоюродный брат, живший подмастерьем у парикмахера, — как вдруг распространился слух, что барин возвращается! Приходский дьякон получил от самого Пантелея Еремеича письма, в котором тот извещал его о своем намерении прибыть в Бессоново и просил его предуведомить прислугу — для устроения надлежащей встречи. Слова эти Перфишка понял так, что надо, мол, хоть пыль немножечко постереть — впрочем, большой веры в справедливость известия он не возымел; пришлось ему, однако убедиться, что дья-

кон-то сказал правду, когда, несколько дней спустя, Пантелей Еремеич сам, собственной особой, появился на дворе усадьбы, верхом на Малек-Аделе.

Перфишка бросился к барину — и, придерживая стремя, хотел было помочь ему слезть с коня; но тот соскочил сам, и, кинув вокруг торжествующий взгляд, громко воскликнул: «Я сказал, что отыщу Малек-Аделя, — и отыскал его, назло врагам и самой судьбе!» Перфишка подошел к нему к ручке, но Чертопханов не обратил внимания на усердие своего слуги. Ведя за собою Малек-Аделя в поводу, он направился большими шагами к конюшне. Перфишка попристальнее посмотрел на своего барина — и заробел: «Ох, как он похудел и постарел в течение года — и лицо какое стало строгое и суровое!» А кажется, следовало бы Пантелею Еремеичу радоваться, что, вот, мол, достиг-таки своего; да он и радовался, точно... и все-таки Перфишка заробел, даже жутко ему стало. Чертопханов поставил коня в прежнее его стойло, слегка хлопнул его по крупу и промолвил: «Ну, вот ты и дома опять! Смотри же!..» В тот же день он нанял надежного сторожа из бестягольных бобылей, поместился снова в своих комнатах и зажил по-прежнему...

Не совсем, однако, по-прежнему... Но об этом впереди.

На другой день после своего возвращения Пантелей Еремеич призвал к себе Перфишку и, за неимением другого собеседника, принялся рассказывать ему — не теряя, конечно, чувства собственного достоинства и басом, — каким образом ему удалось отыскать Малек-Аделя. В течение рассказа Чертопханов сидел лицом к окну и курил трубку из длинного чубука; а Перфишка стоял на пороге двери, заложив руки за спину и, почтительно взирая на затылок своего господина, слушал повесть о том, как после многих тщетных попыток и разъездов Пантелей Еремеич наконец попал в Ромны на ярмарку, уже один, без жида Лейбы, который, по слабости характера, не вытерпел и бежал от него; как на пятый день, уже собираясь уехать, он в последний раз пошел по рядам телег и вдруг увидал, между тремя другими лошадьми, привязанного к хребтуку, — увидал Малек-Аделя! Как он тотчас его узнал и как Малек-Адель его узнал, стал ржать, и рваться, и копытом рыть землю.

— И не у казака он был, — продолжал Чертопханов, все не поворачивая головы и тем же басовым голосом, — а у цыгана-барышника; я, разумеется, тотчас вклепался в свою лошадь и пожелал насильно ее возвратить; но бестия цыган заорал как ошпаренный на всю площадь, стал божиться, что купил лошадь у другого цыгана, и свидетелей хотел представить... Я плюнул — и заплатил ему деньги: черт с ним совсем! Мне главное то дорого, что друга я своего отыскал и покой душевный получил. А то вот я в Карачевском уезде, по словам жида Лейбы, вклепался было в казака — за моего вора его принял, всю рожу ему избил; а казак-то оказался поповичем и бесчестия с меня содрал — сто двадцать рублев. Ну, деньги дело наживное, а главное: Малек-Адель опять у меня! Я теперь счастлив — и буду наслаждаться

спокойствием. А для тебя, Порфирий, одна инструкция: как только ты, чего боже оборони, завидишь в окрестностях казака, так сию же секунду, ни слова не говоря, беги и неси мне ружье, а я уж буду знать, как мне поступить!

Так говорил Пантелей Еремеич Перфишке; так выражались его уста; но на сердце у него не было так спокойно, как он уверял.

Увы! в глубине души своей он не совсем был уверен, что приведенный им конь был действительно Малек-Адель!

X

Настало трудное время для Пантелея Еремеича. Именно спокойствием-то он наслаждался меньше всего. Правда, выпадали хорошие дни: возникшее в нем сомнение казалось ему чепухой; он отгонял нелепую мысль, как назойливую муху, и даже смеялся над самим собою; но выпадали также дни дурные: неотступная мысль снова принималась исподтишка точить и скрести его сердце, как подпольная мышь, — и он мучился едко и тайно. В течение памятного дня, когда от отыскал Малек-Аделя, Чертопханов чувствовал одну лишь блаженную радость... но на другое утро, когда он под низким навесом постоялого дворика стал седлать свою находку, близ которой провел всю ночь, что-то в первый раз его кольнуло... Он только головой мотнул — однако семя было заброшено. В течение обратного путешествия домой (оно продолжалось с неделю) сомнения в нем возбуждались редко: они стали сильней и явственней, как только он вернулся в свое Бессоново, как только очутился в том месте, где жил прежний, несомненный Малек-Адель... Дорогой он ехал больше шагом, враскачку, глядел по сторонам, покуривал табак из коротенького чубучка и ни о чем не размышлял; разве возьмет да подумает про себя: «Чертопхановы чего захотят — уж добьются! шалишь!» — и ухмыльнется; ну, а с прибытием домой пошла статья другая. Все это он берег, конечно, про себя; одно уж самолюбие не позволило бы ему выказать свою внутреннюю тревогу. Он бы «перервал пополам» всякого, кто бы хоть отдаленно намекнул на то, что новый Малек-Адель, кажись, не старый; он принимал поздравления с «благополучной находкой» от немногих лиц, с которыми ему приходилось сталкиваться; но он не искал этих поздравлений, он пуще прежнего избегал столкновений с людьми — знак плохой! Он почти постоянно, если можно так выразиться, экзаменовал Малек-Аделя; уезжал на нем куда-нибудь подальше в поле и ставил его на пробу; или уходил украдкой в конюшню, запирал за собою дверь и, ставши перед самой головой коня, заглядывал ему в глаза, спрашивал шепотом: «Ты ли это? Ты ли? Ты ли?..» — а не то молча его рассматривал, да так пристально, по целым часам, то радуясь и бормоча: «Да! он! конечно, он!» — то недоумевая и даже смущаясь.

И не столько смущали Чертопханова физические несход-

ства *этого* Малек-Аделя с *тем*... впрочем, их насчитывалось немного: у *того* хвост и грива словно были пожиже, и уши острей, и бабки короче, и глаза светлей — но это могло только так казаться; а смущали Чертопханова несходства, так сказать, нравственные. Привычки у *того* были другие, вся повадка была не та. Например: *тот* Малек-Адель всякий раз оглядывался и легонько ржал, как только Чертопханов входил в конюшню; а *этот* жевал себе сено как ни в чем не бывало или дремал, понурив голову. Оба не двигались с места, когда хозяин соскакивал с седла; но *тот*, когда его звали, тотчас шел на голос, а *этот* продолжал стоять, как пень. *Тот* скакал так же быстро, но прыгал выше и дальше; *этот* шагом шел вольнее, а рысью трясче и «хлебал» иногда подковами, то есть стучал задней о переднюю: за тем никогда такого сраму не водилось — сохрани бог! *Этот*, думалось Чертопханову, все ушами прядет, глупо так, — а *тот* напротив: заложил одно ухо назад да так и держит — хозяина наблюдает! *Тот*, бывало, как увидит, что около него нечисто, — сейчас задней ногой стук в стенку стойла; а *этому* ничего — хоть по самое брюхо навали ему навозу. *Тот*, если, например, против ветра его поставить, — сейчас всеми легкими вздохнет и встряхнется, а *этот* знай пофыркивает; *того* сырость дождевая беспокоила — *этому* она нипочем... Грубее этот, грубее! И приятности нет как у того, и туг на поводу — что и говорить! Та была лошадь милая — а эта...

Вот что думалось иногда Чертопханову, и горечью отзывались в нем эти думы. Зато в другое время — пустит он своего коня во всю прыть по только что вспаханному полю или заставит его соскочить на самое дно размытого оврага и по самой круче выскочить опять, и замирает в нем сердце от восторга, громкое гикание вырывается из уст, и знает он, знает наверное, что это под ним настоящий, несомненный Малек-Адель, ибо какая другая лошадь в состоянии сделать то, что делает эта?

Однако и тут не обходилось без греха и беды. Продолжительные поиски за Малек-Аделем стоили Чертопханову много денег; о костромских собаках он уже не помышлял и разъезжал по окрестностям в одиночку, по-прежнему. Вот в одно утро Чертопханов верстах в пяти от Бессонова наткнулся на ту самую княжескую охоту, перед которой он так молодецки гарцевал года полтора тому назад. И надо ж было случиться такому обстоятельству: как и в тот день, так и теперь — русак возьми да вскочи перед собаками из-под межи на косогоре! «Ату его, ату!» Вся охота так и понеслась, и Чертопханов понесся тоже, только не вместе с нею, а шагов от нее на двести в сторону, — точно так же, как и тогда. Громадная водомоина криво прорезала косогор и, поднимаясь все выше и выше, постепенно суживаясь, пересекала путь Чертопханову. Там, где ему приходилось перескочить ее — и где он полтора года тому назад действительно перескочил ее, — в ней все еще было шагов восемь ширины да сажени две глубины. В предчувствии торжества, столь чудным образом повторенного торжества, Чертопханов загоготал победоносно, потряс нагайкой — охотники сами скакали, а сами не спускали

глаз с лихого наездника, — конь его летел стрелою — вот уже водомоина перед самым носом — ну, ну, разом, как тогда!..

Но Малек-Адель круто уперся, вильнул налево и поскакал *вдоль* обрыва, как ни дергал ему Чертопханов голову набок, к водомоине.

Струсил, значит, не понадеялся на себя!

Тогда Чертопханов, весь пылая стыдом и гневом, чуть не плача, опустил поводья и погнал коня прямо вперед, в гору, прочь, прочь от тех охотников, чтобы только не слышать, как они издеваются над ним, чтобы только исчезнуть поскорее с их проклятых глаз!

С иссеченными боками, весь облитый мыльной пеной, прискакал домой Малек-Адель, и Чертопханов тотчас заперся у себя в комнате.

«Нет, это не он, это не друг мой! Тот бы шею сломил — а меня бы не выдал!»

XI

Окончательно «доехал», как говорится, Чертопханова следующий случай. Верхом на Малек-Аделе пробирался он однажды по задворкам поповской слободки, окружавшей церковь, в приходе которой состояло сельцо Бессоново. Нахлобучив на глаза папаху, сгорбившись и уронив на луку седла обе руки, он медленно подвигался вперед; на душе у него было нерадостно и смутно. Вдруг его кто-то окликнул.

Он остановил коня, поднял голову и увидал своего корреспондента, дьякона. С бурым треухом на бурых, в косичку заплетенных волосах, облеченный в желтоватый нанковый кафтан, подпоясанный гораздо ниже тальи голубеньким обрывочком, служитель алтаря вышел свое «одóньишко» проведать — и, улицезрев Пантелея Еремеича, почел долгом выразить ему свое почтение — да кстати хоть что-нибудь у него выпросить. Без такого рода задней мысли, как известно, духовные лица со светскими не заговаривают.

Но Чертопханову было не до дьякона; он едва отвечал на его поклон и, промычав что-то сквозь зубы, уже взмахнул нагайкой...

— А какой у вас конь богатейший! — поспешил прибавить дьякон, — вот уж точно можно чести приписать. Истинно: вы муж ума чудного, просто аки лев! — Отец дьякон славился красноречием, чем сильно досаждал отцу попу, которому дар слова присущ не был: даже водка не развязывала ему язык. — Одного живота, по навету злых людей, лишились, — продолжал дьякон, — и, нимало не унывая, а, напротив, более надеясь на божественный промысел, приобрели себе другого, нисколько не худшего, а почитай даже что и лучшего... потому...

— Что ты врешь? — сумрачно перебил Чертопханов, — какой такой другой конь? Это тот же самый; это Малек-Адель... Я его отыскал. Болтает зря...

— Э! э! э! э! — промолвил с расстановкой, как бы с оттяжкой, дьякон, играя перстами в бороде и озирая Чертопханова своими светлыми жадными глазами. — Как же так, господин? Коня-то вашего, дай бог памяти, в минувшем году недельки две после покрова украли, а теперь у нас ноябрь на исходе.

— Ну да, что же из этого?

Дьякон все продолжал играть перстами в бороде.

— Значит, с лишком год с тех пор протек, а конь ваш, как тогда был серый в яблоках, так и теперь; даже словно темнее стал. Как же так? Серые-то лошади в один год много белеют.

Чертопханов дрогнул... словно кто рогатиной толкнул его против сердца. И в самом деле: серая масть-то ведь меняется! Как ему такая простая мысль до сих пор в голову не пришла?

— Пучо́к анафемский! отвяжись! — гаркнул он вдруг, бешено сверкнув глазами, и мгновенно скрылся из виду у изумленного дьякона.

— Ну! все кончено!

Вот когда действительно все кончено, все лопнуло, последняя карта убита! Все разом рухнуло от одного этого слова «белеют»!

Серые лошади белеют!

Скачи, скачи, проклятый! Не ускачешь от этого слова!

Чертопханов примчался домой и опять заперся на ключ.

XII

Что эта дрянная кляча не Малек-Адель, что между ею и Малек-Аделем не существовало ни малейшего сходства, что всякий мало-мальски путный человек должен был с первого разу это увидеть, что он, Пантелей Чертопханов, самым пошлым образом обманулся — нет! что он нарочно, преднамеренно надул самого себя, напустил на себя этот туман, — во всем этом теперь уже не оставалось ни малейшего сомнения! Чертопханов ходил взад и вперед по комнате, одинаковым образом поворачиваясь на пятках у каждой стены, как зверь в клетке. Самолюбие его страдало невыносимо; но не одна боль уязвленного самолюбия терзала его: отчаяние овладело им, злоба душила его, жажда мести в нем загоралась. Но против кого? Кому отмстить? Жиду, Яффу, Маше, дьякону, вору казаку, всем соседям, всему свету, самому себе наконец? Ум в нем мешался. Последняя карта убита! (Это сравнение ему нравилось.) И он опять ничтожнейший, презреннейший из людей, общее посмешище, шут гороховый, зарезанный дурак, предмет насмешки — для дьякона!!. Он воображал, он ясно представлял себе, как этот мерзкий пучок станет рассказывать про серую лошадь, про глупого барина... О, проклятие!!. Напрасно Чертопханов старался унять расходившуюся желчь; напрасно он пытался уверить себя, что эта... лошадь хотя и не Малек-Адель, однако все же... добра и может много лет прослужить ему: он тут же с яростью отталкивал от себя прочь

эту мысль, точно в ней заключалось новое оскорбление для *того* Малек-Аделя, перед которым он уж и без того считал себя виноватым... Еще бы! Этот одёр, эту клячу он, как слепой, как олух, приравнял ему, Малек-Аделю! А что насчет службы, которую эта кляча могла еще сослужить ему... да разве он когда-нибудь удостоит сесть на нее верхом? Ни за что! Никогда!!. Татарину ее отдать, собакам на снедь — другого она не стóит... Да! Этак лучше всего!

Часа два с лишком бродил Чертопханов по своей комнате.

— Перфишка! — скомандовал он вдруг. — Сию минуту ступай в кабак; полведра водки притащи! Слышишь? Полведра, да живо! Чтобы водка сию секунду тут у меня на столе стояла.

Водка не замедлила появиться на столе Пантелея Еремеича, и он начал пить.

XIII

Кто бы тогда посмотрел на Чертопханова, кто бы мог быть свидетелем того угрюмого озлобления, с которым он осушал стакан за стаканом, — тот наверное почувствовал бы невольный страх. Ночь наступила; сальная свечка тускло горела на столе. Чертопханов перестал скитаться из угла в угол; он сидел весь красный, с помутившимися глазами, которые он то опускал на пол, то упорно устремлял в темное окно; вставал, наливал себе водки, выпивал ее, опять садился, опять уставлял глаза в одну точку и не шевелился — только дыхание его учащалось и лицо все более краснело. Казалось, в нем созревало какое-то решение, которое его самого смущало, но к которому он постепенно привыкал; одна и та же мысль неотступно и безостановочно надвигалась все ближе и ближе, один и тот же образ рисовался все яснее и яснее впереди, а в сердце, под раскаляющим напором тяжелого хмеля, раздражение злобы уже сменялось чувством зверства, и зловещая усмешка появлялась на губах...

— Ну, однако, пора! — промолвил он каким-то деловым, почти скучливым тоном, — будет прохлаждаться-то!

Он выпил последний стакан водки, достал над кроватью пистолет — тот самый пистолет, из которого выстрелил в Машу, зарядил его, положил на «всякий случай» несколько пистонов в карман — и отправился на конюшню.

Сторож побежал было к нему, когда он стал отворять дверь, но он крикнул на него: «Это я! Аль не видишь? Отправляйся!» Сторож отступил немного в сторону. «Спать отправляйся! — опять крикнул на него Чертопханов,— нечего тебе тут стеречь! Эку невидаль, сокровище какое!» Он вошел в конюшню. Малек-Адель... ложный Малек-Адель лежал на подстилке. Чертопханов толкнул его ногою, примолвив: «Вставай, ворона!» Потом отвязал недоуздок от яслей, снял и сбросил на землю попону — и, грубо повернув в стойле послушную лошадь, вывел ее вон на двор, а со двора в поле, к крайнему изумлению сторожа, который никак не мог понять, куда это барин отправляется ночью, с невзнуздан-

ною лошадью в поводу? Спросить его — он, разумеется, побоялся, а только проводил его глазами, пока он не исчез на повороте дороги, ведущей к соседнему лесу.

XIV

Чертопханов шел большими шагами, не останавливаясь и не оглядываясь; Малек-Адель — будем называть его этим именем до конца — покорно выступал за ним следом. Ночь была довольно светлая; Чертопханов мог различить зубчатый очерк леса, черневшего впереди сплошным пятном. Охваченный ночным холодом, он бы, наверное, захмелел от выпитой им водки, если бы... если бы не другой, более сильный хмель, который обуял его всего. Голова его отяжелела, кровь раскатисто стучала в горло и в уши, но он шел твердо и знал, куда шел.

Он решился убить Малек-Аделя; целый день он только об этом думал... Теперь он решился!

Он шел на это дело не то чтобы спокойно, а самоуверенно, бесповоротно, как идет человек, повинующийся чувству долга. Ему эта «штука» казалась очень «простою»: уничтожив самозванца, он разом поквитается со «всем» — и самого себя казнит за свою глупость, и перед настоящим своим другом оправдается, и целому свету докажет (Чертопханов очень заботился о «целом свете»), что с ним шутить нельзя... А главное: самого себя он уничтожит вместе с самозванцем, ибо на что ему еще жить? Как это все укладывалось в его голове и почему это казалось ему так просто — объяснить не легко, хотя и не совсем невозможно: обиженный, одинокий, без близкой души человеческой, без гроша медного, да еще с кровью, зажженной вином, он находился в состоянии, близком к помешательству, а нет сомнения в том, что в самых нелепых выходках людей помешанных есть, на их глаза, своего рода логика и даже право. В праве своем Чертопханов был во всяком случае вполне уверен; он не колебался, он спешил исполнить приговор над виновным, не отдавая себе, впрочем, ясного отчета: кого он собственно обзывал этим именем?.. Правду говоря, он размышлял мало о том, что собирался сделать. «Надо, надо кончить, — вот что он твердил самому себе, тупо и строго, — кончить надо!»

А безвинный виновный трусúл покорной рысцой за его спиною... Но в сердце Чертопханова не было жалости.

XV

Недалеко от опушки леса, куда он привел свою лошадь, тянулся небольшой овраг, до половины заросший дубовым кустарником. Чертопханов спустился туда... Малек-Адель спотыкнулся и чуть не упал на него.

— Аль задавить меня хочешь, проклятый! — вскрикнул Чертопханов и, словно защищаясь, выхватил пистолет из кармана. Уже не ожесточение испытывал он, а ту особенную одеревенелость чувства, которая, говорят, овладевает человеком перед совершением преступления. Но собственный голос испугал его — так дико прозвучал он под навесом темных ветвей, в гнилой и спертой сырости лесного оврага! К тому же, в ответ на его восклицание, какая-то большая птица внезапно затрепыхалась в верхушке дерева над его головою... Чертопханов дрогнул. Точно он разбудил свидетеля своему делу — и где же? в этом глухом месте, где он не должен был встретить ни одного живого существа...

— Ступай, черт, на все четыре стороны! — проговорил он сквозь зубы и, выпустив повод Малек-Аделя, с размаху ударил его по плечу прикладом пистолета. Малек-Адель немедленно повернулся назад, выкарабкался вон из оврага... и побежал. Но недолго слышался стук его копыт. Поднявшийся ветер мешал и застилал все звуки.

В свою очередь, Чертопханов медленно выбрался из оврага, достиг опушки и поплелся по дороге домой. Он был недоволен собою; тяжесть, которую он чувствовал в голове, в сердце, распространилась по всем членам; он шел сердитый, темный, неудовлетворенный, голодный, словно кто обидел его, отнял у него добычу, пищу...

Самоубийце, которому помешали исполнить его намерение, знакомы подобные ощущения.

Вдруг что-то толкнуло его сзади, между плеч. Он оглянулся... Малек-Адель стоял посреди дороги. Он пришел следом за своим хозяином, он тронул его мордой... доложил о себе...

— А! — закричал Чертопханов, — ты сам, сам за смертью пришел! Так на же!

В мгновенье ока он выхватил пистолет, взвел курок, приставил дуло ко лбу Малек-Аделя, выстрелил...

Бедная лошадь шарахнулась в сторону, взвилась на дыбы, отскочила шагов на десять и вдруг грузно рухнула и захрипела, судорожно валяясь по земле...

Чертопханов зажал себе уши обеими руками и побежал. Колени подгибались под ним. И хмель, и злоба, и тупая самоуверенность — все вылетело разом. Осталось одно чувство стыда и безобразия — да сознание, сознание несомненное, что на этот раз он и с собой покончил.

XVI

Недель шесть спустя казачок Перфишка почел долгом остановить проезжавшего мимо бессоновской усадьбы станового пристава.

— Чего тебе? — спросил блюститель порядка.

— Пожалуйте, ваше благородие, к нам в дом, — ответил казачок с низким поклоном, — Пантелей Еремеич, кажись, умирать собираются; так вот я и боюсь.

— Как? умирать? — переспросил становой.

— Точно так-с. Сперва они кажинный день водку кушали, а теперь вот в постель слегли, и уже оченно они худы стали. Я так полагаю, они теперь и понимать-то ничего не понимают. Без языка совсем.

Становой слез с телеги.

— Что же ты, за священником, по крайней мере, сходил? Исповедался твой барин? Причастился?

— Никак нет-с.

Становой нахмурился.

— Как же ты это так, братец? Разве этак можно, а? Иль ты не знаешь, что за это... ответственность бывает большая, а?

— Да я их и третьёго дня и вчерась спрашивал, — подхватил оробевший казачок, — не прикажете ли, говорю, Пантелей Еремеич, за священником сбегать? «Молчи, говорит, дурак. Не в свое дело не суйся». А сегодня, как я стал докладывать, — только посмотрели на меня да усом повели.

— И много он пил водки? — спросил становой.

— Дюже много! Да вы уж сделайте милость, ваше благородие, пожалуйте к ним в комнату.

— Ну, веди! — проворчал становой и последовал за Перфишкой.

Удивительное зрелище его ожидало.

В задней комнате дома, сырой и темной, на убогой кровати, покрытой конскою попоной, с лохматой буркой вместо подушки, лежал Чертопханов, уже не бледный, а изжелта-зеленый, как бывают мертвецы, со ввалившимися глазами под глянцевитыми веками, с заостренным, но все еще красноватым носом над взъерошенными усами. Лежал он одетый в неизменный свой архалук с патронами на груди и в черкесские синие шаровары. Папаха с малиновым верхом закрывала ему лоб до самых бровей. В одной руке Чертопханов держал охотничью нагайку, в другой — шитый кисет, последний подарок Маши. На столе возле кровати стоял пустой штоф; а в головах, пришпиленные булавками к стене, виднелись два акварельных рисунка: на одном, сколько можно было понять, был представлен толстый человек с гитарой в руках — вероятно, Недопюскин; другой изображал скачущего всадника... Лошадь походила на тех сказочных животных, которых рисуют дети на стенах и заборах; но старательно оттушеванные яблоки ее масти и патроны на груди всадника, острые носки его сапогов и громадные усы не оставляли места сомнению: этот рисунок долженствовал изобразить Пантелея Еремеича верхом на Малек-Аделе.

Изумленный становой не знал, что предпринять. Мертвая тишина царствовала в комнате. «Да уж он скончался», — подумал он и, возвысив голос, промолвил: — Пантелей Еремеич! А, Пантелей Еремеич!

Тогда произошло нечто необыкновенное. Глаза Чертопханова медленно раскрылись, потухшие зрачки двинулись сперва справа налево, потом слева направо, остановились на посетите-

ле, увидали его... Что-то замерцало в их тусклой белизне, подобие взора в них проявилось; посиневшие губы постепенно расклеились, и послышался сиплый, уже точно гробовой голос:

— Столбовой дворянин Пантелей Чертопханов умирает; кто может ему препятствовать? Он никому не должен, ничего не требует... Оставьте его, люди! Идите!

Рука с нагайкой попыталась приподняться... Напрасно! Губы опять склеились, глаза закрылись — и по-прежнему лежал Чертопханов на своей жесткой кровати, вытянувшись как пласт и сдвинув подошвы.

— Дай знать, когда скончается, — шепнул, выходя из комнаты, становой Перфишке, — а за попом, я полагаю, сходить и теперь можно. Надо ж порядок соблюсти, особоровать его.

Перфишка в тот же день сходил за попом; а на следующее утро ему пришлось дать знать становому: Пантелей Еремеич скончался в ту же ночь.

Когда его хоронили, гроб его провожали два человека: казачок Перфишка да Мошель Лейба. Весть о кончине Чертопханова каким-то образом дошла до жида — и он не преминул отдать последний долг своему благодетелю.

ЖИВЫЕ МОЩИ

Край родной долготерпенья —
Край ты русского народа!
Ф. Тютчев

Французская поговорка гласит: «Сухой рыбак и мокрый охотник являют вид печальный». Не имев никогда пристрастия к рыбной ловле, я не могу судить о том, что испытывает рыбак в хорошую, ясную погоду и насколько в ненастное время удовольствие, доставляемое ему обильной добычей, перевешивает неприятность быть мокрым. Но для охотника дождь — сущее бедствие. Именно такому бедствию подверглись мы с Ермолаем в одну из наших поездок за тетеревами в Белевский уезд. С самой утренней зари дождь не переставал. Уж чего-чего мы не делали, чтобы от него избавиться! И резинковые плащики чуть не на самую голову надевали, и под деревья становились, чтобы поменьше капало... Непромокаемые плащики, не говоря уже о том, что мешали стрелять, пропускали воду самым бесстыдным образом; а под деревьями — точно, на первых порах, как будто и не капало, но потом вдруг накопившаяся в листве влага прорывалась, каждая ветка обдавала нас, как из дождевой трубы, холодная струйка забиралась под галстук и текла вдоль спинного хребта... А уж это последнее дело, как выражался Ермолай.

— Нет, Петр Петрович, — воскликнул он наконец. — Этак нельзя!.. Нельзя сегодня охотиться. Собакам *чучье* заливает; ружья отсекаются... Тьфу! Задача!

— Что же делать? — спросил я.

— А вот что. Поедемте в Алексеевку. Вы, может, не зна-

ете — хуторок такой есть, матушке вашей принадлежит; отсюда верст восемь. Переночуем там, а завтра...

— Сюда вернемся?

— Нет, не сюда... Мне за Алексеевкой места известны... многим лучше здешних для тетеревов!

Я не стал расспрашивать моего верного спутника, зачем он не повез меня прямо в те места, и в тот же день мы добрались до матушкина хуторка, существования которого я, признаться сказать, и не подозревал до тех пор. При этом хуторке оказался флигелек, очень ветхий, но нежилой и потому чистый; я провел в нем довольно спокойную ночь.

На следующий день я проснулся ранехонько. Солнце только что встало; на небе не было ни одного облачка; все кругом блестело сильным двойным блеском: блеском молодых утренних лучей и вчерашнего ливня. Пока мне закладывали таратайку, я пошел побродить по небольшому, некогда фруктовому, теперь одичалому саду, со всех сторон обступившему флигелек своей пахучей, сочной глушью. Ах, как было хорошо на вольном воздухе, под ясным небом, где трепетали жаворонки, откуда сыпался серебряный бисер их звонких голосов! На крыльях своих они, наверно, унесли капли росы, и песни их казались орошенными росою. Я даже шапку снял с головы и дышал радостно — всею грудью... На склоне неглубокого оврага, возле самого плетня, виднелась пасека; узенькая тропинка вела к ней, извиваясь змейкой между сплошными стенами бурьяна и крапивы, над которыми высились, бог ведает откуда занесенные, остроконечные стебли темно-зеленой конопли.

Я отправился по этой тропинке; дошел до пасеки. Рядом с нею стоял плетеный сарайчик, так называемый амшаник, куда ставят улья на зиму. Я заглянул в полуоткрытую дверь: темно, тихо, сухо; пахнет мятой, мелиссой. В углу приспособлены подмостки, и на них, прикрытая одеялом, какая-то маленькая фигура... Я пошел было прочь...

— Барин, а барин! Петр Петрович! — послышался мне голос, слабый, медленный и сиплый, как шелест болотной осоки.

Я остановился.

— Петр Петрович! Подойдите, пожалуйста! — повторил голос. Он доносился до меня из угла с тех, замеченных мною, подмостков.

Я приблизился — и остолбенел от удивления. Передо мною лежало живое человеческое существо, но что это было такое?

Голова совершенно высохшая, одноцветная, бронзовая — ни дать ни взять икона старинного письма; нос узкий, как лезвие ножа; губ почти не видать — только зубы белеют и глаза, да из-под платка выбиваются на лоб жидкие пряди желтых волос. У подбородка, на складке одеяла, движутся, медленно перебирая пальцами, как палочками, две крошечных руки тоже бронзового цвета. Я вглядываюсь попристальнее: лицо не только не безобразное, даже красивое,— но страшное, необычайное. И тем страшнее кажется мне это лицо, что по нем, по металлическим

его щекам, я вижу — силится... силится и не может расплыться улыбка.

— Вы меня не узнаете, барин? — прошептал опять голос; он словно испарялся из едва шевелившихся губ.— Да и где узнать! Я Лукерья... Помните, что хороводы у матушки у вашей в Спасском водила... помните, я еще запевалой была?

— Лукерья! — воскликнул я. — Ты ли это? Возможно ли?

— Я, да, барин, — я. Я — Лукерья.

Я не знал, что сказать, и как ошеломленный глядел на это темное, неподвижное лицо с устремленными на меня светлыми и мертвенными глазами. Возможно ли? Эта мумия — Лукерья, первая красавица во всей нашей дворне, высокая, полная, белая, румяная, хохотунья, плясунья, певунья! Лукерья, умница Лукерья, за которою ухаживали все наши молодые парни, по которой я сам втайне вздыхал, я — шестнадцатилетний мальчик!

— Помилуй, Лукерья, — проговорил я наконец, — что это с тобой случилось?

— А беда такая стряслась! Да вы не побрезгуйте, барин, не погнушайтесь несчастием моим, — сядьте вон на кадушечку, поближе, а то вам меня не слышно будет... вишь я какая голосистая стала!.. Ну, уж и рада же я, что увидала вас! Как это вы в Алексеевку попали?

Лукерья говорила очень тихо и слабо, но без остановки.

— Меня Ермолай-охотник сюда завез. Но расскажи же ты мне...

— Про беду-то мою рассказать? Извольте, барин. Случилось это со мной уже давно, лет шесть или семь. Меня тогда только что помолвили за Василья Полякова — помните, такой из себя статный был, кудрявый, еще буфетчиком у матушки у вашей служил? Да вас уже тогда в деревне не было; в Москву уехали учиться. Очень мы с Василием слюбились; из головы он у меня не выходил; а дело было весною. Вот раз ночью... уж и до зари недалеко... а мне не спится: соловей в саду таково удивительно поет сладко!.. Не вытерпела я, встала и вышла на крыльцо его послушать. Заливается он, заливается... и вдруг мне почудилось: зовет меня кто-то Васиным голосом, тихо так: «Луша!..» Я глядь в сторону, да, знать, спросонья оступилась, так прямо с рундучка и полетела вниз — да о́ землю хлоп! И, кажись, не сильно я расшиблась, потому — скоро поднялась и к себе в комнату вернулась. Только словно у меня что внутри — в утробе — порвалось... Дайте дух перевести... с минуточку... барин.

Лукерья умолкла, а я с изумлением глядел на нее. Изумляло меня собственно то, что она рассказ свой вела почти весело, без охов и вздохов, нисколько не жалуясь и не напрашиваясь на участие.

— С самого того случая, — продолжала Лукерья, — стала я сохнуть, чахнуть; чернота на меня нашла; трудно мне стало ходить, а там уже — и полно ногами владеть; ни стоять, ни сидеть не могу; все бы лежала. И ни пить, ни есть не хочется: все хуже да хуже. Матушка ваша по доброте своей и лекарям меня пока-

зывала, и в больницу посылала. Однако облегченья мне никакого не вышло. И ни один лекарь даже сказать не мог, что за болезнь у меня за такая. Чего они со мной только не делали: железом раскаленным спину жгли, в колотый лед сажали — и все ничего. Совсем я окостенела под конец... Вот и порешили господа, что лечить меня больше нечего, а в барском доме держать калек неспособно... ну и переслали меня сюда — потому тут у меня родственники есть. Вот я и живу, как видите.

Лукерья опять умолкла и опять усилилась улыбнуться.

— Это, однако же, ужасно, твое положение! — воскликнул я... и, не зная, что прибавить, спросил: — А что же Поляков Василий? — Очень глуп был этот вопрос.

Лукерья отвела глаза немного в сторону.

— Что Поляков? Потужил, потужил — да и женился на другой, на девушке из Глинного. Знаете Глинное? От нас недалече. Аграфеной ее звали. Очень он меня любил, да ведь человек молодой — не оставаться же ему холостым. И какая уж я ему могла быть подруга? А жену он нашел себе хорошую, добрую, и детки у них есть. Он тут у соседа в приказчиках живет: матушка ваша по пачпорту его отпустила, и очень ему, слава богу, хорошо.

— И так ты все лежишь да лежишь? — спросил я опять.

— Вот так и лежу, барин, седьмой годок. Летом-то я здесь лежу, в этой плетушке, а как холодно станет — меня в предбанник перенесут. Там лежу.

— Кто же за тобой ходит? Присматривает кто?

— А добрые люди здесь есть тоже. Меня не оставляют. Да и ходьбы за мной немного. Есть-то почитай что не ем ничего, а вода — вон она в кружке-то: всегда стоит припасенная, чистая, ключевая вода. До кружки-то я сама дотянуться могу: одна рука у меня еще действовать может. Ну, девочка тут есть, сиротка; нет, нет — да и наведается, спасибо ей. Сейчас тут была... Вы ее не встретили? Хорошенькая такая, беленькая. Она цветы мне носит; большая я до них охотница, до цветов-то. Садовых у нас нет, — были, да перевелись. Но ведь и полевые цветы хороши, пахнут еще лучше садовых. Вот хоть бы ландыш... на что приятнее!

— И не скучно, не жутко тебе, моя бедная Лукерья?

— А что будешь делать? Лгать не хочу — сперва очень томно было; а потом привыкла, обтерпелась — ничего; иным еще хуже бывает.

— Это каким же образом?

— А у иного и пристанища нет! А иной — слепой или глухой! А я, слава богу, вижу прекрасно и все слышу, все. Крот под землею роется — я и то слышу. И запах я всякий чувствовать могу, самый какой ни на есть слабый! Гречиха в поле зацветет или липа в саду — мне и сказывать не надо: я первая сейчас слышу. Лишь бы ветерком оттуда потянуло. Нет, что бога гневить? — многим хуже моего бывает. Хоть бы то взять: иной здоровый человек очень легко согрешить может; а от меня сам грех отошел. Намеднись отец Алексей, священник, стал меня причащать, да и

говорит: «Тебя, мол, исповедовать нечего: разве ты в твоем состоянии согрешить можешь?» Но я ему ответила: «А мысленный грех, батюшка?» — «Ну, — говорит, а сам смеется, — это грех не великий».

— Да я, должно быть, и этим самым, мысленным грехом не больно грешна, — продолжала Лукерья, — потому я так себя приучила: не думать, а пуще того — не вспоминать. Время скорей проходит.

Я, признаюсь, удивился.

— Ты все одна да одна, Лукерья; как же ты можешь помешать, чтобы мысли тебе в голову не шли? Или ты все спишь?

— Ой, нет, барин! Спать-то я не всегда могу. Хоть и больших болей у меня нет, а ноет у меня там, в самом нутре, и в костях тоже; не дает спать как следует. Нет... а так лежу я себе, лежу-полеживаю — и не думаю; чую, что жива, дышу — и вся я тут. Смотрю, слушаю. Пчелы на пасеке жужжат да гудят; голубь на крышу сядет и заворкует; курочка-наседочка зайдет с цыплятами крошек поклевать; а то воробей залетит или бабочка — мне очень приятно. В позапрошлом году так даже ласточки вон там в углу гнездо себе свили и детей вывели. Уж как же оно было занятно! Одна влетит, к гнездышку припадет, деток накормит — и вон. Глядишь — уж на смену ей другая. Иногда не влетит, только мимо раскрытой двери пронесется, а детки точас — ну пищать да клювы разевать... Я их и на следующий год поджидала, да их, говорят, один здешний охотник из ружья застрелил. И на что покорыстился? Вся-то она, ласточка, не больше жука... Какие вы, господа охотники, злые!

— Я ласточек не стреляю, — поспешил я заметить.

— А то раз, — начала опять Лукерья, — вот смеху-то было! Заяц забежал, право! Собаки, что ли, за ним гнались, только он прямо в дверь как прикатит!.. Сел близехонько и долго таки сидел, все носом водил и усами дергал — настоящий офицер! И на меня смотрел. Понял, значит, что я ему не страшна. Наконец встал, прыг-прыг к двери, на пороге оглянулся — да и был таков! Смешной такой!

Лукерья взглянула на меня... аль, мол, не забавно? Я, в угоду ей, посмеялся. Она покусала пересохшие губы.

— Ну, зимою, конечно, мне хуже: потому — темно; свечку зажечь жалко, да и к чему? Я хоть грамоте знаю и читать завсегда охоча была, но что читать? Книг здесь нет никаких, да хоть бы и были, как я буду держать ее, книгу-то? Отец Алексей мне, для рассеянности, принес календарь; да видит, что пользы нет, взял да унес опять. Однако хоть и темно, а все слушать есть что: сверчок затрещит али мышь где скрестись станет. Вот тут-то хорошо: не думать!

— А то я молитвы читаю, — продолжала, отдохнув немного, Лукерья. — Только немного я знаю их, этих самых молитв. Да и на что я стану господу богу наскучать? О чем я его просить могу? Он лучше меня знает, чего мне надобно. Послал он мне крест — значит, меня он любит. Так нам велено это понимать. Прочту «От-

че наш», «Богородицу», акафист «Всем скорбящим» — да и опять полеживаю себе безо всякой думочки. И ничего!

Прошло минуты две. Я не нарушал молчанья и не шевелился на узенькой кадушке, служившей мне сиденьем. Жесткая, каменная неподвижность лежавшего передо мною живого, несчастного существа сообщилась и мне: я тоже словно оцепенел.

— Послушай, Лукерья, — начал я наконец. — Послушай, какое я тебе предложение сделаю. Хочешь, я распоряжусь: тебя в больницу перевезут, в хорошую городскую больницу? Кто знает, быть может, тебя еще вылечат? Во всяком случае, ты одна не будешь...

Лукерья чуть-чуть двинула бровями.

— Ох, нет, барин,— промолвила она озабоченным шепотом, — не переводите меня в больницу, не трогайте меня. Я там только больше муки приму. Уж куда меня лечить!.. Вот так-то раз доктор сюда приезжал; осматривать меня захотел. Я его прошу: «Не тревожьте вы меня, Христа ради». Куда! переворачивать меня стал, руки, ноги разминал, разгинал; говорит: «Это я для учености делаю; на то я служащий человек, ученый! И ты, говорит, не моги мне противиться, потому что мне за мои труды орден на шею дан, и я для вас же, дураков, стараюсь». Потормошил, потормошил меня, назвал мне мою болезнь — мудрено таково, — да с тем и уехал. А у меня потом целую неделю все косточки ныли. Вы говорите: я одна бываю, всегда одна. Нет, не всегда. Ко мне ходят. Я смирная — не мешаю. Девушки крестьянские зайдут, погуторят; странница забредет, станет про Иерусалим рассказывать, про Киев, про святые города. Да мне и не страшно одной быть. Даже лучше, ей-ей!.. Барин, не трогайте меня, не возите в больницу... Спасибо вам, вы добрый, только не трогайте меня, голубчик.

— Ну, как хочешь, как хочешь, Лукерья. Я ведь для твоей же пользы полагал...

— Знаю, барин, что для моей пользы. Да, барин, милый, кто другому помочь может? Кто ему в душу войдет? Сам себе человек помогай! Вы вот не поверите — а лежу я иногда так-то одна... и словно никого в целом свете, кроме меня, нету. Только одна я — живая! И чудится мне, будто что меня осенит... Возьмет меня размышление — даже удивительно.

— О чем же ты тогда размышляешь, Лукерья?

— Этого, барин, тоже никак нельзя сказать: не растолкуешь. Да и забывается оно потом. Придет, словно как тучка, прольется, свежо так, хорошо станет, а что такое было — не поймешь! Только думается мне: будь около меня люди — ничего бы этого не было, и ничего бы я не чувствовала, окромя своего несчастья.

Лукерья вздохнула с трудом. Грудь ей не повиновалась — так же, как и остальные члены.

— Как погляжу я, барин, на вас,— начала она снова,— очень вам меня жалко. А вы меня не слишком жалейте, право! Я вам, например, что скажу: я иногда и теперь... Вы ведь помните, какая

я была в свое время веселая? Бой-девка!.. так знаете что? Я и теперь песни пою.

— Песни?.. Ты?

— Да, песни, старые песни, хороводные, подблюдные, святочные, всякие! Много я их ведь знала и не забыла. Только вот плясовых не пою. В теперешнем моем звании оно не годится.

— Как же ты поешь их... про себя?

— И про себя и голосом. Громко-то не могу, а всё — понять можно. Вот я вам сказывала — девочка ко мне ходит. Сиротка, значит, понятливая. Так вот я ее выучила; четыре песни она уже у меня переняла. Аль не верите? Постойте, я вам сейчас...

Лукерья собралась с духом... Мысль, что это полумертвое существо готовится запеть, возбудила во мне невольный ужас. Но прежде чем я мог промолвить слово — в ушах моих задрожал протяжный, едва слышный, но чистый и верный звук... за ним последовал другой, третий. «Во лузях» пела Лукерья. Она пела, не изменив выражения своего окаменелого лица, уставив даже глаза. Но так трогательно звенел этот бедный, усиленный, как струйка дыма колебавшийся голосок, так хотелось ей всю душу вылить... Уже не ужас чувствовал я: жалость несказанная стиснула мне сердце.

— Ох, не могу! — проговорила она вдруг, — силушки не хватает... Очень уж я вам обрадовалась.

Она закрыла глаза.

Я положил руку на ее крошечные холодные пальчики... Она взглянула на меня — и ее темные веки, опушенные золотистыми ресницами, как у древних статуй, закрылись снова. Спустя мгновенье они заблистали в полутьме... Слеза их смочила.

Я не шевелился по-прежнему.

— Экая я! — проговорила вдруг Лукерья с неожиданной силой и, раскрыв широко глаза, постаралась смигнуть с них слезу.— Не стыдно ли? Чего я? Давно этого со мной не случалось... с самого того дня, как Поляков Вася у меня был прошлой весной. Пока он со мной сидел да разговаривал — ну, ничего; а как ушел он — поплакала я таки в одиночку! Откуда бралось!.. Да ведь у нашей сестры слезы некупленные. Барин, — прибавила Лукерья,— чай, у вас платочек есть... Не побрезгуйте, утрите мне глаза.

Я поспешил исполнить ее желание — и платок ей оставил. Она сперва отказывалась... на что, мол, мне такой подарок? Платок был очень простой, но чистый и белый. Потом она схватила его своими слабыми пальцами и уже не разжала их более. Привыкнув к темноте, в которой мы оба находились, я мог ясно различить ее черты, мог даже заметить тонкий румянец, проступивший сквозь бронзу ее лица, мог открыть в этом лице — так, по крайней мере, мне казалось — следы его бывалой красоты.

— Вот вы, барин, спрашивали меня, — заговорила опять Лукерья, — сплю ли я? Сплю я, точно, редко, но всякий раз сны вижу, — хорошие сны! Никогда я больной себя не вижу: такая я всегда во сне здоровая да молодая... Одно горе: проснусь я — потянуться хочу хорошенько — ан я вся как скованная. Раз мне

какой чудный сон приснился! Хотите, расскажу вам? — Ну, слушайте. — Вижу я, будто стою я в поле, а кругом рожь, такая высокая, спелая, как золотая!.. И будто со мной собачка рыженькая, злющая-презлющая — все укусить меня хочет. И будто в руках у меня серп, и не простой серп, а самый как есть месяц, вот когда он на серп похож бывает. И этим самым месяцем должна я эту самую рожь сжать до́чиста. Только очень меня от жары растомило, и месяц меня слепит, и лень на меня нашла; а кругом васильки растут, да такие крупные! И все ко мне головками повернулись. И думаю я: нарву я этих васильков; Вася прийти обещался — так вот я себе венок сперва совью; жать-то я еще успею. Начинаю я рвать васильки, а они у меня промеж пальцев тают да тают, хоть ты что! И не могу я себе венок свить. А между тем я слышу — кто-то уж идет ко мне, близко таково, и зовет: Луша! Луша!.. Ай, думаю, беда — не успела! Все равно, надену я себе на голову этот месяц заместо васильков. Надеваю я месяц, ровно как кокошник, и так сама сейчас вся засияла, все поле кругом осветила. Глядь — по самым верхушкам колосьев катит ко мне скорехонько — только не Вася, а сам Христос! И почему я узнала, что это Христос, сказать не могу, — таким его не пишут, — а только он! Безбородый, высокий, молодой, весь в белом, — только пояс золотой, — и ручку мне протягивает. «Не бойся, говорит, невеста моя разубранная, ступай за мною; ты у меня в царстве небесном хороводы водить будешь и песни играть райские». И я к его ручке как прильну! Собачка моя сейчас меня за ноги... но тут мы взвились! Он впереди... Крылья у него по всему небу развернулись, длинные, как у чайки, — и я за ним! И собачка должна отстать от меня. Тут только я поняла, что эта собачка — болезнь моя и что в царстве небесном ей уже места не будет.

Лукерья умолкла на минуту.

— А то еще видела я сон, — начала она снова, — а быть может, это было мне видение — я уж и не знаю. Почудилось мне, будто я в самой этой плетушке лежу и приходят ко мне мои покойные родители — батюшка да матушка — и кланяются мне низко, а сами ничего не говорят. И спрашиваю я их: зачем вы, батюшка и матушка, мне кланяетесь? А затем, говорят, что так как ты на сем свете много мучишься, то не одну ты свою душеньку облегчила, но и с нас большую тягу сняла. И нам на том свете стало много способнее. Со своими грехами ты уже покончила; теперь наши грехи побеждаешь. И, сказавши это, родители мне опять поклонились — и не стало их видно: одни стены видны. Очень я потом сомневалась, что это такое со мною было. Даже батюшке на духу рассказала. Только он так полагает, что это было не видение, потому что видения бывают одному духовному чину.

— А то вот еще какой мне был сон, — продолжала Лукерья. — Вижу я, что сижу я этак будто на большой дороге под ракитой, палочку держу оструганную, котомка за плечами и голова платком окутана — как есть странница! И идти мне куда-то далеко-далеко на богомолье. И проходят мимо меня всё странники;

идут они тихо, словно нехотя, всё в одну сторону; лица у всех унылые и друг на дружку все очень похожи. И вижу я: вьется, мечется между ними одна женщина, целой головой выше других, и платье на ней особенное, словно не наше, не русское. И лицо тоже особенное, постное лицо, строгое. И будто все другие от нее сторонятся; а она вдруг верть — да прямо ко мне. Остановилась и смотрит; а глаза у ней, как у сокола, желтые, большие и светлые-пресветлые. И спрашиваю я ее: «Кто ты?» А она мне говорит: «Я смерть твоя». Мне чтобы испугаться, а я напротив — рада-радехонька, крещусь! И говорит мне та женщина, смерть моя: «Жаль мне тебя, Лукерья, но взять я тебя с собою не могу. Прощай!» Господи! как мне тут грустно стало!.. «Возьми меня, говорю, матушка, голубушка, возьми!» И смерть моя обернулась ко мне, стала мне выговаривать... Понимаю я, что назначает она мне мой час, да непонятно так, неявственно... После, мол, петровок... С этим я проснулась... Такие-то у меня бывают сны удивительные!

Лукерья подняла глаза кверху... задумалась...

— Только вот беда моя: случается, целая неделя пройдет, а я не засну ни разу. В прошлом году барыня одна проезжала, увидела меня, да и дала мне скляночку с лекарством против бессонницы; по десяти капель приказала принимать. Очень мне помогало, и я спала; только теперь давно та скляночка выпита... Не знаете ли, что это было за лекарство и как его получить?

Проезжавшая барыня, очевидно, дала Лукерье опиума. Я обещался доставить ей такую скляночку и опять-таки не мог не подивиться вслух ее терпенью.

— Эх, барин! — возразила она. — Что вы это? Какое такое терпение? Вот Симеона Столпника терпение было точно великое: тридцать лет на столбу простоял! А другой угодник себя в землю зарыть велел по самую грудь, и муравьи ему лицо ели... А то вот еще мне сказывал один начетчик: была некая страна, и ту страну агаряне завоевали, и всех жителев они мучили и убивали; и что ни делали жители, освободить себя никак не могли. И проявись тут между теми жителями святая девственница; взяла она меч великий, латы на себя возложила двухпудовые, пошла на агарян и всех их прогнала за море. А только прогнавши их, говорит им: «Теперь вы меня сожгите, потому что такое было мое обещание, чтобы мне огненною смертью за свой народ помереть». И агаряне ее взяли и сожгли, а народ с той поры навсегда освободился! Вот это подвиг! А я что!

Подивился я тут про себя, куда и в каком виде зашла легенда об Иоанне д'Арк, и, помолчав немного, спросил Лукерью: сколько ей лет?

— Двадцать восемь... али девять... Тридцати не будет. Да что их считать, года-то! Я вам еще вот что доложу...

Лукерья вдруг как-то глухо кашлянула, охнула...

— Ты много говоришь, — заметил я ей, — это может тебе повредить.

— Правда, — прошептала она едва слышно, — разговорке

нашей конец; да куда ни шло! Теперь, как вы уедете, намолчусь я вволю. По крайности, душу отвела...

Я стал прощаться с нею, повторил ей мое обещание прислать ей лекарство, попросил ее еще раз хорошенько подумать и сказать мне — не нужно ли ей чего?

— Ничего мне не нужно; всем довольна, слава богу, — с величайшим усилием, но умиленно произнесла она. — Дай бог всем здоровья! А вот вам бы, барин, матушку вашу уговорить — крестьяне здешние бедные — хоть бы малость оброку с них она сбавила! Земли у них недостаточно, угодий нет... Они бы за вас богу помолились... А мне ничего не нужно — всем довольна.

Я дал Лукерье слово исполнить ее просьбу и подходил уже к дверям... она подозвала меня опять.

— Помните, барин, — сказала она, и чудное что-то мелькнуло в ее глазах и на губах, — какая у меня была коса? Помните — до самых колен? Я долго не решалась... Этакие волосы!.. Но где же их было расчесывать? В моем-то положении!.. Так уж я их и обрезала. Да... Ну, простите, барин! Больше не могу...

В тот же день, прежде чем отправиться на охоту, был у меня разговор о Лукерье с хуторским десятским. Я узнал от него, что ее в деревне прозывали «Живые мощи», что, впрочем, от нее никакого не видать беспокойства; ни ропота от нее не слыхать, ни жалоб. «Сама ничего не требует, а напротив — за все благодарна; тихоня, как есть тихоня, так сказать надо. Богом убитая, — так заключил десятский, — стало быть, за грехи; но мы в это не входим. А чтобы, например, осуждать ее — нет, мы ее не осуждаем. Пущай ее!»

Несколько недель спустя я узнал, что Лукерья скончалась. Смерть пришла-таки за ней... и «после петровок». Рассказывали, что в самый день кончины она все слышала колокольный звон, хотя от Алексеевки до церкви считают пять верст с лишком и день был будничный. Впрочем, Лукерья говорила, что звон шел не от церкви, а «сверху». Вероятно, она не посмела сказать: с неба.

СТУЧИТ!

— Что я вам доложу, — промолвил Ермолай, входя ко мне в избу, — а я только что пообедал и прилег на походную кроватку, чтоб отдохнуть немного после довольно удачной, но утомительной охоты на тетеревов — дело было в десятых числах июля и жары стояли страшные,— что я вам доложу: у нас вся дробь вышла.

Я вскочил с кровати.

— Вышла дробь! Как же так! Ведь мы с собой из деревни почитай что фунтов тридцать взяли! целый мешок!

— Оно точно; и мешок был большой: на две недели бы хватило. Да кто его знает! Прореха, что ль, в нем произошла, — а только, как есть, нету дроби... так, зарядов на десять осталось.

— Что же мы станем теперь делать? Самые лучшие места впереди — на завтрашний день нам обещали шесть выводков...

— А пошлите меня в Тулу. Тут недалече: всего сорок пять верст. Духом слетаю и дроби привезу, коли прикажете, целый пуд.

— Да когда же ты поедешь?

— А хоть сейчас. Чего мешкать? Только вот что: надо будет лошадей нанять.

— Как лошадей нанять! А свои-то на что?

— На своих ехать нельзя. Коренник захромал... страсть!

— Это с каких пор?

— А вот намеднись, — кучер его ковать водил. Ну и заковал. Кузнец, должно́, попался неладный. Теперь даже на ногу ступить не может. Передняя нога. Так и несет ее... как собака.

— Что ж? расковали его, по крайней мере?

— Нет, не расковали; а непременно расковать его следует. Гвоздь-то ему, чай, в самое мясо во́гнат.

Я велел позвать кучера. Оказалось, что Ермолай не солгал: коренник действительно не ступал на ногу. Я немедленно распорядился, чтобы его расковали и поставили на сырую глину.

— Что ж? Лошадей нанять в Тулу прикажете? — пристал ко мне Ермолай.

— Да разве можно в этом захолустье найти лошадей? — воскликнул я с невольной досадой...

Деревня, в которой мы находились, была заглазная, глухая; все ее обитатели казались голышами; мы с трудом отыскали одну — не то что белую, а мало-мальски просторную избу.

— Можно, — ответил Ермолай с обычной своей невозмутимостью. — Вы про здешнюю деревню сказали верно; а только в этом самом месте проживал один крестьянин. Умнеющий! богатый! Девять лошадей имел. Сам-то он помер, и старший сын теперь всем орудует. Человек — из глупых глупый, ну, однако, отцовское добро протрясти еще не успел. Мы у него лошадьми раздобудемся. Прикажите, я его приведу. Братья у него, слышно, ребята шустрые... а все-таки он им голова.

— Почему же это так?

— А потому — старшой! Значит, младшие — покоряйся! — Тут Ермолай сильно и непечатно отозвался о младших братьях вообще. — Я его приведу. Он простой. С ним — да не сговориться?

Пока Ермолай ходил за «простым» человеком, мне пришло в голову: не лучше ли мне самому съездить в Тулу? Во-первых, я, наученный опытом, плохо надеялся на Ермолая; я послал его однажды в город за покупками, он обещался исполнить все мои поручения в течение одного дня — и пропадал целую неделю, пропил все деньги и вернулся пеший — а поехал на беговых дрожках. Во-вторых, у меня был в Туле барышник знакомый; я мог купить у него лошадь на место охромевшего коренника.

«Решенное дело! — подумал я. — Съезжу сам; а спать можно и в дороге — благо тарантас покойный».

— Привел! — воскликнул четверть часа спустя Ермолай, вваливаясь в избу. Вслед за ним вошел рослый мужик в белой рубахе, синих портах и лаптях, белобрысый, подслеповатый, с рыжей бородкой клинушком, длинным пухлым носом и разинутым ртом. Он, точно, смотрел «простецом».

— Вот извольте, — промолвил Ермолай, — лошади у него есть, и он согласен.

— То ись, значит, я... — заговорил мужик сиповатым голосом и с запинкой, встряхивая свои жидкие волосы и перебирая пальцами околыш шапки, которую держал в руках. — Я, значит...

— Как тебя зовут? — спросил я.

Мужик потупился и словно задумался.

— Как меня зовут-то?

— Да; как твое имя?

— А имя мне будет — Филофей.

— Ну вот что, братец Филофей; у тебя, я слышал, есть лошади. Приведи-ка сюда тройку, мы их заложим в мой тарантас, — он у меня легкий, — и свези ты меня в Тулу. Теперь ночь лунная, светло и ехать прохладно. Дорога у вас тут какова?

— Дорога? Дорога — ничего. До большака верст двадцать будет — всего. Одно есть местечко... неладное; а то ничего.

— Какое такое местечко неладное?

— А речку вброд переезжать надоть.

— Да разве вы сами в Тулу поедете? — осведомился Ермолай.

— Да, сам.

— Ну! — промолвил мой верный слуга и тряхнул головою. — Н-н-у! — повторил он, сплюнул и вышел вон.

Поездка в Тулу, очевидно, уже не представляла ему ничего привлекательного; она стала для него пустым и незанимательным делом.

— Ты дорогу хорошо знаешь? — обратился я к Филофею.

— Как нам дороги не знать! Только я, значит, воля ваша, не могу... потому как же этак вдруг...

Оказалось, что Ермолай, нанимая Филофея, заявил ему, чтобы он не сомневался, что ему, дураку, заплатят... и только! Филофей, хотя и дурак, — по словам Ермолая, — не удовлетворился одним этим заявлением. Он запросил с меня пятьдесят рублей ассигнациями — цену громадную; я предложил ему десять рублей — цену низкую. Принялись мы торговаться; Филофей сперва упорствовал, потом стал сдаваться, но туго. Вошедший на минутку Ермолай начал меня уверять, что «этот дурак» (вишь, полюбилось слово! — заметил вполголоса Филофей), «этот дурак совсем счету деньгам не знает», — и кстати напомнил мне, как лет двадцать тому назад постоялый двор, устроенный моей матушкой на бойком месте, на перекрестке двух больших дорог, пришел в совершенный упадок оттого, что старый дворовый, которого посадили туда хозяйничать, действительно не знал счета деньгам, а ценил их по количеству — то есть отдавал, например, серебряный четвертак за шесть медных пятаков, причем, однако, сильно ругался.

— Эх ты, Филофей, прямой Филофей! — воскликнул наконец Ермолай и, уходя, в сердцах хлопнул дверью.

Филофей ничего ему не возразил, как бы сознавая, что называться Филофеем, точно, не совсем ловко и что за такое имя даже упрекать можно человека, хотя, собственно, виноват тут поп, которого при крещении не ублаготворили как следует.

Наконец мы, однако, сошлись с ним на двадцати рублях. Он отправился за лошадьми и чрез час привел их целых пять на выбор. Лошади оказались порядочные, хотя гривы и хвосты у них были спутанные и животы — большие, растянутые, как барабан. С Филофеем пришло двое его братьев, нисколько на него не похожих. Маленькие, черноглазые, востроносые, они, точно, производили впечатление ребят «шустрых», говорили много и скоро — «лопотали», как выразился Ермолай, — но старшому покорялись.

Они выкатили тарантас из-под навеса да часа полтора возились с ним и с лошадьми; то отпускали веревочные постромки, то прикручивали их туго-натуго! Обоим братьям непременно хотелось запречь в корень «чалого», потому «ён с горы спущать могит», — но Филофей решил: кудластого! Так кудластого и заложили в корень.

Тарантас набили сеном, подсунули под сиденье хомут с хромого коренника — в случае, если б пришлось пригонять его в Туле на новокупленную лошадь... Филофей, успевший сбегать домой и возвратившийся оттуда в длинном белом отцовском балахоне, высоком гречневике и смазных сапогах, взобрался торжественно на козла. Я сел, посмотрев на часы: четверть одиннадцатого. Ермолай даже не простился со мною, он принялся бить своего Валетку; Филофей задергал вожжами, закричал тонким-тонким голосом: «Эх вы, махонькие!» — братья его подскочили с обеих сторон, подстегнули под брюхо пристяжных — и тарантас тронулся, свернул из ворот на улицу; кудластый хотел было махнуть к себе на двор, но Филофей образумил его несколькими ударами кнута — и вот мы уже выскочили из деревни и покатили по довольно ровной дороге, между сплошными кустами густого орешника.

Ночь была тихая, славная, самая удобная для езды. Ветер то прошелестит в кустах, закачает ветки, то совсем замрет; на небе кое-где виднелись неподвижные серебристые облачка; месяц стоял высоко и ясно озарял окрестность. Я растянулся на сене и уже вздремнул было... да вспомнил о «неладном месте» и встрепенулся.

— А что, Филофей? До брода далеко?

— До броду-то? Верст восемь будет.

«Восемь верст, — подумалось мне. — Раньше часу не доедем. Соснуть пока можно».

— Ты, Филофей, дорогу хорошо знаешь? — спросил я опять.

— Да как *ее* не знать-то, дорогу-то? Не впервой едем...

Он еще что-то прибавил, но я уже не расслушал его... Я спал.

Разбудило меня не собственное намерение проснуться ровно через час, как это часто случается, а какое-то странное, хоть и слабое, хлюпанье и бульканье под самым моим ухом. Я поднял голову...

Что за чудеса? Лежу я в тарантасе по-прежнему, а вокруг тарантаса — и на пол-аршина, не более, от его края — водная гладь, освещенная луною, дробится и дрожит мелкой, четкой рябью. Я — глядь вперед: на козлах, понурив голову, согнув спину, сидит, как истукан, Филофей, а еще подальше — над журчащею водою — кривая линия дуги и лошадиные головы и спины. И всё так неподвижно, так бесшумно — словно в заколдованном царстве, во сне, в сказочном сне... Что за притча? Я — глядь назад из-под балчука тарантаса... Да мы на самой середине реки... берег от нас шагов за тридцать!

— Филофей! — воскликнул я.

— Чего? — возразил он.

— Как чего? Помилуй! Где же это мы?

— В реке.

— Я вижу, что в реке. Да мы этак сейчас потонем. Так-то ты в брод переезжаешь? А? Да ты спишь, Филофей! Отвечай же!

— Маленечко ошибся, — промолвил мой возница, — в сторону, знать, взял грешным делом, а теперь подождать надоть.

— Как ждать *надоть!* Чего же мы будем ждать?

— А вот пущай кудластый оглядится: куда он ворохнется, туда, значит, и ехать надоть.

Я приподнялся на сене. Голова коренника не шевелилась над водою. Только можно было видеть при ясном свете месяца, как одно его ухо чуть-чуть двигалось то взад, то вперед.

— Да он тоже спит, твой кудластый!

— Нет, — отвечал Филофей, — он теперь воду нюхает.

И все опять замолкло, только по-прежнему слабо хлюпала вода. Я тоже оцепенел.

Лунный свет, да ночь, да река, да мы в ней...

— Это что такое сипит? — спросил я Филофея.

— Это? Утята в камыше... а не то змеи.

Вдруг голова коренника замоталась, уши навострились, он зафыркал, заворошился.

— Но-но-но-ноо! — внезапно заорал во все горло Филофей, и приподнялся, и замахал кнутом. Тарантас тотчас сдернуло с места, он рванулся вперед наперерез речной волне — и пошел, дрыгая и колыхаясь... Сперва мне показалось, что мы погружаемся, идем вглубь, однако после двух-трех толчков и нырков водная гладь как будто вдруг понизилась... Она понижалась все больше и больше, тарантас вырастал из нее, — вот уже показались колеса и конские хвосты и вот, вздымая сильные и крупные брызги, алмазными — нет, не алмазными — сапфирными снопами разлетавшиеся в матовом блеске луны, — весело и дружно выхватили нас лошади на песчаный берег и пошли по дороге в гору, вперебивку переступая глянцевитыми мокрыми ногами.

«Что, — пришло мне в голову, — скажет теперь Филофей:

а ведь я был прав! или что-нибудь в этом роде?» Но он ничего не сказал. Потому и я не почел за нужное упрекнуть его в неосторожности и, уложившись спать на сене, опять попытался заснуть.

Но я не мог заснуть, — не потому, что не устал от охоты, и не потому, что испытанная мною тревога разогнала мой сон, — а уж очень красивыми местами нам приходилось ехать. То были раздольные, пространные, поемные, травянистые луга, со множеством небольших лужаек, озёрец, ручейков, заводей, заросших по концам ивняком и лозами, прямо русские, русским людом любимые места, подобные тем, куда езживали богатыри наших древних былин стрелять белых лебедей и серых утиц. Желтоватой лентой вилась наезженная дорога, лошади бежали легко, и я не мог сомкнуть глаза — любовался! И все это так мягко и стройно плыло мимо, под дружелюбной луной. Филофея — и того проняло.

— Эти у нас луга Святоегорьевскими прозываются, — обратился он ко мне. — А за ними — так Великокняжеские пойдут; других таких лугов по всей Расеи нету... Уж на что красиво! — Коренник фыркнул и встряхнулся... — Господь с тобою!.. — промолвил Филофей степенно и вполголоса. — На что красиво! — повторил он и вздохнул, а потом протяжно крякнул. — Вот скоро сенокосы начнутся, и что тут этого самого сена нагребут — беда! А в заводях рыбы тоже много. Лещи такие! — прибавил он нараспев. — Одно слово: умирать не надо.

Он вдруг поднял руку.

— Эва! глянь-ка! над озером-то... аль чапля стоит? Неужели она и ночью рыбу ловит? Эх-ма! сук это — не чапля. Вот маху-то дал! а все месяц обманывает.

Так мы ехали, ехали... Но вот уж и конец подошел лугам, показались лесочки, распаханные поля; деревушка в стороне мигнула двумя-тремя огоньками, — до большой дороги оставалось всего верст пять. Я заснул.

Снова я не сам собой проснулся. На этот раз меня разбудил голос Филофея.

— Барин... а барин!

Я приподнялся. Тарантас стоял на ровном месте по самой середине большой дороги; обернувшись с козел ко мне лицом, широко раскрыв глаза (я даже удивился, я не воображал, что они у него такие большие), Филофей значительно и таинственно шептал:

— Стучит!.. Стучит!

— Что ты говоришь?

— Я говорю: стучит! Нагнитесь-ка и послухайте. Слышите?

Я высунул голову из тарантаса, притаил дыхание — и действительно услыхал где-то далеко-далеко за нами слабый прерывистый стук, как бы от катившихся колес.

— Слышите? — повторил Филофей.

— Ну да, — ответил я. — Едет какой-то экипаж.

— А не слышите... чу! Во... бубенцы... и свист тоже... Слышите? Да шапку-то снимите... слышней будет.

Я шапки не снял, но приник ухом.

— Ну, да... может быть. Да что ж из этого?

Филофей повернулся лицом к лошадям.

— Телега катит... налегке, колеса кованые, — промолвил он и подобрал вожжи. — Это, барин, недобрые люди едут; здесь ведь, под Тулой, шалят... много.

— Какой вздор! Почему ты полагаешь, что это непременно недобрые люди?

— Верно говорю. С бубенцами... да в пустой телеге... Кому быть?

— А что — до Тулы еще далеко?

— Да верст еще пятнадцать будет, и жилья тут никакого нету.

— Ну так ступай живее, нечего мешкать-то.

Филофей взмахнул кнутом, и тарантас опять покатился.

Хотя я не дал веры Филофею, однако заснуть уже не мог. А что, если в самом деле? Неприятное чувство шевельнулось во мне. Я сел в тарантасе — до тех пор я лежал — и стал глядеть по сторонам. Пока я спал, тонкий туман набежал — не на землю, нá небо; он стоял высоко, месяц в нем повис беловатым пятном, как бы в дыме. Все потускнело и смешалось, хотя книзу было виднее. Кругом — плоские, унылые места: поля, всё поля, кое-где кустики, овраги — и опять поля, и больше всё пар, с редкой сорной травою. Пусто... мертво! Хоть бы перепел где крикнул.

Ехали мы с полчаса. Филофей то и дело помахивал кнутом и чмокал губами, но ни он, ни я, мы не говорили ни слова. Вот взобрались мы на пригорок... Филофей остановил тройку и тотчас же промолвил:

— Стучит... Стучи-ит, барин!

Я опять высунулся из тарантаса; но я бы мог остаться под навесом балчука, до того теперь явственно, хотя еще издалека, доносился до слуха моего стук тележных колес, людской посвист, бряцанье бубенчиков и даже топот конских ног; даже пенье и смех почудились мне. Ветер, правда, тянул оттуда, но не было сомненья в том, что незнакомые проезжие на целую версту, а может, и на две, стали к нам ближе.

Мы с Филофеем переглянулись — он только шляпу сдвинул с затылка на лоб и тотчас же, нагнувшись над вожжами, принялся стегать лошадей. Они пустились вскачь, но долго скакать не могли и опять побежали рысью. Филофей продолжал стегать их. Надо ж было уходить!

Я не мог себе дать отчета, почему в этот раз я, сначала не разделявший подозрений Филофея, вдруг получил убеждение, что следом за нами ехали точно недобрые люди... Ничего нового не услыхал я: те же бубенцы, тот же стук ненагруженной телеги, то же посвистывание, тот же смутный гам... Но я теперь уже не сомневался. Филофей не мог ошибиться!

И вот опять прошло минут двадцать... В течение последних из этих двадцати минут сквозь стук и грохот собственного экипажа нам уже слышался другой стук и другой грохот...

— Остановись, Филофей, — сказал я, — все равно один конец!

Филофей трусливо тпрукнул. Лошади мгновенно стали, как бы обрадовавшись возможности отдохнуть.

Батюшки! бубенцы просто ревут за самой нашей спиною, телега гремит с дребезгом, люди свистят, кричат и поют, лошади фыркают и бьют копытами землю...

Нагнали!

— Би-и-да, — с расстановкой, вполголоса, промолвил Филофей и, нерешительно чмокнув, стал понукать лошадей. Но в это самое мгновенье что-то вдруг словно сорвалось, рявкнуло, ухнуло — и большущая развалистая телега, запряженная тройкой поджарых коней, круто, вихрем обогнула нас, заскакала вперед и тотчас пошла шагом, загораживая дорогу.

— Самая разбойничья повадка, — прошептал Филофей.

Признаться, у меня на сердце захолонуло... Принялся я глядеть с напряженьем в полумрак лунного, парами застланного света. В телеге перед нами не то сидело, не то лежало человек шесть в рубахах, в армяках нараспашку; у двоих на головах не было шапок; большие ноги в сапогах болтались, свесившись через грядку, руки поднимались, падали зря... тела тряслись... Явное дело: пьяный народ. Иные горланили — так, что ни попало; один свистал очень пронзительно и чисто, другой ругался; на облучке сидел какой-то великан в полушубке и правил. Ехали они шагом, как будто не обращая на нас внимания.

Что было делать? Мы поехали за ними тоже шагом... поневоле. С четверть версты двигались мы таким манером. Ожидание мучительное... Спасаться, защищаться... где уж тут! Их шестеро, а у меня хоть бы палка! Повернуть оглоблями назад? но они тотчас догонят. Вспомнился мне стих Жуковского (там, где он говорит об убийстве фельдмаршала Каменского):

Топор разбойника презренный...

А не то — горло сдавят грязной веревкой... да в канаву... хрипи там да бейся, как заяц в силке...

Эх, скверно!

А они по-прежнему едут шагом и не обращают на нас внимания.

— Филофей, — шепнул я, — попробуй-ка возьми правее, ступай будто мимо.

Филофей попробовал — взял вправо... но те тотчас тоже взяли вправо... проехать стало невозможно.

Филофей попытался еще: взял нáлево... Но и тут ему не дали миновать телегу... Даже засмеялись. Значит, не пропускают.

— Как есть разбойники, — шепнул мне Филофей через плечо.

— Да чего же они ждут? — спросил я тоже шепотом.

— А вон там впереди, в ложбине, над ручьем, мостик... Они нас там! Они всегда этак... возле мостов. Наше дело, барин, чи-

сто! — прибавил он со вздохом, — вряд ли живых отпустят; потому им главное: концы в воду. Одного мне жаль, барин: пропала моя троечка, — и братьям-то она не достанется.

Подивился бы я тут, как это Филофей в подобную минуту может еще о своих лошадях заботиться, да, признаюсь, мне самому было не до него... «Неужто же убьют? — твердил я мысленно. — За что? Ведь я им все отдам, что у меня есть».

А мостик все приближался, все становился видней да видней.

Вдруг раздалось резкое гиканье, тройка перед нами словно взвилась, понеслась и, доскакав до мостика, разом остановилась как вкопанная немного сбоку дороги. Сердце во мне так и упало.

— Ох, брат Филофей, — промолвил я, — едем мы с тобою на смерть. Прости меня, коли я тебя загубил.

— Какая твоя вина, барин! Своей судьбы не минуешь! Ну, кудлатый, лошадушка моя верная, — обратился Филофей к кореннику, — ступай, брат, вперед! Сослужи последнюю службу! Все едино... Господи! бо-слови!

И он пустил свою тройку рысцой.

Стали мы приближаться к мостику, к той неподвижной, грозной телеге... На ней, как нарочно, все затихло. Ни гугу! Так затихает щука, ястреб, всякий хищный зверь, когда приближается добыча. Вот поравнялись мы с телегой... вдруг великан в полушубке прыг с нее долой — и прямо к нам!

Ничего-то он не сказал Филофею, но тот сам тотчас натянул вожжи... Тарантас остановился.

Великан положил обе руки на дверцы и, наклонив вперед свою мохнатую голову и осклабясь, произнес тихим, ровным голосом и фабричным говорком следующее:

— Господин почтенный, едем мы с честного пирка, со свадебки; нашего молодца, значит, женили; как есть, уложили; ребята у нас всё молодые, головы удалые — выпито было много, а опохмелиться нечем; то не будет ли ваша такая милость, не пожалуете ли нам деньжонок самую чуточку,— так, чтобы по косушке на брата? Выпили бы мы за ваше здоровье, помянули бы ваше степенство; а не будет вашей к нам милости — ну, просим не осерчать!

«Что это такое?— подумалось мне...— Насмешка?.. Глумление?»

Великан продолжал стоять, понурив голову. В самый этот миг месяц выбрался из тумана и осветил ему лицо. Оно ухмылялось, это лицо — и глазами и губами. А угрозы на нем не видать... только словно все оно насторожилось... и зубы такие белые да большие...

— Я с удовольствием... возьмите...— поспешно проговорил я и, достав кошелек из кармана, вынул оттуда два целковых; в то время серебряные деньги еще водились на Руси.— Вот, коли этого довольно.

— Много благодарны!— гаркнул по-солдатски великан, и толстые его пальцы мигом выхватили у меня — не весь кошелек,

а только те два рубля.— Много благодарны!— Он встряхнул волосами, подбежал к телеге.

— Ребята!— крикнул он,— два целковых жалует нам господин проезжий!— Те все вдруг как загогочут... Великан взвалился на облучок...

— Счастливо оставаться!

И только мы их и видели! Лошади подхватили, телега загремела в гору,— вот еще раз мелькнула она на темной черте, отделявшей землю от неба, завалилась и пропала.

Вот уж и стука, и крика, и бубенцов не слыхать...

Стала тишина мертвая.

Мы с Филофеем не вдруг опомнились.

— Ах ты, шут этакой!— промолвил он наконец и, сняв шляпу, начал креститься.— Право, шут,— прибавил он и обернулся ко мне, весь радостный.— А хороший должен быть человек — право. Но-но-но, махонькие! поворачивайтесь! Целы будете! Все целы будем! Ведь это он проехать не давал; он лошадьми-то правил. Экой шут парень! Но-но-но-ноо! с бо-га́м!

Я молчал — но и у меня хорошо стало на душе. «Целы будем!— повторил я про себя и разлегся на сене.— Дешево отделались!»

Мне даже несколько совестно стало, зачем это я стих Жуковского вспомнил.

Вдруг пришла мне в голову мысль:

— Филофей!

— Чего?

— Ты женат?

— Женат.

— И дети есть?

— Есть и дети.

— Как же ты об них не вспомнил? О лошадях пожалел — а о жене, о детях?

— Да чего их жалеть-то? Ведь ворам в руки они бы не попались. А в уме я их все время держал — и теперь держу... во как.— Филофей помолчал.— Может... из-за них господь бог нас с тобой помиловал.

— Да коли то не были разбойники?

— А почем знать? В чужую душу разве влезешь? Чужая душа — известно — потемки. А с богом-то завсегда лучше. Не... я свою семью завсегда... Но-но-но, махонькие, с бо-га́м!

Уже почти рассвело, когда мы стали подъезжать к Туле. Я лежал в забытьи полусна...

— Барин,— сказал мне вдруг Филофей,— посмотрите-ка: вон они стоят у кабака... ихняя телега-то.

Я поднял голову... точно, они: и телега их, и лошади. На пороге питейного заведения внезапно показался знакомый великан в полушубке.

— Господин!— воскликнул он, помахивая шапкой,— ваши

денежки пропиваем! А что, кучер,— прибавил он, качнув головой на Филофея,— чай, заробел этта-ась?

— Превеселый человек,— заметил Филофей, отъехавши сажен на двадцать от кабака.

Прибыли мы наконец в Тулу; купил я дроби, да кстати чаю, да вина, и даже лошадь у барышника взял. В полдень мы отправились обратно. Проезжая тем местом, где в первый раз мы услыхали за собою стук телеги, Филофей, который, подвыпив в Туле, оказался весьма разговорчивым человеком,— он мне даже сказки рассказывал,— проезжая тем местом, Филофей вдруг засмеялся.

— А помнишь, барин, как я тебе все говорил: стучит... стучит, мол, стучит!

Он несколько раз повел рукою наотмашь... Очень уж ему это слово казалось забавным.

В тот же вечер мы вернулись в его деревню.

Я сообщил бывший с нами случай Ермолаю. Будучи трезвым, он не высказал никакого сочувствия и только хмыкнул — одобрительно или укоризненно,— этого, я полагаю, он сам не ведал. Но дня два спустя он с удовольствием известил меня, что в ту самую ночь, когда мы с Филофеем ездили в Тулу,— и на той же самой дороге — какого-то купца ограбили и убили. Я сперва не поверил этому известию; но потом пришлось поверить; справедливость его мне подтвердил проскакавший на следствие становой. Уж не с этой ли «свадьбы» возвращались наши удальцы и не этого ли «молодца» они, по выражению шутника-великана, уложи́ли? Я в деревне Филофея оставался еще дней пять. Бывало, как только встречу его, всякий раз говорю ему: «А? стучит?»

— Веселый человек,— ответит он мне всякий раз и сам засмеется.

ЛЕС И СТЕПЬ

...И понемногу начало назад
Его тянуть: в деревню, в темный сад,
Где липы так огромны, так тенисты,
И ландыши так девственно душисты,
Где круглые ракиты над водой
С плотины наклонились чередой,
Где тучный дуб растет над тучной нивой,
Где пахнет конопелью да крапивой...
Туда, туда, в раздольные поля,
Где бархатом чернеется земля,
Где рожь, куда ни киньте вы глазами,
Струится тихо мягкими волнами.
И падает тяжелый желтый луч
Из-за прозрачных, белых, круглых туч;
Там хорошо . . . .

(Из поэмы, преданной сожжению)

Читателю, может быть, уже наскучили мои записки; спешу успокоить его обещанием ограничиться напечатанными отрывками; но, расставаясь с ним, не могу не сказать несколько слов об охоте.

Охота с ружьем и собакой прекрасна сама по себе, für sich, как говаривали в старину; но, положим, вы не родились охотником: вы все-таки любите природу; вы, следовательно, не можете не завидовать нашему брату... Слушайте.

Знаете ли вы, например, какое наслаждение выехать весной до зари? Вы выходите на крыльцо... На темно-сером небе кое-где мигают звезды; влажный ветерок изредка набегает легкой волной; слышится сдержанный, неясный шепот ночи; деревья слабо шумят, облитые тенью. Вот кладут ковер на телегу, ставят в ноги ящик с самоваром. Пристяжные ежатся, фыркают и щеголевато переступают ногами; пара только что проснувшихся белых гусей молча и медленно перебирается через дорогу. За плетнем, в саду, мирно похрапывает сторож; каждый звук словно стоит в застывшем воздухе, стоит и не проходит. Вот вы сели; лошади разом тронулись, громко застучала телега... Вы едете — едете мимо церкви, с горы направо, через плотину... Пруд едва начинает дымиться. Вам холодно немножко, вы закрываете лицо воротником шинели; вам дремлется. Лошади звучно шлепают ногами по лужам; кучер посвистывает. Но вот вы отъехали версты четыре... Край неба алеет; в березах просыпаются, неловко перелетывают галки; воробьи чирикают около темных скирд. Светлеет воздух, видней дорога, яснеет небо, белеют тучки, зеленеют поля. В избах красным огнем горят лучины, за воротами слышны заспанные голоса. А между тем заря разгорается; вот уже золотые полосы протянулись по небу, в оврагах клубятся пары; жаворонки звонко поют, предрассветный ветер подул — и тихо всплывает багровое солнце. Свет так и хлынет потоком; сердце в вас встрепенется, как птица. Свежо, весело, любо! Далеко видно кругом. Вон за рощей деревня; вон подальше другая с белой церковью, вон березовый лесок на горе; за ним болото, куда вы едете... Живее, кони, живее! Крупной рысью вперед!.. Версты три осталось, не больше. Солнце быстро поднимается; небо чисто... Погода будет славная. Стадо потянулось из деревни к вам навстречу. Вы взобрались на гору... Какой вид! Река вьется верст на десять, тускло синея сквозь туман; за ней водянисто-зеленые луга; за лугами пологие холмы; вдали чибисы с криком вьются над болотом; сквозь влажный блеск, разлитый в воздухе, ясно выступает даль... не то, что летом. Как вольно дышит грудь, как бодро движутся члены, как крепнет весь человек, охваченный свежим дыханьем весны!..

А летнее, июльское утро! Кто, кроме охотника, испытал, как отрадно бродить на заре по кустам? Зеленой чертой ложится след ваших ног по росистой, побелевшей траве. Вы раздвинете мокрый куст — вас так и обдаст накопившимся теплым запахом ночи; воздух весь напоен свежей горечью полыни, медом гречихи и «кашки»; вдали стеной стоит дубовый лес и блестит и алеет на солнце;

еще свежо, но уже чувствуется близость жары. Голова томно кружится от избытка благоуханий. Кустарнику нет конца... Кое-где разве вдали желтеет поспевающая рожь, узкими полосками краснеет гречиха. Вот заскрипела телега; шагом пробирается мужик, ставит заранее лошадь в тень... Вы поздоровались с ним, отошли — звучный лязг косы раздается за вами. Солнце все выше и выше. Быстро сохнет трава. Вот уже жарко стало. Проходит час, другой... Небо темнеет по краям; колючим зноем пышет неподвижный воздух.

— Где бы, брат, тут напиться?— спрашиваете вы у косаря.

— А вон, в овраге, колодезь.

Сквозь густые кусты орешника, перепутанные цепкой травой, спускаетесь вы на дно оврага. Точно: под самым обрывом таится источник; дубовый куст жадно раскинул над водою свои лапчатые сучья; большие серебристые пузыри, колыхаясь, поднимаются со дна, покрытого мелким, бархатным мхом. Вы бросаетесь на землю, вы напились, но вам лень пошевельнуться. Вы в тени, вы дышите пахучей сыростью; вам хорошо, а против вас кусты раскаляются и словно желтеют на солнце. Но что это? Ветер внезапно налетел и промчался; воздух дрогнул кругом: уж не гром ли? Вы выходите из оврага... что за свинцовая полоса на небосклоне? Зной ли густеет? туча ли надвигается?.. Но вот слабо сверкнула молния... Э, да это гроза! Кругом еще ярко светит солнце: охотиться еще можно. Но туча растет: передний ее край вытягивается рукавом, наклоняется сводом. Трава, кусты, все вдруг потемнело... Скорей! вон, кажется, виднеется сенной сарай... скорее!.. Вы добежали, вошли... Каков дождик? каковы молнии? Кое-где сквозь соломенную крышу закапала вода на душистое сено... Но вот солнце опять заиграло. Гроза прошла; вы выходите. Боже мой, как весело сверкает все кругом, как воздух свеж и жидок, как пахнет земляникой и грибами!..

Но вот наступает вечер. Заря запылала пожаром и обхватила полнеба. Солнце садится. Воздух вблизи как-то особенно прозрачен, словно стеклянный; вдали ложится мягкий пар, теплый на вид; вместе с росой падает алый блеск на поляны, еще недавно облитые потоками жидкого золота; от деревьев, от кустов, от высоких стогов сена побежали длинные тени... Солнце село; звезда зажглась и дрожит в огнистом море заката... Вот оно бледнеет; синеет небо; отдельные тени исчезают, воздух наливается мглою. Пора домой, в деревню, в избу, где вы ночуете. Закинув ружье за плечи, быстро идете вы, несмотря на усталость... А между тем наступает ночь; за двадцать шагов уже не видно; собаки едва белеют во мраке. Вон над черными кустами край неба смутно яснеет... Что это? пожар?.. Нет, это восходит луна. А вон внизу, направо, уже мелькают огоньки деревни... Вот наконец и ваша изба. Сквозь окошко видите вы стол, покрытый белой скатертью, горящую свечу, ужин...

А то велишь заложить беговые дрожки и поедешь в лес на рябчиков. Весело пробираться по узкой дорожке, между двумя стенами высокой ржи. Колосья тихо бьют вас по лицу, васильки цепляются за ноги, перепела кричат кругом, лошадь бежит ленивой рысью. Вот и лес. Тень и тишина. Статные осины высоко лепечут над вами; длинные, висячие ветки берез едва шевелятся; могучий дуб стоит, как боец, подле красивой липы. Вы едете по зеленой, испещренной тенями дорожке; большие желтые мухи неподвижно висят в золотистом воздухе и вдруг отлетают; мошки вьются столбом, светлея в тени, темнея на солнце; птицы мирно поют. Золотой голосок малиновки звучит невинной, болтливой радостью: он идет к запаху ландышей. Далее, далее, глубже в лес... Лес глохнет... Неизъяснимая тишина западает в душу; да и кругом так дремотно и тихо. Но вот ветер набежал, и зашумели верхушки, словно падающие волны. Сквозь прошлогоднюю бурую листву кое-где растут высокие травы; грибы стоят отдельно под своими шляпками. Беляк вдруг выскочит, собака с звонким лаем помчится вслед...

И как этот же самый лес хорош поздней осенью, когда прилетают вальдшнепы! Они не держатся в самой глуши: их надобно искать вдоль опушки. Ветра нет, и нет ни солнца, ни света, ни тени, ни движенья, ни шума; в мягком воздухе разлит осенний запах, подобный запаху вина; тонкий туман стоит вдали над желтыми полями. Сквозь обнаженные, бурые сучья деревьев мирно белеет неподвижное небо; кое-где на липах висят последние золотые листья. Сырая земля упруга под ногами; высокие сухие былинки не шевелятся; длинные нити блестят на побледневшей траве. Спокойно дышит грудь, а на душу находит странная тревога. Идешь вдоль опушки, глядишь за собакой, а между тем любимые образы, любимые лица, мертвые и живые, приходят на память, давным-давно заснувшие впечатления неожиданно просыпаются; воображенье реет и носится, как птица, и все так ясно движется и стоит перед глазами. Сердце то вдруг задрожит и забьется, страстно бросится вперед, то безвозвратно потонет в воспоминаниях. Вся жизнь развертывается легко и быстро, как свиток; всем своим прошедшим, всеми чувствами, силами, всею своею душою владеет человек. И ничего кругом ему не мешает — ни солнца нет, ни ветра, ни шуму...

А осенний, ясный, немножко холодный, утром морозный день, когда береза, словно сказочное дерево, вся золотая, красиво рисуется на бледно-голубом небе, когда низкое солнце уже не греет, но блестит ярче летнего, небольшая осиновая роща вся сверкает насквозь, словно ей весело и легко стоять голой, изморозь еще белеет на дне долин, а свежий ветер тихонько шевелит и гонит упавшие покоробленные листья,— когда по реке радостно мчатся си-

ние волны, мерно вздымая рассеянных гусей и уток; вдали мельница стучит, полузакрытая вербами, и, пестрея в светлом воздухе, голуби быстро кружатся над ней...

Хороши также летние туманные дни, хотя охотники их и не любят. В такие дни нельзя стрелять: птица, выпорхнув у вас из-под ног, тотчас же исчезает в беловатой мгле неподвижного тумана. Но как тихо, как невыразимо тихо все кругом! Все проснулось, и все молчит. Вы проходите мимо дерева — оно не шелохнется: оно нежится. Сквозь тонкий пар, ровно разлитый в воздухе, чернеется перед вами длинная полоса. Вы принимаете ее за близкий лес; вы подходите — лес превращается в высокую грядку полыни на меже. Над вами, кругом вас — всюду туман... Но вот ветер слегка шевельнется — клочок бледно-голубого неба смутно выступит сквозь редеющий, словно задымившийся пар, золотисто-желтый луч ворвется вдруг, заструится длинным потоком, ударит по полям, упрется в рощу — и вот опять все заволоклось. Долго продолжается эта борьба; но как несказанно великолепен и ясен становится день, когда свет наконец восторжествует и последние волны согретого тумана то скатываются и расстилаются скатертями, то взвиваются и исчезают в глубокой, нежно сияющей вышине...

Но вот вы собрались в отъезжее поле, в степь. Верст десять пробирались вы по проселочным дорогам — вот, наконец, большая. Мимо бесконечных обозов, мимо постоялых двориков с шипящим самоваром под навесом, раскрытыми настежь воротами и колодезем, от одного села до другого, через необозримые поля, вдоль зеленых конопляников, долго, долго едете вы. Сороки перелетают с ракиты на ракиту; бабы, с длинными граблями в руках, бредут в поле; прохожий человек в поношенном нанковом кафтане, с котомкой за плечами, плетется усталым шагом; грузная помещичья карета, запряженная шестериком рослых и разбитых лошадей, плывет вам навстречу. Из окна торчит угол подушки, а на запятках, на кульке, придерживаясь за веревочку, сидит боком лакей в шинели, забрызганный до самых бровей. Вот уездный городок с деревянными кривыми домишками, бесконечными заборами, купеческими необитаемыми каменными строениями, старинным мостом над глубоким оврагом... Далее, далее!.. Пошли степные места. Глянешь с горы — какой вид! Круглые, низкие холмы, распаханные и засеянные доверху, разбегаются широкими волнами; заросшие кустами овраги вьются между ними; продолговатыми островами разбросаны небольшие рощи; от деревни до деревни бегут узкие дорожки; церкви белеют; между лозниками сверкает речка, в четырех местах перехваченная плотинами; далеко в поле гуськом торчат драхвы; старенький господский дом со своими

службами, фруктовым садом и гумном приютился к небольшому пруду. Но далее, далее едете вы. Холмы всё мельче и мельче, дерева почти не видать. Вот она, наконец,— безграничная, необозримая степь!

А в зимний день ходить по высоким сугробам за зайцами, дышать морозным, острым воздухом, невольно щуриться от ослепительного мелкого сверканья мягкого снега, любоваться зеленым цветом неба над красноватым лесом!.. А первые весенние дни, когда кругом все блестит и обрушается, сквозь тяжелый пар талого снега уже пахнет согретой землей, на проталинках, под косым лучом солнца, доверчиво поют жаворонки, и, с веселым шумом и ревом, из оврага в овраг клубятся потоки...

Однако пора кончить. Кстати заговорил я о весне: весной легко расставаться, весной и счастливых тянет вдаль... Прощайте, читатель: желаю вам постоянного благополучия.

СОДЕРЖАНИЕ

Тургенев И. С.

Т87 Записки охотника. Худож. С. Коваленков.— М.: Худож. лит., 1984.— 254 с.

В книгу вошли «Записки охотника», написанные И. С. Тургеневым (1818—1883) на рубеже 40—50-х годов и принесшие ему широкую известность. В очерках писатель раскрыл высокие духовные качества русского крестьянства и «зашел к народу с такой стороны, с какой до него никто еще не заходил», — писал В. Г. Белинский.

Т $\frac{4702010100\text{-}103}{028(01)\text{-}84}$ 18-84

ББК 84Р1
Р1

Иван Сергеевич Тургенев

ЗАПИСКИ ОХОТНИКА

Редакторы *А. Краковская* и *В. Фадеева*

Художественный редактор *В. Серебряков*

Технический редактор *В. Кулагина*

Корректор *С. Свиридов*

ИБ № 3267

Сдано в набор 04.05.83. Подписано в печать 23.11.83. Формат $60\times90\ ^{1}/_{16}$.
Бумага офсет. № 2. Гарнитура «Тип. таймс». Печать офсетная.
Усл. печ. л. 16. Усл. кр.-отт. 32,75. Уч.-изд. л. 18,36.
Изд. № 1-1348. Доп. тираж 600 000 (1з-д 1—75 000 экз.) экз. Заказ 2501. Цена 1 р. 60 к.

Ордена Трудового Красного Знамени издательство «Художественная литература». 107882, ГСП, Москва, Б-78, Ново-Басманная, 19

Отпечатано с готовых диапозитивов ордена Трудового Красного Знамени Калининского полиграфического комбината Союзполиграфпрома при Государственном комитете СССР по делам издательств, полиграфии и книжной торговли, г. Калинин, пр. Ленина, 5,в ордена Октябрьской Революции и ордена Трудового Красного Знамени Первой Образцовой типографии имени А. А. Жданова Союзполиграфпрома при Государственном комитете СССР по делам издательств, полиграфии и книжной торговли. Москва, М-54, Валовая, 28.

В 1983 году

в серии

«КЛАССИКИ И СОВРЕМЕННИКИ»

вышли в свет:

И. Гончаров. Обыкновенная история
Ф. Достоевский. Преступление и наказание
В. Короленко. Повести и рассказы
А. Островский. Пьесы
А. Серафимович. Железный поток. Рассказы
Л. Толстой. Смерть Ивана Ильича. Рассказы
А. Чехов. Дом с мезонином. Рассказы
М. Горький. Рассказы
М. Шолохов. Рассказы
Ш. де Костер. Легенда об Уленшпигеле
Г. Уэллс. Машина времени. Война миров. Рассказы

«ПОЭТИЧЕСКАЯ БИБЛИОТЕКА»

А. Блок. Стихотворения и поэмы
И. Крылов. Басни
А. Пушкин. Стихотворения
Слово о полку Игореве
Н. Хикмет. Стихотворения и поэмы

1 р. 60 к.



И.С.ТУРГЕНЕВ • ЗАПИСКИ ОХОТНИКА